ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

ЧИСТО ПОЛЕ

ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

ЧИСТО ПОЛЕ

ТРИНАДЦАТЬ
СОВРЕМЕННЫХ СКАЗАНИЙ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1987

84Р7
П14

Рецензент
А. НАЛЕПИН

П $\frac{4702010200-324}{М106(03)-87}$ 74—88

ББК84Р7
Р2

СОВРЕМЕННЫЕ МОСКОВСКИЕ СКАЗАНИЯ

ЧИСТО ПОЛЕ

А все-таки он возвращается в свою землю! Как ни туго закрученной казалась пружина судьбы, все стремительнее разворачивающимися кольцами отбрасывавшая раз за разом дальше от дома, покуда не закатала в заглушную чарозерскую дебрь, — но в конце концов и она ослабела, сдалась, пропустила Костыгова обратно, в точку исхода. Видел бы только его сегодня ровесник и повсежизненный соперник Серега Костюхин, с кем они вдвоем, оба на год старше доставшегося им века, поминутно оглядываясь на ходу из-под руки и безболезненно перекрещиваясь тенями на сыром мартовском большаке, вышли отсюда семьдесят лет назад в мир...

...Родиною у двух перекликавшихся фамильными прозвищами и действительно, в оправдание прообразовательной их меткости, ширококостных и угластых соотечественников, за дразнившую глаз пламенную рыжину волос обозванных дружками «чуваши» — хотя изобретатели клички навряд ли хорошо представляли себе, как на деле выглядят чуваши доподлинные, — было необыкновенное, почти сказочное место всего в трех днях неспешного пешего хода от Москвы. Там, где в пору их появления на свет пролегала граница пригородных слобод города Воскресенска, разделенных круглым ничейным полем — по правую руку от него

стояла костыговская изба, по левую костюхинская, — четверть тысячелетия назад мановением десницы некогда всесильного Никона скромная речка Истра, прорезавшая полупустынную долину наперекор камышу и ракитнику, враз и навсегда была перекрещена в Иордан, — правда, чтобы всего несколькими верстами ниже, отойдя от начальства на безопасное расстояние, снова стряхнуть с себя чересчур ответственное наименование; безымянный прихолмок превратился в Елеонскую гору, а попавшиеся поблизости деревни вроде Маслюков или Сеноедихи оказались наутро селом Скудельничим, Фавором, Ермоном и так далее. И все это завершилось тогда возведением посреди них на взгорке чудесного, не виданного нигде на Руси прежде, словно сошедшего с облаков злато-белого града, получившего и соответствующее прозвание — Новый Иерусалим.

Но и после перемены имен занятия живших тут из поколения в поколение крестьян преобразовались мало: они все так же продолжали в основном кормиться не с поля, а вокруг скотинки, привольно разжившейся в поймах новоявленного на севере Иордана, почему и фамильные прозвища в слободе вплоть до двадцатого столетия были с животным оттенком: почти половина семей звались Быковыми да Коровиными, а другую составляли по преимуществу Костины, Косточкины, Костоедовы и тому подобные, — разве что бобыль, вековавший в старой баньке-зимнике на краю порядка, состоя сторожем при гостинице, получил там ученое прозвание Кустодиев.

Мясо, однако, сколь ни грешить мыслями на чернеческую братию, в обители настрого не употребляли — оно шло в пищу поклонникам, городским обывателям и разношерстному народцу покупателей круто бурлившей по воскресеньям на площади ярмарки. Зато благодаря неустанному, никогда совершенно не прекращавшемуся в округе строительству слобожане приучились второму, добавочному в их сельской жизни делу — причем не только плотничьему, и раньше нехудо знакомому, но и каменному. С тех-то пор и повелось, что подраставшие мальцы, за исключением старших сыновей и рекрутов, не крепко занятые домашней заботой, отправлялись со взрослыми на отходный промысел: ставить дома по подмосковным посадам и весям, нередко добираясь и до матушки-столицы.

В юбилейном девятьсот тринадцатом году, когда в нее с одною из артелей впервые попали Серега Костюхин с Мишкою Костыговым, первопрестольная переживала время

необычайного роста и какого-то даже несколько лихорадочно-болезненного обновления, — впрочем, быть может, нездоровым оно видится лишь теперь, с расстояния прошедших десятилетий. Но, как бы то ни было — ежели не шутил Валентин Евгеньевич Дубовский, гражданский инженер, выдумавший доходный дом-неботык на Арбате, который им довелось возводить, — за единое предыдущее лето на Москве поднялось только пяти- и вышеэтажных зданий с полдюжины тысяч!..

Правда, сам-то Дубовский, залетавший на стройку сидя в открытой пролетке, одетый в легкомысленную кофейную тройку и котелок с бантом, хоть и величал себя в третьем лице «поэтом объема», частыми посещениями место работ не жаловал, — сочинил очередное «стихотворение в камне», и ладно, тем более что со своей Первой Мещанской ему и на другие площадки приходилось катать, к тому же преподавать в техническом училище и на курсах он как-то между дел упроворивался, ну и мало ли еще чего... Настоящим владыкой громадного, ощетинившегося шершавой доской лесов комка дерева и кирпича, пылившего опилком и гарью на всю окрестность между Калошиным и Кривоарбатским переулками, был подрядчик Иван Антонович, пусть с другого конца, от самого Немецкого рынка, но неизменно вовремя, будто солнечный бог, появлявшийся каждое утро с начальными тенями рассвета.

Тогда же с разных сторон подтягивались сюда и три артели, взявшиеся за один сезон, с весны до осени — потому что зимой с испокон веку строить считалось зазорно, да и небезопасно для каменной кладки, — трудясь от зари до зари в сорок пар рук вывести всю громаду от подножия пят до граненых башенок седьмого, верхнего яруса. И тем не менее, из-за прихотливой затейливости проекта Дубовского, даже плитку для мощенья парадных заказавшего не просто цветную метлахскую, а еще и с катящимся крестом — свастикою — посреди, отделку пришлось все-таки довершать на следующее лето, оборвавшееся войной как раз когда утвердили в нишах по углам сонно-мертвые статуи чужеземных рыцарей, своим появлением поверх древней московской улицы точно развязавшие узел с несчастиями...

Кстати, во вторую войну эти зловещие фигуры на мгновение по-настоящему ожили и совершили подлинный разбой: от взрыва авиабомбы, угодившей в театр напротив, как рассказали проходившему тогда через столицу на фронт Костыгову очевидцы, тевтоны подскочили, закача-

лись, и у одного из них слетела вниз голова, начисто размозжившая бредшего в недобрый час пешехода (за что, ввиду неотложного долга возмездия, посажен был допустивший «халатность и недосмотр» бедолага-управдом, а безглавый кумир снесли, оставивши его более крепкого напарника навек сиротою). Но спервоначала, в год чортовой дюжины последнего во втором тысячелетии века, двум воскресенским недорослям выдали по «козе», цеплявшейся за спиною для удобного переносу всяческой строительной тяжести, и приладили бегать с ней по времянкам туда-сюда, перебирая ногами споро, но с толком и бережно, не суетясь и долу не засматриваясь.

— Блюдите, како опасно ходите! — строго наставил их начетчик-артельный, славившийся книжной премудростью, даже тут не упустив возможности приложить славянское речение из Писания, и, хлопнув отечески лопатой-ладонью пониже спины, благословил на работу.

К середине августа, под Успенье, каменщики достигли крыши, откуда с той поры понеслись над оседланным ими по-свойски городом с четырех углов здания то древние суздальские, то новые московские, то лихие волжские песни, разбавляемые долетавшими изнутри галицкими напевами вовсю трудившихся там над столяркой плотников. Проходившие стороною досужие зеваки, каких в изобилии было в те младенческие, пахнущие медом и молоком года́ едва выбравшегося из пеленок столетия, замирали со сладкой дрожью под ложечкой у «небоскреба», закатывали хитрый глаз, карабкаясь взором на самый верх, да так круто, что с их энергических затылков слетали наземь шляпы, а потом, подобрав и отряхнув их от сора, запросто делились впечатлениями с такими же любознательными незнакомцами, судя́ и рядя про даром наступавший прогресс ловко подвешенными языками.

— Филатову на Остоженке — Филатьевой на Арбате! — слегка рисуясь перед ними, щелкая намеленной ниткой или прилаживая равновес с треугольником, выдавал полюбившуюся приговорку Иван Антонович, намекая на солидность своего опыта: действительно, незадолго перед тем он поставил для тезки нынешней владелицы почти такой же небывалой величины домище невдалеке, подле храма Спасителя, в истоке отходившей от него улицы, — и недурно поставил, да еще какие лепные маки в добрую дюжину аршин длиной навел по фасаду!..

Работу шабашили, когда опускался занавес сумерек, и

тогда, как по команде с небес, вся их безземельная деревня в десять дворов на своих ногах — артель — шагала к себе вечерять.

Вот здесь-то, отдохнув от громкого воздуха стройки и выждав, покуда прочие мужики завалятся на боковую, под гудошный оркестр их самовитого храпа, заводили далеко за полночь Мишка с Сережкой, получившие дополнительные прозвища медвежонка с волчонком (раз Михаил — так и Потапыч, а от Сереги до Серого ровно столько же, сколько от серого до волка), свои первые серьезные разговоры. Серега, тиская подружившегося с ним артельного кота Нерона, излагал взахлеб вычитанные им в раскрашенных книжках для народного употребления — оба были сыздетства обучены грамоте — мечты, подпалившие с одной искры спавшие в его душе могучие, но не имевшие лица силы. Постепенно разгорячась, толковал он с жаром товарищу об армиях в десятки тысяч рабочих, согласно возводящих необозримые города с равномерно пересекающимися улицами, как в Америке, где стоят здания в сотни этажей и цветут сады прямо на крышах. Когда рассказ про эти будто бы уже наполовину существовавшие чудеса в решете доходил до летающих по воздуху стадами крылатых поездов, он начинал, впадая от чрезмерной реальности носившейся перед его внутренним взором картины в настоящий раж, картавить, строя совсем умопомрачительные планы — и Мишка слушал тогда уже не его самого, а гул бушевавшего в его раскаленном воображении пламени, иногда даже как будто наяву влетавшего языками в их комнатку.

Порою в такие минуты гревшийся у ног Костыгова откормленный работягами пес Шурин скалился и рычал, словно чуя кого-то чужого, незаметно для людей вошедшего и ставшего посреди них. У Мишки же подобных идей, как ему иногда ни делалось жгуче завидно, в голове не заводилось хоть тресни — его в основном мучили куда более насущные заботы, но ради правды здесь он тоже готов был идти до конца. Пусть позавчера артельный отвесил по загривку затрещину и не повинился, что ненароком, не по справедливости; пусть, запомнив это — всегда ведь виноватый злится больше обиженного, — на следующий день не дал пятиалтынного на полюбившуюся в лавке среди книжного развала «Русскую историю в лицах» профессора Костомарова — не это могло до мозга костей Костыгова задеть. А вот когда он примечал, что взамен четырех лестниц можно запросто угнездить на лесах три или две покороче и по-

удобнее, когда доходил своим умом, что ровно класть рядками кирпич заместо троих человек, поменяв сноровку и приспособившись, в силах всего один, — то тотчас же, не обинуясь, лез со свежими усовершенствованиями к подрядчику, в ком по этой причине поселил к себе немую, но стойкую нелюбовь, а вдобавок попал под постоянное хитро-почтительное подшучиванье товарищей. Впрочем, даже и друг Сережка не всегда его справедливое возмущение разделял, так что в наиболее тяжкие минуты, оставшись без сочувствия и поддержки, Мишка уходил в укромное место, садился и передумывал случившееся с самого начала — может быть, противники его были правее? Изучив, размотав происшествия в обратном направлении, он обычно находил, однако, что его предложение было правильным и вроде бы никого не должно было обижать, — наоборот, оно приносило пользу и облегчение. А коли так, то он с еще бо́льшим упорством принимался гнуть своё.

Чем бы это все кончилось, случись сходная история всего единым десятилетием раньше, трудно сказать; но, видно, не судьба было тогда сбыться ни тем ни другим мечтаниям—все их нежные закинутые в будущее паутинные сети перерезала война, превратившая утро века и утро их ребячьей жизни как бы в заключенный за стеклянной преградой в музее неисчерпаемый волшебный ларчик воспоминаний. Но, благодаря неповторимому в своем роде дару человеческой памяти, музей этот был тем не похож на другие, что, по мере старения посетителей, выставленные в нем предметы приобретали способность молодеть, оживать для самостоятельной жизни, передвигаясь в минувшем и изменяя тем самым как будто бы уже совершенно не предназначенное для перемен прошлое, в котором с годами выявлялись вовремя не замеченные ходы и заделы, дававшие о себе знать долгие годы спустя.

Вон, к примеру, как заскулило у него сердце, когда прошедшей зимой он ровно случайно натолкнулся в газете на зернистый бледный снимок того самого, им строенного арбатского дома, над первым этажом которого, судя по фотографии, появилась чудна́я вывеска «САМОЦВЕТЫ», а внутри, как сообщала пристегнутая сбоку заметка, после тщательного многолетнего ремонта поместилось Министерство культуры...

Перебив в полстолетия совпал с переменой нынешнего движения сквозь пространство: тут как раз пришлось пересаживаться и с поезда, шедшего напрямик в Москву, пере-

бираться на трехвагонную электричку, раз семь на дню катившую в обход столицы по большому Окружному кольцу в пятидесяти верстах от Кремля. Отрезок, который нужно было проследовать по этой ветке до станции Манихино-2, был совсем невелик, зато давал возможность существенно срезать угол и выиграть время.

Ну, правда, как его ни выигрывай, рано или поздно все равно оно в своей партии с часами выйдет победителем, только вот перед тем повертит, прокрутит, заморочит голову, доставляя иной раз почти до самой желанной цели — так сказать, к вечности, — столь досадительно близко, что, кажется, пальца не хватает дотянуться, и даже дух захватывает от предательской ее ложной доступности.

Вот и тогда, таким же жарким, как сегодня, августовским полднем девятьсот четырнадцатого ушли они на запад словно для того лишь, чтобы пятью летами позже, обойдя неволею пол-отечества, войти с обратной стороны в завоеванный родной город, раскрывший теперь перед ними настежь любые возможности, и начинать в нем все, по видимости, с самого начала.

Впрочем, на поверку тут действительно было не что иное, как простая видимость: хотя вместо счастливых в самом своем недовольстве подростков в столицу вернулись двое рыжих и ражих, заматерелых молодца, приучившихся в армии и к послушанию, и к власти, будто одним уже цветом волос от природы отмеченных для того, чтоб командовать, вести за собою других, — но побудительные желания и мысли их, а тем паче то, что их питало, способности и воля, остались все теми же.

Изрядно обветшавшая и опустившаяся после нетопленных зим, зато вновь сделавшаяся в вознаграждение за два века унижений единственной головою в стране, Москва жадно ждала строителей и восстановителей, так что Костыгов с Костюхиным пришлись здесь исключительно впору и вовремя. Не долго колеблясь, Костыгов выполнил то, о чем думал еще до службы и чего не смог забыть за долгих пять лет: сговорив неполную дюжину таких же, как он, демобилизованных парней, своих сверстников, он нанялся сперва чинить и поправлять небольшие дома почти там же, где работал и раньше, между Остоженкой и Арбатом, чтобы потом, постепенно навыкнув, приняться уже самостоятельно строить их заново. Костюхин подался было на завод, но там как-то не прижился; повстречав ненароком на улице Мишку, он пристал затем ненадолго к его артели, но и в

ней проработал немного. Напомнив вчерне рукам былые приемы и ухватки, потянулся затеять обширнейшее, совсем на иных основаниях поставленное предприятие. Расклеив по вокзалам объявления, он набрал целых три сотни безработных пришельцев, выплеснутых гражданской войной из отеческих краев — по преимуществу они оказались татарами и приезжими с Кавказа, но не грузинского и не армянского происхождения, — и подрядился в Моссовете достроить выведенный перед семнадцатым годом до фундамента Чудовым монастырем жилой дом на Хамовнической набережной подле Крымского моста.

К той поре и Костыгов рискнул наконец сменить ремонт на подлинное первородное строительство, сочтя проведенную подготовку к нему достаточной. Еще не отважившись обойтись вовсе без архитектора, которого, скрепя сердце, пришлось-таки пригласить, он взялся со своей артелью соорудить небольшой особняк вблизи памятника Гоголю на Пречистенском бульваре для представительства одной из новых, недавно появившихся союзных республик.

Нача́ла этих двух строек почти совпали, и вот сперва как бы негласно, а потом и все более заметно между ними завязалось своеобразное соревнование, из-за час от часу возраставшей силы ревности превратившееся постепенно в упрямое соперничество. Проходя один мимо другого, зачинщики его, когда невзначай, а когда и намеренно, подглядывали, высматривали и чувствительно переживали то, что представлялось им опережением либо отставанием друг от друга. Затеянные не на шутку перегонки усугублялись еще полной разностью подхода к делу: Костыгов старался взять толковым, хитрее усовершенствованным трудом, но все же на освоенной, считавшейся им добротной артельной основе, — Костюхин же, напротив, поменял решительно все навыки сложившегося порядка и не давал своим подопечным привыкать к одному определенному ремеслу, переставляя с места на место, летал между ними с утра до ночи, вселяя порыв, заражая своим ражем и обещая (что тоже было немалым поводом поторапливаться) часть квартир выхлопотать для них самих. Такое невиданное доселе хозяйствование Костыгов, прицепившись к довоенному владельцу земли на участке и припомнив удивившую его какую-то не то веселую злость, не то жестокую радость, горевшую в глазах костюхинской команды, однажды опрометчиво вслух обозвал «монастырем навыворот», — а услужливая молва вскоре донесла определение до Сереги, повышенного к тому вре-

мени из Серого до Сергея Ильича, и тот, естественно, затаил обиду.

В самый распыл работ, в первых числах сентября, неожиданно рано для осени ударили в тот год лютые морозы, но оба подрядчика решили пойти наперекор обычаю и строить не прерываясь при всякой погоде. Природа, потомив неделю снегами и льдом, казалось, сдалась: стужа вдруг откатила, расплывшись в оттепель, протянувшуюся до самого поста. Но в один такой слякотный сизый день, когда готовившийся уже под старый Новый год праздновать с хозяевами новоселье Костыгов пришел пораньше, чтобы еще затемно разметить оставшиеся недоделки, он с тоскливым отчаянием увидал, что выведенный почти до верху свод в отсутствие людей ночью осел и вместе с задней стенкой рухнул. И его в темном одиночестве у разбитого дома охватило в эту минуту такое безысходное до ломоты в скулах чувство оскорбленного достоинства, какое бывало разве что в детстве, когда кто-то, подкравшись в темноте, ударит по лицу с размаху и убежит, так что нельзя даже узнать врага, и всю навалившую в разбухшие мщением кулаки силу некуда приложить — хоть себя самого еще раз бей.

Припомнил он привередливого Ивана Антоновича, у кого так и не успел вполне перенять все тайны ремесла, и даже выпендрёгу Дубовского, разобрав среди трезвого самоосуждения, что, видать, было-таки у него право глядеть свысока на бестолковых в щенячьей своей резвости подмастерьев, и перебороть эту ученую гордость можно не сопротивлением в лоб, а работая для начала под их рукою, затем в паре, покуда не достанет сил и умения вырваться и уйти вперед, оставя прежних спутников позади, — но все это откровение случилось, как и полагается, после того, как уже ничего нельзя было поправить. В тот же день его от подряда отлучили, хорошенько выругав и отобрав задаток, — спасибо еще, беда стряслась ночью и никого не пришибло, не то неровен час гораздо было и под суд угодить.

Почти до вечера просидели они с товарищами по разорению в исходе бульвара, у самой Москвы-реки, даже не выпили с горя, продолжая кумекать, чем бы помочь друг другу понять происшедшее — и единственное, что хоть как-то утешило Костыгова, это то, что никто из них не захотел уйти. Помаявшись с горя, решили на следующее же утро двинуться на окраину, куда не достигал слух о стрясшейся позорной неудаче и где работа была попроще, да вновь приниматься там за дело, танцуя от печки — строить дачные

домики для горожан, не многим более сложные, чем привычная крестьянская изба, десятки раз ставленная в Подмосковье своими силами. Другой дороги для себя никто из костыговских не видел.

Неожиданно — конечно, Мишка сперва подозревал, что ради того только, чтобы убедиться воочию в поражении противника, — заявился к ним на бережок на закате Костюхин, посетовал на планиду, выразил сочувствие и даже предложил помощь, в данных обстоятельствах чисто умозрительную. Костыгов, однако, все равно виду не подал, какие у него имеются на сей счет догадки, и, условившись с артелью встретиться завтра ранехонько у трамвая за Брестским вокзалом, отправился с ним вдвоем в знаменитую тогда полпивную на углу Тверских — улицы и бульвара.

Там им, по зверски роскошному обычаю коротких нэповских лет, подали к дюжине пива корзину живых раков, приборчик с матовым стеклом и склянку спирта: здесь полагалось, облив выуженного из кучи водяного паука горючим, поджечь и варить его жесточайшим образом прямо на глазах в синем пламени, получая из собственных рук продукт изысканнейшей наглядной свежести. Разворачивая туго закрутившиеся в огне рачьи шейки, высасывая клешни и лапки, облизывая языком истинного знатока юный жир изнутри горячих бордово-огненных скорлуп хитиновых панцирей, два приятеля напились вдосталь пенного темного пива, обнялись и, хотя не высказали вслух и половины того, что толклось не отложившимися еще в простое слово чувствами внутри их упрямых голов, но все же посредством не очень связных охов и приговорок сумели поделиться многим, накопившимся для исповеди, которую некуда более было принести.

Уже не молодецким, а взрослым, скаредным на выговариванье тотчас во всеуслышание едва родившихся мыслей мужским разумом каждый из них по-своему оценил, что же такое, кроме рождения по соседству, связало их в жизни наперехлест так круто, что один как будто без взаимного отражения в другом и не был еще окончательно человеком во всей положенной ему полноте.

— Если б ты знал, какая это страшная сила — единый порыв сотен людей! — толковал другу Серега, в то же время нудясь про себя подавить зашевелившуюся в подсознании навязчивую, возвращающуюся от поры до поры тревогу. Появлялась она у него в душе почему-то именно в те минуты, когда горение и пыл доходили до предела, пе-

ребравшись через который он достигал, уже за чертою обыденной нравственности и логики, невероятных, поражающих всех успехов. Вот тогда-то, в момент одержания победы и посещало его, как сейчас, ясное до рези осознание того непреодолимого недостатка, который мешал ему зажечь своим пламенем целый мир — не хватало прирожденного, всеми признаваемого без предъявления каких-либо доказательств могучего д а р а власти. Понимание это губило всю радость успехов, — и вот именно такой недополученный им дар он отчетливо чувствовал лежащим внутри костыговской личности, но считал, что он похоронен там втуне.

Невозможность, бессилие что-либо изменить здесь безжалостно травило и мучило Сергея Ильича, беся его ум и одновременно указывая, как верный признак, что всеиспепеляющий раж начинает переходить в свою противоположность, перерастая из строительной ненависти к косному веществу вселенной в обреченное, тягостное сомнение — во всем, что ни на есть в мире. Тогда его принималась грызть сердечная боязнь, что ничего из созданного им в жизни не устоит долго и, подобно тем жалким постройкам или посадкам на разделявшем их с костыговским домá, заклятом еще с каких-то незапамятных вещих пор поле, которые там по упрямству или незнанию пытались время от времени завести соседские жильцы, — неминуемо развалится, распадется, зачахнет и перейдет в еще пущее буйство стихии, перехлестывающей и по эту, здоровую покуда сторону.

Тут его поражало диковинное причудливо-пророческое нравственное заболевание: боязнь трещины, шершавости гладкого, кривизны прямых линий, словно в издевку снабжавшее его мозг поистине тайновидческими способностями действительно предугадывать — точно тень из еще не нагрянувших лет — разлом и язву там, где сегодня вовсю празднует счастье, но куда потом (и это он с убийственным удовлетворением всегда отмечал впоследствии) неминуемо заявлялись упадок, разрушение и смерть.

Костыгов пучины бытия дразнить опасался, разобрав для себя лишь, что, соперничая на пару в ревности, можно вполне сносно рачить о деле, и занимался больше злободневной заботою, укоряемый совестью, подсказывавшей ему, что корень неудачи лежит в его собственной неправде, недостаточной порядочности, неладности отношения к труду, — и он только с недоуменным удивлением заметил, насколько земляк его, командуя подопечными, быстро изменил свой привычный облик и стал на них внешне похож.

Вместо былого тонкого и даже жидковатого рыжего пушка волосы его сделались густы и чуть курчавы, бородку он выкосил, заменив четкими вперед торчащими усами щеткой, и даже говорил теперь, поборов былую картавость в час возбуждения, спокойно вынимая слово за словом как будто из-за пазухи и произнося их с преувеличенным ударением, гарканьем и тем усугубленным акцентом, какой приобретают на Кавказе долго живущие там русаки. А еще отчего-то — может, просто по той обыденной привычке, которую припечатал поэт двустишием: «Что ему книга последняя скажет — то ему на душу сверху и ляжет», — обнаружил он в приятеле черты, напомнившие ему внешне портрет из только что поглощенного в павленковской серии биографий жизнеописания путешественника и землепроходца Пржевальского. Но, впрочем, с течением времени, а особенно потом, когда он стал работать на старости лет библиотекарем, Костыгов вывел для себя своеобразный закон о чтении, гласивший, что всякая вообще книга попадает человеку в руки — если, конечно, запоминается, — удивительно впору и совсем неспроста, помогая, подталкивая его на заботливо размеченную дорожку судьбы.

...Коротким полудесятилетием вроде нынешнего скорого пути по полусотверстной кольцевой дороге прокатили эти их последние московские годы. Костыгов, оклемавшись постепенно от неудачи, отдохнул на дачном промысле, а потом вскоре подрядился ставить пригородные поселки-сады на окраинах — в Леонове, на Соколе, по Варшавскому тракту — да так больше к высотному «этажному» строительству и не вернулся. С Костюхиным же поначалу приключилось загадочное, почти стихийное происшествие: несколько дней спустя после их разговора в трактире, вернувшись вечером в воскресенье домой, он вдруг обнаружил, что вся его команда, как один человек, по звуку невидимой трубы снялась и утекла в неведомом направлении, не оставив ни записки с объяснением, ни привета. То ли переманил их кто, то ли какие-то собственные древние нужды позвали на родину — но, как принято стало говорить с тех пор, «факт тот», что все рабочие бесследно исчезли.

Запомнив навсегда это отчаянное коварство, Сергей Ильич в следующий раз поступил производителем работ уже не в самостоятельное дело, а по найму, на службу к архитектору Гинзбургу — тот любил еще именовать себя на французский пошиб «Гайнсбур» — развернувшему тогда вкупе с единомышленниками на широкую ногу возведение

диковинных сооружений в виде тракторов, гигантских шайб и замысловатых механизмов в новоизобретенном стиле конструктивизма. Смелости форм этих зданий соответствовали и быстрота появления их на свет, и ярость охвата ими всех районов города, и необычность внутренней планировки, искоренявшей отжившее домовитое мышление и вводившей явочным порядком в сознание и быт общественные инстинкты, вплоть до полного упразднения частного пространства в жилище. Сергею Ильичу нравилась в особенности небывалая легкость, с какою на пустых или нарочно предварительно расчищенных смелым сносом землях вырастали на всех концах Москвы эти «фабрики для жилья», «цеха питания», «комбинаты культуры и здоровья» — вплоть до, к сожалению, не успевшего воплотиться «Храма общения народов», ко многим из которых, начиная от знаменитого дома Наркомфина на Новинском бульваре подле Кудринской площади и кончая захудалым клубом у станции Красный Балтиец на Виндавской железной дороге, он и сам приложил руку. И пусть во множестве этих строений ему приходилось только имитировать прочные стены быстрой обмазкой и штукатуркой под камень — ничего, потомки во всеоружии будущих достижений подправят и выведут в бетоне и стальных плитах то, что они сейчас лишь наметили.

Но эпохи налетали и отмирали все быстрее одна за другою, принося иные стили и вместе с ними новых исполнителей. С постепенно затихшим поветрием конструктивизма приросший к нему не только дружескими и деловыми связями, но и всем складом труда и ума Костюхин в итоге все-таки вынужден был покинуть столицу в начале тридцатых годов, — и опять, как нарочно, почти тогда же, когда оттуда с остававшимися еще представителями угасавшего артельного промысла уходил и Костыгов, унося с собою древний зодческий обычай, как ему казалось, навсегда. Потому-то, кстати, Михаил Петрович почти как свою личную победу воспринял вновь родившееся чуть не полвека спустя, и именно в Подмосковье, движение, восстановившее подряд в современном строительстве, и даже письмо написал известному бригадиру с советом и благодарностью, сочтя его за прямого в работе наследника...

Недолго просидели они без дела в родных краях и уж, конечно, чуть ли не на третий день встретились — в ближайший же выходной, прогуливаясь с женами по площади у обращенного в музей монастыря. Натолкнувшись друг на друга и неподдельно обрадовавшись, они отпустили супруж-

ниц по домам, а сами решили для существенной беседы наедине зайти вовнутрь него — туда, куда в остатний раз приводили их семилетними пацанами бабушки и где ныне, как сообщал празднично-алый плакат над входными воротами, раскрывались все прежде запретные тайны и доступ позволялся решительно повсюду и везде.

Вступив в главный храм под ослепительно сияющей ротондой, казавшейся даже ярче и выше, чем настоящие солнце и небо, приятели от неожиданности согласно пригнулись и заговорили шепотом — настолько победительным был этот изливавшийся сверху на головы свет. Когда глаза попривыкли к нему, Костыгов принялся изучать длиннющие указатели с пояснениями, хлестко сочиненными директором музея Шнеерзоном про злоключения коренных жителей края — то есть, как он тотчас перевел для себя, собственных его, костыговских, предков. Но Костюхину, споро прошедшемуся хозяйской походкой по всему подкупольному открытому пространству, быстро все это надоело и он повлек друга во второй справа от дверей закуток для укромного разговора.

Михаил Петрович и тут было пустился читать писанину о мудреной судьбе некоего допотопного царя Мелхиседека, погребение которого должен был изображать этот «придел», куда когда-то завещал положить себя после смерти строитель собора Никон, — однако Серега, отодрав его насильно от ученой премудрости, усадил с собою рядом у надгробной тумбы, треснувшей поперек при вскрытии, огляделся по бокам и, не заметив ни других посетителей, кроме них, ни музейского служки, достал из штанины курево.

— Не могу долго терпеть, — сладко посетовал он и затеплил огонь, пустив хлопок вкусного спичечного дымка и сразу вслед за ним целый облак вонючего махорочного. Но тут же споткнулся взором об укоряющий Мишкин глаз, смотревший на него в упор так властно-настойчиво, что Серега, лишь немного потянув ради приличия, затушил свою папиросину о кривой черный ноготь большого пальца.

— Ты чего? — спросил он для порядку, хотя и сам понимал, что здесь это не положено, пусть и не ясно вполне — отчего. Ответа он не получил и тогда решил зайти с другого боку сразу к цели:

— Делать-то что теперь будем, а?..

Они постепенно разговорились, и выяснилось, что мыслей заветных ни тот, ни другой не оставил — напротив, перегорев жаждой немедленного их воплощения, каждый соби-

рался на сей раз действовать более спокойно, но столь же решительно.

Костыгов, не поспевший еще и городской одежки своей переменить, сумел, однако, сговориться с несколькими хозяевами дворов по соседству и в окрестностях о животноводческом кооперативе, созданном наподобие промышленной артели, которому местный совет обещал отвести земли под покосы и пастбища и материал для строительства коровников.

Костюхин, превратившийся меж тем за проведенный тут месяц в заправского селянина, одетый в толстовку, стриженный наголо и даже гыкавший с гулом теперь уже на южнороссийский манер, поминутно растворяя по-щучьи зубастую улыбку на крепкой круглой голове борова, излагал планы новых преобразований, задуманных им вдвоем с вывезенной из Москвы женой Файкой. Не чета костыговской половине, раз за разом приносившей девчонок, умиравших не доживая до года, и постоянно погруженной в доставшееся от судьбы материнское несчастье, — она была, как нарочно, скроена в подпор своему мужику, горела тем же негасимым пламенем великих затей и перемен и при том обладала хитрой способностью добиваться положительных решений по поставленным ими «вопросам» там, где это не получалось у Сереги. Детей она, правда, не рожала вовсе, да и трудно было вообще о них вспомнить, глядя на ее устремленную вперед боевую наружность, — зато представляла собою будто ожившую, расцветшую во плоти тень мужа. Вот так на пару они затеяли организовать хозяйство-коммуну по выращиванию в парниках на бывших пойменных лугах ссуженной им их городскими приятелями диковинной культуры сои, про которую рассказывали, что достаточно всего на одно кило, скажем, мяса или шоколада добавить девяносто девять этой сои в качестве «наполнителя», как получится готовый центнер того и другого, ничем не отличимый от настоящего и притом вдесятеро более дешевый.

Разобрав по прошлому опыту, что при единовременном осуществлении обоих задуманных планов неминуемо разрастется опять взаимное соперничество, приятели тогда заранее условились не переходить друг другу дороги и стараться всемерно сотрудничать в той части, что касалась не идеи, а повседневной подмоги. Обрадовавшись достигнутому наперед согласию и разрядке, Серега снова улыбнулся и шутливо поклялся, неожиданно взяв в свидетели лежавшие когда-то тут мощи:

— А знаешь что, давай, вот чтоб он нас там услышал, — сделаем зарок не закурить на этом свете, покуда не обнаружится, которая дорога прямее!..

— Ладно, да только ж ведь я и не спорю, — возразил Михаил Петрович, — может, твоя и вправду прямее, но вот пра́вее ли?.. Помнишь вон поле, — перепрыгнул он вдруг мыслью так впопад, что Костюхин аж вздрогнул, почувствовав, что собеседник проник в его наиболее заветные, закутные думы.

— Какое? — спросил он с утроенным вниманием, накренив в сторону Костыгова сердитый лоб.

— Да вот что между нашими слободами лежит. То, что еще прадеды дедам заказали распахивать?..

— И зазря, пожалуй... Пропадает добро без толку...

— Нет, погоди. Это сейчас кажется, что его даром забросили, а как знать, какой они там свой особый завет положили... Может, сказали: пускай, дескать, останется хоть одно поле чистое, никем не рушенное, не то даже как-то пакостно без него на свете будет, понимаешь? А тут приходишь ты и тащишь, не спросясь, прямо наперерез, поперек его борозду, да еще и дале ее по миру продолжаешь. Но она, гляди, прямо под ногами, за тобой зарастает — не хочет земля, чтобы ее до смерти трогали. И нет бы тебе тогда погодить, подумать, взять да и обойти кругом — вдруг да в целости той есть самый великий смысл...

Но Серега, конечно, не сдался, и они разошлись, в очередной раз расколовшись во мнениях. Однако зарок выполнили во всем, и даже взаправду так больше и не закурили — только взамен задымились вокруг них дела. Преодолевая настойчивым соображением и упорством сопротивление полузабытого и не до совершенства пройденного в детстве крестьянского ремесла, пустились оба приятеля в начатые предприятия. Худо да бедно, постепенно костыговская промысловая артель начала давать доход своим пайщикам, и немалый. Становясь год от году богаче и крепче, она оседлала местный рынок мяса, куда доставляла его в изобилии, указывая нужные ей цены и перебивая завышенные частные.

Уже приезжали к ним из других районов не одни покупатели, но и крестьяне за опытом, уже поставили почти все участники себе новые дома на посаде, уже пошла про них добрая слава по округе, — покуда не привлекла она недовольного взора подозрительных не в меру соседей, сообща сплотившихся против артели за ее укорявшие все их непло-

довитые старания успехи и сумевших ее в конце концов-таки прикрыть, чтоб не вырывалась из общего круга.

Костюхинское начинание на поверку оказалось гораздо сложнее, чем представлялось при первой прикидке, но, как ни удивительно, именно это и послужило причиной его долголетия: вместо денежного оно давало району весомый моральный доход — им гордились, величаясь перед другими, его ставили на вид нерадивым и безынициативным, а когда появлялась необходимость, то и отбивались от иных неудобных, спускавшихся свыше проектов. Продолжительная служба его в качестве выставочного образца прекратилась лишь тогда, когда после трех подряд не тороватых на урожаи лет смертельно потребовалось вместо примера зерно — а его-то как раз экспериментальное дело Костюхина не приносило в достаточном количестве, да и в ближайшем будущем не обещало давать.

Однако, в отличие от своих московских неудач, теперь оба вошедших в основной возраст остепенившихся хозяина, Михаил Петрович с Сергеем Ильичом, отступать отнюдь не собирались. Мириться с поражением ни один из них не захотел, и вот, воюя до последнего, они развернули такое сражение за свою правду, что доказывать ее им пришлось не только в местном масштабе или в столице, но и на довольно широких пространствах севера России — Костыгову на Вологодчине, Костюхину близ самого берега Студеного моря, в Коми.

Когда разразилась война, Костыгова отпустили на фронт, где он по привычке рассчитывал вскоре же повстречать своего близнеца по передрягам, — но так, дойдя на третий год службы до границы Белоруссии с Польшей и получив тут тяжкую рану в боку, после которой его комиссовали и отправили обратно по месту прописки, его больше и не увидал.

По возвращении он устроился в большом селе Чарозеро заведующим в народную библиотеку, получив здесь по своему происхождению поначалу кличку «москвич»; позже, приглядевшись к нему попристальнее, люди заметили, что возросшая тяга к чтению превратила чудака в своеобразного мудреца с оттенком юродства, на всякое современное событие глядевшего не иначе, как отойдя на вековое расстояние да сравнивая его со множеством происшествий былых времен, — и переменили ему прозвание на позабытое и вовсе, казалось бы, лет тридцать тому назад выброшенное словцо «блаженный», только в более уважительной да-

же при заглазном употреблении форме — «блаженнейший».

Обжившись и успокоившись немного, Костыгов написал домой. Конверт, посланный жене, вернулся обратно нераспечатанным — она тихо скончалась, никем почти не оплаканная, в самом исходе военного лихолетья. Дальние родичи, остававшиеся на другом конце города, не слишком обрадовались необходимости поддерживать переписку и лишь коротко сообщили ему, что в сорок первом приходили немцы, собор с колокольней при отступлении взорвали с такою силой, что по всей окрестности камни и пепел раскидало, а костыговский дом тогда же занялся и сгорел. Относительно Костюхина с Файкой было известно, что их партия была послана в начале войны подготовить закладку нового порта при устье безвестной речушки, где, как предполагалось, природа схоронила неисчерпаемые запасы нефти, предназначавшейся для продажи на вывоз через Севморпуть тогдашним союзникам-англичанам. Оставленные там на год одни разбивать поселок для строителей, Костюхин с товарищами загорелись идеей, вдобавок к полученному заданию, перегородить речку, подорвав стоявший в каменистом месте на крутояре утес, — так, чтобы она, наполнив доверху получавшийся резервуар, потекла вспять и залила обширные пустынные тундры, в которых они собирались затем выращивать картошку и клюкву. Удачный на редкость взрыв действительно свалил исполинскую гору в воду и запер течение, образовав за неделю целое море, сумевшее, однако, вскорости найти свою исконную дорогу на океан, сметя при этом неутомимых преобразователей: пришедшие на следующее лето на смену им рабочие не нашли и костей. Потом к тому же выяснилось, что никаких особенных залежей в этом краю нет, постройка поселения была отменена, и первопроходцам экспорта не поставили даже обелиска. Единственное, что прислали Михаилу Петровичу на память о Сереге, была его фотокарточка последних лет. Снова решительно изменившийся внешне, он был теперь чрезвычайно сутул; плечи вздернулись выше головы, а глаза, как бы увиливая от любого возможного наблюдателя, уставились куда-то под ноги, словно подглядывая там за ним исподтишка в невидимое зеркало. Перпендикулярно направленной крепкой рукою Костюхин держал свою спутницу, в отличие от него цепко вперивавшуюся в заотмирные ныне для нее пространства зрачками-буравчиками и, казалось, собиравшуюся произнести речь.

На все это мрачное, как к нему ни относиться, происшествие Костыгов, достаточно отвердевший на фронте чувствами, опять-таки смотрел с той возвышенной над обыденными страстями позиции, какой обязан был изучением исторических книг — поначалу романов вроде «Ивана III» или «Владимира — Красное Солнышко», а потом, погодя и освоившись в новой для себя области, и настоящих трудов с подлинными документами, наподобие только что переизданных Соловьева и Ключевского.

Благодаря им же его внимание вновь обратилось к тому, что произошло на его родине три века назад. Стараясь достать и прочесть все, что об этом было написано, Костыгов, постепенно познакомившись с главными вехами тех стародавних событий, в какой-то момент почувствовал, что в постижении их остановился: всякий следующий автор, как он разобрал, накопив основные сведения, берет ту же цепочку известных деяний и только переставляет ее звенья в каком-то ином, заранее вычисленном им порядке. И таким образом вместо открытия истинного смысла вещей сложилась своеобразная система запретов, полезная, но далеко не достаточная: усилиями множества исследователей было установлено, как нельзя думать о «расколе», а вот о том, что же о нем следует полагать, удовлетворительного понятия не было.

Вглядываясь наедине с ревнивым сочувствием в эти древние дела, в общем-то жителям воскресенской волости всякого звания вчерне так или иначе знакомые по рассказам стариков еще с малых лет, Михаил Петрович наконец дошел однажды своим собственным разумом до того, что в глубине их увидал то же основное отечественное перепутье, которое постоянно возникает в нашей истории на всем ее протяжении — выбор дороги кругом поля или наперерез. Но, уверившись в относительной правильности этой мысли долгим вынашиванием ее в полной немоте под сердцем, Костыгов все равно сохранил подозрительное в ней сомнение, не считая уже того, что чересчур она была легко превратима в любую сторону и расплывчата по сути.

Многое здесь мог бы, как ему представлялось, прояснить рассказ, найденный им в одной брошюрке и почему-то, против обыкновения пишущего сословия, нигде более не повторявшийся — если б только суметь его разгадать. Это было описание подлинного сна Никона, приснившегося ему еще на заре его жизни, в бытность простым иноком на Соловках. Когда он прилег ненадолго вздремнуть от трудов, ему

показался в тонком видении сосуд, доверху наполненный семенами, и незнакомый голос произнес: «Это — мера твоих трудов исполнена». Никон, не удержавшись, придвинулся ближе, чтобы рассмотреть, что это за семена, опрокинул нечаянно сосуд и все их рассыпал. И сколько потом он ни пытался до самого пробуждения собрать их обратно — но так и не смог наполнить сосуда вновь.

Среди подобных недоумений Костыгову неожиданно бывшие соседи, жившие через улицу в слободе, переслали открытку от незнакомого ему, другого вовсе поколения человека: это был следователь Истринского района старший лейтенант Мосолов, таким же беспричинным внешне образом в досужное время задавшийся целью распутать, разгрести, разобрать, чтобы потом пересудить заново, Никоново дело с чисто правовой точки зрения. Когда после осторожного прощупывания необычный земляк удостоверился, что профессия его нисколько старика не смущает, между ними завязалась странная и вместе с тем совершенно русская переписка, в которой подмосковный правовед и вологодский книгочей, так и сяк обсуждая мельчайшие подробности, пытались помочь друг другу решить задевший их кровно, пусть и кажущийся с посторонней колокольни отвлеченным, вопрос.

По наущению Костыгова Мосолов наведался в музей, кропотливо восстанавливавший страшно пострадавший собор, кельи и башни, где навел дополнительные справки и просмотрел последнюю научную литературу. Затем он сообщил своему заочному собеседнику, что почти ничего существенно нового там не обнаружил, за исключением появившейся в минувшем году к трехсотлетию кончины Никона работы, вышедшей, правда, в труднодоступном издании; в ней его внимание привлекло небольшое рассуждение о том, что истинный раскол рассек страну поперек не в то время, когда стали вводиться различные исправления в обряды, — а тогда, когда царь из ближайшего «собинного» друга обратился в прямого врага патриарха.

Он даже не ожидал, насколько это мнение поразит Костыгова, — в ответ тот направил толстенное письмо, по объему и содержанию скорее походившее уже на послание. «Вот наконец, — признавался в нем Михаил Петрович, — получается подтверждение тому, что мне уже много лет хотелось высказать вслух, но все было как-то боязно говорить в одиночестве. А теперь, видимо, пришел час. Ведь, на самом-то деле, отчего же никто до объявившегося сейчас зна-

тока не желал упрямо заметить, что не надвое вовсе раскололась Русь в семнадцатом веке — а натрое! Власть гражданская отделилась и встала против власти духовной — вон в чем тут гвоздь сидит, вот где две главные столкнувшиеся силы. И совершенно зря сосредоточиваться на фигуре Аввакума, переводя его с третьих ролей на первые — что бы он без этих двух основных противников значил? Изменения обычаев, сколь ни значительными они представлялись в ту пору, сейчас уже для нас куда менее занимательны; да притом, судя по всему, еще два-три поколения — и последний в России старообрядец отойдет в мир иной заодно со своим учением. А это страшное по своим последствиям распадение, расщепившее народ, отколов от него при том добрую треть, — оно навечно запечатлено в нашей истории, и ничем его оттуда уже не выколупнуть. В том-то урок и состоит, что семена его, как микробы чумы и прочих хвороб, постоянно вертятся в окружающем воздухе в громадном числе; но нужно появиться зияющей, дымящейся кровью ране, нанесенной непременно своими же — с чужими и счет иной, — чтобы они смогли уцепиться за нее и растравить до незаживающей язвы...»

Тогда же, в завершение этого окончательного своего приговора, не стесняясь, приписал Костыгов и единственную, помимо ученых, просьбу о личном — помочь вернуться на родину.

...В Манихино у обочины шоссе уже поджидал грузовик с крытым верхом, осторожно тронувшийся, как только они в него погрузились, и ходко пустившийся по незатесненной в тот день Волоколамке, пройдя полтора остававшихся десятка километров меньше чем за час под неподвижно-летящим высоким небом, усеянным августовским ветром кудлатыми баранами накрахмаленно хрустящих туч.

Немного недоезжая Истры, в виду ее труб и глав Нового Иерусалима, у своротки на Троицкое машину остановил широко махавший руками наподобие мельницы Мосолов.

— Что, Федор Алексеич, не получилось-таки в город? — спросил, догадавшись, притормозивший около него шофер Костя, но тот в ответ только пожал плечами — человеческие возможности, дескать, ограниченны. Привычно легко запрыгнув в кузов, он с размаху поклонился Михаилу Петровичу чуть ли не до полу, водитель переключил третью скорость, и они медленно подкатили к новому костыговскому месту жительства.

Навстречу вышли посторонившиеся, пропуская грузо-

вик, к краю дороги женщины, тотчас признавшие Мосолова, хоть он и появился сегодня, отпросившись на весь день с работы, в гражданском. Они безмолвно наблюдали, как, выкручивая голыми пальцами больно царапавшиеся затекшие винты, Федор Алексеевич с водителем отворили крышку и тихонько приняли ее вбок. Пелен решили не подымать, а попросту постояли со склоненными головами и отдали последнее целование в единственное, что было открыто, — руки. Безо всяких просьб пребывавшие до поры неподвижными старухи завели «вечную память», крышку под это пение приладили вновь и, взявшись за ручки, кряхтя опустили гроб на веревки, а на них уже в свежую неровную яму.

Все бросили туда по горсти земли. Потом, споро работая принесенными из кузова лопатами, они с шофером ее закидали, навалив поверху невеликий холмик, для начала прикрытый дерном. Костя отер лоб, тотчас запачкав его прилипшей к ладони комками грязью, отряхнулся и предложил подвезти, но Мосолов отказался: ему некуда было торопиться и он решил пройтись до дому пешком. Выбредя с кладбища сквозною тропинкой на другой его край, он спустился к Истре и левым берегом не спеша пошел вверх по течению вдоль реки. Словно наглядное воплощение совокупности измерений пространства — небозема-горизонта, окоема-плоскости и микролицы, венчавшей их полнотою объема, — впереди перед ним маячили три вертикали: городские постройки по правую сторону, циклопический ржавый промышленный кратер по левую и монастырь посреди.

...Полчаса спустя Мосолов проходил уже под его стенами там, где, как он знал по воспоминаниям Михаила Петровича, когда-то стояли слободы — теперь от них почти ничего не осталось. Примериваясь на единственную укоренившуюся на местности зацепку для глаза, угловую Иноплеменничью башню, он добрался наконец до предполагаемого участка костюхинского двора, куда ныне вплотную подойти было нельзя из-за забора, огораживавшего сооружение, напоминавшее в пору своего расцвета невообразимо увеличенное яйцо с проломленной в застольных пасхальных баталиях верхушкой. Метрах в трехстах от этого сдувшегося однажды в одночасье шара виднелись домики изрядно потесненного им дачного поселка какого-то московского проектного института, на крохотных, всего в шесть соток, делянках которого буйными купами взошли к поре урожая многие дюжины видов самых разномастных овощей, фруктов и цветов, благодатно отягощая ветви на радость из-

рядно потрудившимся на своей малой земле хозяевам.

Между ними еще сохранялось пустое пространство, значительно сократившееся и превратившееся из поля в поляну, но так до сей поры и не тронутое в середине посевом. Оно кустилось разнотравьем и дикорослью, заметно, однако, поредевшими и кое-где пошедшими голыми пыльными залысинами. При приближении Мосолова резкий вихорь низового ветра закрутил посреди одной из них летучую тучу праха, мгновенно взвившегося воронкой, которая едва касалась перевернутым концом земли, уносясь раструбом в поднебесье, — и двинул, казалось, прямо на него. Остановившийся Федор Алексеевич безотчетно вздрогнул, но смерч, подвалив под самые ноги, развернулся и, царственно покачиваясь, в бешеном вращении направился прочь.

СОБЕСЕДНИК НЕБЕС

Облака — обаянья борцы —
Тише: тучу ведут под уздцы!

...судьба сама еще звенит, — и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка

ИЗ ПОЭЗИИ 1930-Х ГОДОВ

Алексей Степанович Плотников сдал около полудня жену в приемный покой, где ее заботливо переодели за перегородкой из матового стекла, выдав ему почти тотчас назад из окошка «мирское», ненужное покуда платье; потом вышел на воздух и, недолго подивившись на чудом сохранившуюся под фронтоном надпись с венчающим ером «ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМЪ», рассеянно побрел по улице Александра Невского куда глаза глядят. Теперь на его долю оставалось лишь ждать последних известий об известных последствиях, и хотя труд ожидания подобного рода был ему не впервой, но успел-таки порядком подзабыться: как-никак единственному сыну Васе стукнуло месяц назад, в июле, пятнадцать годочков.

Не прошло и десяти минут, как он наткнулся на первое посреди жилых, да чужих домов общественное заведение — пивной зал под железною крышей, но с несуразными брезентовыми стенами, трепыхавшимися вечно на ветру, за что народные пересмешники лукаво прозвали сей род строений «рваные паруса». Тот, словно громадный опенок, вылез в однолетье на недавно очищенном от старых кварталов пустыре и сейчас призывно помахивал, будто платочком, оторвавшимся от пут сизым линялым тентом, заманивая в гости на кружечку.

Собственно, сделавшаяся во время беременности не то чтобы верующей, а скорее обостренно внимательной к одной ей понятным приметам жена еще заранее настрого наказала ему перво-наперво поставить за здоровье ее и грядущего в мир чада, как положено, свечку — но все как-то сходилось не в пользу исполнения ее желанья: и час выпал такой, когда как будто там, где свечи горят, перерыв, да и не было вроде поблизости ничего в сем смысле подходящего — единственный храм напротив Белорусского вокзала, который местное население упрямо величало мечетью, а хорошо разбиравшийся в здешних окрестностях Алексей Степанович наверное знал за старообрядческую моленную, давным-подавно делили скульптор с кинофабрикой. Зато в смысле кружки-другой обстоятельства складывались совсем наоборот, как нельзя более благоприятно; да и то сказать: всего каких-нибудь два-три часа назад Плотников еще безмятежно завтракал втроем с женою и сыном, и тут нá тебе! — только собрался идти в мастерскую, как вдруг «сошли воды», и весь день перекувырнулся кверху дном... Следовательно, вовсе не грех как будто было бы зайти и пропустить «парочку», дабы поуспокоить внутреннее волнение души.

Легко поддавшись собственным уговорам, Алексей Степанович твердым шагом вступил под своды пивного святилища и, сразу озаботившись приобретением на размене кучки двугривенных, наполнил два бокала по самый «Марусин поясок» да взял им до пары, чтобы не было пиву скучно плескаться в желудке, пригоршню круто посоленных сушек.

Со всем этим дешевым богатством он перекочевал из-под навеса в возведенный по случаю летней жары открытый загончик, где смело устроился даже не в тени многотерпеливого дуба, упрямо не засыхавшего, несмотря ни на какие беспрестанно творившиеся подле его корней безобразия, а прямо на солнышке, если не сказать солнцепеке: се-

годня ему все было по плечу — мало того, по неписаному мужскому закону в ближайшие сутки как раз вменялось в обязанность сколь возможно усерднее совершать побольше поступков наперекор общежительным обыкновениям.

Алексей Степанович окунул слегка в пену указательный перст десницы и, протерев им досуха ребристый край первой кружки, схватил ее в левую руку да одним махом и заглотил залпом, а потом оперся спиною об узкую стойку позади себя и безмятежно закайфовал.

Ежели говорить по правде, то у него имелась про запас и особая доморощенная теория о местах, подобных тому, где он сейчас временно пребывал. В нынешнюю пору господства телевидения в области человеческого досуга, гласила она, сохранилось лишь два своего рода «социальных заповедника» прошлого, где не угомонившиеся еще удальцы могут иногда дать себе волю порезвиться и размять затекшие косточки, а именно: стадион и пивная. Но тогда как на первом воистину действующими лицами служат две неполных дюжины наемных игроков, а все прочие только переживают за их поведение, причем непременно в пользу одной или другой партии, — во второй совершать ответственные, да и безответственные поступки в силах каждый, правила игры всякий волен избирать свои, равно как и саму игру, а партийности в смысле «коллективного бессознательного», объединяющего болельщиков известного клуба, нет и духу.

Сообразно таким своеобычным понятиям, он и сегодня, как всегда, первым делом сначала ревниво обозрел редкое население здешнего «коровника», вяло жавшееся по тенистым куточкам, но остался покуда не удовлетворен увиденным. Единственной, кто привлекла его внимание, была редкозубая хмельная старушка на тонких цыплячьих ногах, какими судьба предпочитает по преимуществу карать прекрасный пол за пьянство; будто воплощенный дух-хранитель «зала», она плясала на середке площадки сама с собою, притопатывая, крутясь волчком и разводя с жутковатым кокетством полы ветхого, жаркого не по поре пальтеца; затем тихо подкрадывалась к очередному кавалеру, елейно выспрашивала «имечко», а проведав его, тотчас принималась на всю Ивановскую распевать нехитрую частушку-самобранку:

А мое сердце приуныло,
А полюбила я тебя, имярек,
А я воронежска артистка —

(тут называлась фамилия известной исполнительницы народных песен)

А полюбила я тебя, имярек.

Она не успокаивалась и повторяла ее во всех тональностях, доколе смущенный любовник не одаривал «артистку» заветным «двадцариком»; полученный от «лапушки» или «донюшки» гостинец старушка немедленно претворяла в пенную жидкость и замирала, переводя ее внутрь себя, а потом спустя невеликий промежуток времени опять оживала и пускалась возобновлять свой концерт. Безладная, зато ласковая ее песнь есть не просила, а доилась пивом не хуже, чем добрая буренка молоком, и сносу ей, казалось, не будет.

Обозрев наземную окрестность, Плотников перешел к воздушной — и тут поневоле обомлел. «Вот те раз!» — подумал он чуть не вслух от удивления, однако далее развивать свое рассуждение словесно не стал, передоверив обретенное радостотворное ощущение целиком безмолвному переживанию.

И впрямь, ему было чему дивиться: в тот день само небо словно венчало Москву на царство своей сапфирной сияющей короной с роскошной белой опушкою облаков. В наших краях, где два времени года по обоим бокам лета небосвод сидит — коли продлить еще немного сравнение с головным убором — будто серая кепка-аэродром, нахлобученная по самые уши, так что козырек застит перед глазами взор и мыслям делается смертельно нудно в оставшемся закуте пространства; а зимою пустая стылая синь над головой смахивает скорее на бездонную бочку, нежели приводит на ум понятие о беспредельности бытия — только к августу, и то ненадолго, устанавливается подобное счастливое согласие между твердью внизу и твердью над нами. Но державное великолепие красоты небесной, оживляемое мерною поступью неспешно шествующих по своим незримым стезям облаков, не давит на душу и не делает ее крошечной в сравнении с бесчеловечным величием космоса: все, что оно ищет вызвать в сердце созерцающего его — это чувство укора; укора, однако, не лишенного надежды на спасение, а самим своим существованием безусловно свидетельствующего о нем.

К тому же верхняя половина мироздания отнюдь не пребывала ныне в безмятежном покое, но там было теперь куда занимательнее, чем здесь в ее подножии — настолько

потрясающе безмолвное, изумительное по вселенской трагичности сражение вели в вышине наступавшие с востока тучи со светлыми облаками севера.

Алексей Степанович не помнил сейчас, конечно, в доточной подробности главку из «Войны и мира», где речь идет о том, как павший при Аустерлице князь Андрей поневоле вперивает свой взор в поднебесье и ощущает вдруг всю ничтожность людских мятежей в сравнении с его исконной данностью; но как скоро желание и возможность облекать свои чувства во внятную членораздельную речь, хотя и произносимую про себя, вновь посетили его после краткого перерыва (о котором он, впрочем, нимало не сожалел), — именно ее главную мысль они привели за руку для сравнения к дверям его искушенного долголетним книжным пьянством рассудка. Однако в собственном сегодняшнем положении — в отличие от вымышленного героя — Плотников при сопоставлении сразу уловил значительную отмену: как ни странно, все эти пошлые обступившие его пивные виды и даже бедная старая женщина, потопившая в пене разум, оставив за собой лишь жалкую хитрецу, — вместо того чтобы усугублять и без того наглядную пропасть меж горним и дольним, они будто нарочно понадобились небу, чтобы доказательно представить: не все еще потеряно и тут; для того-то я и царю над вами, чтобы вы, обратив ввысь свое око, не пали духом, воскресли. Это всегда возможно!..

И тогда Алексей Степанович неожиданно осознал, что сам-то он вполне заслуженно может с чистою совестью числить себя правильным и довольным жизнью существом, в котором воистину сошлись и мирно сосуществуют «и царь, и раб, — и червь, и бог!»

Сначала вслед за первым сравнением ум его — опять-таки как человека глубоко книжного, пусть во многом и самоучки — навестило воспоминание о другом, уже современном романе. Его принес ему домой переплетать сам переводчик, переложивший огромнейший том с английского, и сперва эта фантастическая семейная хроника полуведомой планеты привлекла Плотникова замысловатым названием. «ADA OR ARDOUR», — прочел по складам кое-что кумекавший в великобританском наречии ученый переплетчик и, осведомившись у пришедшего о значении второго слова (это был, кажется, «жар») — первое он сам распознал за иноземное женское имя, — похвалил того с пристойной вежливостью за удачно найденную для соответствия лукавому

заглавию русскую игру слов: «АДИССЕЯ ИЛИ-АДА» — стояло на титульном листе рукописи.

Затем в ней следовала еще вклейка с разлапистым генеалогическим древом, а уж потом читалось то первое предначинательное предложение, которое собственно и легло сейчас в строку: переворачивая с головы на ноги — как казалось Алексею Степановичу, на вполне справедливом основании очевидной жизненной правды — зачало толстовской «Анны Карениной», роман открывался утверждением о том, что «все несчастливые семьи более или менее походят друг на друга, тогда как каждая истинно счастливая семья счастлива на свой особенный лад».

Именно в число последнего рода семейств Плотников считал естественным включить и его родное, а в данную минуту это давно обитавшее у него под сердцем, но не названное еще по имени вслух ощущение пробралось оттуда под язык и было им наконец явственно произнесено. Алексею Степановичу действительно удалось вполне сносно наладить три жизни — свою, женину и сыновью — во всех тех отношениях, что на самом деле необходимы на земле, и исполнить те желания всех троих, что доподлинно насущны, а не представляют собой игры преходящих прихотей. В этом ему, можно сказать, неизменно сопутствовала пусть скромная, но несомненная удача — если бы он не был обязан ей исключительно своему тщанию, спокойствию и прилежанию; поэтому слово «удача», подразумевающее все-таки подспудно незаслуженный дар, по его мнению, следовало заменить выражением «плоды заслуженного успеха».

А жизненный труд Плотникова на поверку и вправду был ясен и прост: отслужив положенный срок в армии, он вернулся в родное Замоскворечье и здесь сразу же поступил в пятьдесят девятом, как помнится, году учеником в переплетный цех картонажной фабрики рядом с домом, на Серпуховке. Освоив по очереди все нехитрые операции, он не удовлетворился легким рукомеслом нынешнего поточного производства, предпочитающего лепить все «на прокол» по семьдесят копеек за штуку — что изрядно-таки, по совести говоря, портит книгу. Ему даже было перед нею самой, поневоле безгласной, стыдно — ежели это, конечно, не оказывались связки журналов или прочая быстро становящаяся бесполезной повременная рухлядь, — и он отправился на поклон за наукой к «старикам», да к таким, какие и тогда уже пребывали на покое вдали от дел. С годами, трудясь усердно — то есть не руки только прикладывая, но и серд-

цем в работу входя, — он познал множество полузабытых тонкостей: как крышку сделать для томика такую, чтобы ее и через десять лет не «повело», не выгнуло дугой по краям; и как сшить тетради в блоке «бинтами», будто заправский староверский начетчик; и как форзацы с торцами замуаривать особо растворенною краской «под мрамор»; и как «сталкивать» да собирать совсем вроде безнадежно рассыпавшиеся издания, — и еще многое-многое иное. Оставив дешевые синтетические материалы, он обратился постепенно к единственному, проверенному веками — коже. За умением вслед явилось в свой час мастерство, а с ним и добрая слава в узком, но тесном сообществе собирателей и ценителей. Теперь, накануне вступления в пятидесятое лето своего бытия, Алексей Степанович мог законно хвалиться тем, что, разогнув нараспашку корешок готовой книги перед заказчиком, он смело оставлял его на весу: тот не тянул за собою ни одной страницы, хоть опусти его до полу — а это-то малоизвестное непосвященным испытание и свидетельствовало наглядно о первостатейном качестве, полной добротности работы.

Конечно, подобного рода заказы брались исключительно на дом и стоили они вовсе не дешево. «Книга — не водка», — любил повторять розановскую поговорку Плотников; но, несмотря на значительно возросшие в последние годы, когда подлинных умельцев и в столице можно было по пальцам счесть, расценки — до пятидесяти рублей, например, стоило такое коллекционерское удовольствие, как цельнокожаная обложка, — от предложений отбоя не было, и даже близким знакомым приходилось порою ждать очереди по полугоду.

Главной же гордостью Плотникова были тиснение и виньеты — хотя, по-настоящему, их-то уже в домашних условиях сделать толком весьма мудрено. Но когда он захотел из чистого любопытства освоить позолотное дело — а в цехе на нем всего-то по штату состояло двое рабочих с подмастерьем, — то смело бросил покойное насиженное место у обрезального станка и вновь поступил в ученики, смирясь до зела с потерями; зато вскоре всю их невеликую трехсильную команду неожиданно перевели к Москве-реке на Балчуг, в помещение бывшего ювелирного заведения, и тогда-то, при перевозке оборудования, он и получил заслуженную награду от судьбы — целый сундук давно заброшенных наборных касс старых шрифтов и заставок еще начала века. Он их отмочил в бензине, вычистил, привел

вновь в христианский вид и вот в свободное время, урываемое от обедов и простоев, принялся на диво украшать ими врученные его попечению волюмы. При этом он постарался не зарываться и усвоил тот древний навык «породистого» скромного тиснения, согласно которому всякая, самая тощая книжка непременно должна была быть поименована надписью на корешке только вопоперек — чтобы читатель не принужден был, как гусь, гнуть набок голову и выворачивать неестественным образом глаза; а вот на верхней крышке лучше было учредить уголки либо венчик с рамкою, но надписи тут повторять не стоило ни в коем случае: ежели книга будет стоять как положено на полке, то в том и нужды не будет никакой, а коли она предназначена для продажи и разукрасить ее надо так, чтобы вся самоварным золотом заблестела — то уж эдакое варварство было совсем не по его части.

Последней наукою он в первую голову обязан был своему пожилому наставнику, место которого и заступил потом в положенный срок: то был «матерущий», коренной московский мастеровой и даже тезка его, Алексей Степанович «старый» — именно он надоумил Плотникова оставить легкие и мелкодоходные сшиванье со склейкой ради как будто не столь прибыльного тиснения. «За это ремесло, — говорил ему учитель, — ты сперва сам себя уважать начнешь, да и в цеху станешь всему голова: на книге имя — как на иконе лик. А насчет прочего не беспокойся — остальное, как сказано, приложится вам, первым делом берегите присутствие духа».

Алексей Степанович, кстати сказать, по его же милости довольно сносно знал здешнюю местность — бывшие выселки или, по-старому, «бутырки» к северу от Белорусского вокзала, потому что тут неподалеку наставник его и проживал, на углу Бутырского вала с Новолесной. К нему домой он целый год почитай наведывался по вечерам осваивать последнюю знатоцкую премудрость, а лет семь назад сюда же его заслуженного учителя с почетом и наградой проводили на пенсию. Правда, потом, грех сказать — но из песни слова не выкинешь, — раз от разу все реже стал Плотников, обремененный семьей и заботами, навещать его, да так наконец забылся, что однажды, спохватившись как-то весною на праздник, позвонил по телефону поприветствовать и в ответ на поздравительную речь услыхал от жены старика: «Алеша, это ты?» Затем в трубку донесся плач, и сквозь него Алексея Степановича прямо-таки огрели словом, как

обухом: «Умер твой тезка-то, полгода, как схоронили...»

Плотников очутился в дурацком положении: соболезнование выражать, очевидно, поздно, оправдываться — глупо; но тогда что ж говорить-то? Он пробормотал совершенно уже неуместное «Извините» и с тяжко смущенной душою нажал на рычажок.

Но вот что еще весьма странно: первое воспоминание о покойном, заявившееся тотчас перед его внутренним оком, оказалось какого-то вовсе не подходящего к случаю свойства. Тот разом как будто вживе возник из небытия и повторил свой молодецкий рассказ, поведанный им как-то на прощальном застолье в мастерской. Все честное собрание к вечеру пребывало уже изрядно под мухою, и беседа принялась всполошенно скакать с пятого на десятое, будто опившийся валерьянки кот. И вот тогда-то Алексей Степанович «старший» изложил молодому тезке вполголоса, поглядывая искоса — как бы сие не коснулось слуха его благоверной,— про то, где застал его первый день войны.

...Он только что отбыл положенный мирный срок и дослужился до сержанта, в каковом высоком звании стоял со своей зенитной частью подле самой новой границы нашей в Литве. «Лежу это я, — хитрованно сощурясь, говорил он ученику, — в хате у одной такой хор-рошенькой литовки, увольнение сам себе продлил на двои сутки, потому как ночь с субботы на воскресенье, лучше всего для того дела удобная. И вот, веришь ты или нет, ранехонько утром как будто кто-то как гаркнет в ухо по-хохляцки «РЯТУЙТЕ!!!» Я продрал глаза, растер, вижу — тишина, Янка моя сопит под боком, и некому тут как будто народ полошить: хутор-то стоял от всех дорог чуть в сторонке. А потом случайно в окно посмотрел: матушки! Танки эти ихние с серыми солдатиками так из ближнего лесу тучей и ползут. Тут я рот себе зажал, чтобы невзначай «караула» еще не заорать, а сам кальсоны натянул до подмышек и гэть! — босиком сигать до своих через двор огородами. Так, доложу я тебе, хлопче, ста метров до немчуры не было, а коли жить захочется, куда как скоро бегёшь, особенно когда голый в одних подштанниках...»

Как именно он в конце концов упас себя, сейчас Алексей Степанович «малый» уже не помнил, но раз жив остался — значит, следовательно, не пропал. То есть, конечно, тогда еще был жив... И вообще, черт знает что творится в голове, когда воспоминания там между собой раскладываются впрок на просушку: никакого видимого порядка нет!

Закажешь скорбное — а вон оно на место него ползет скабрезное, и ничего-то тут не попишешь...

Здесь его грустные рацеи были прерваны необычной суетой среди мгновенно образовавшейся рядом кучки мужиков, издававших разгоряченные междометия. Плотников придвинулся поближе и некоторое время с крайним любопытством вникал в происходящее. Разобравшись наконец, что такое деется у него под боком, он удовлетворенно усмехнулся и не мог в душе не воздать должного чрезвычайной изобретательности простых досужих умельцев, которые буквально при полном отсутствии подсобного оборудования спроворились затеять под дубом-мучеником азартнейшее состязание, и притом «с интересом», не даровое.

Один охотник вынул из кармана червонец, кинул прямо на голый, покрытый каменной плиткою пол и придавил его сверху пустой пивной кружкой. Затем, отмеривши вполне дуэльное расстояние в дюжину шагов, начертил там подошвой мету, молча вернулся назад к положенной на кон ставке и замер позади нее, скрестив на груди руки. Окружающий же народ, очевидно уже хорошо знакомый с неведомой одному лишь Алексею Степановичу забавой, выстроился у черты с двугривенными в кулаках и принялся их с разной степенью неточности метать, норовя угодить внутрь кружки. Кто-то — по-видимому, безденежный болельщик-доброволец — пустился считать «РАЗ! ДВА! ТРИ!» звонко щелкавшие о камень монетки, которые хозяин «чирика» ловко подбирал с лету и складывал себе в кошелек.

«Ага, — допер своим умом про смысл этой бухгалтерии Алексей Степанович, — все честно: прибыль не должна превышать размеров банка — на десятку можно получить полста двугривенных, и точка. А потом уж, ежели публике и дальше неймется, своей красненькой будет рисковать кто-то другой...»

И тут на него нашел стих тоже — нет, не пытать недорогого счастья, но так подсоседиться к игрокам, чтобы провести втихомолку свою особенную партию, причем совершенно беспроигрышную. «А чем лукавый не шутит!» — недолго думав, решил он и мысленно прибавил к десятке еще нечто для себя вполне реальное, но незаметное для чужих. «Загадаю-ка я вот как, — положил в душе Плотников, не состоявший в числе поклонников женского равноправия, — попадет кто-нибудь — мальчик родится, а промажут все как один — девчонка».

Он устроился поближе вместе с оставшейся второй круж-

кой — но поскольку все выгодные тенистые точки были уже прежде заняты подоспевшими ранее зрителями, ему пришлось выдвинуться под самый горячий луч, — и стал пристально наблюдать за соревнованием вокруг своего обоюдовыигрышного заклада...

Покуда шли «надцатые», он действительно следил за ними довольно прилежно, но после «очка», то есть двадцать первого промаха, по извечному свойству человеческой души, неспособной сосредоточиваться долго на чем-то однообразном, он опять отвлекся мыслью к своей доле, которую только недавно бесшабашно смело наименовал счастливою, — причем, как это ни удивительно, навело на соображения о ней как раз воспоминание о его невидимо поставленной на кон, быть может, в этот самый миг производящей на свет их совместного отпрыска половине.

...Женился Плотников, лишь крепко утвердившись в жизни на обеих ногах и приобретя степенную основательность в нравах — вкупе с небольшой, но драгоценной домашней библиотекой из придирчиво отобранных, близких к идеальным экземпляров, — на молоденькой работнице из своего старого цеха, приехавшей в Москву по лимиту из Тулы. Нечего говорить, что, будучи старше жены полутора десятками лет, он сделался для нее не только хозяином и ответственным квартиросъемщиком, но и в некотором роде духовным отцом. По вечерам он мягко-настойчиво приохочивал супругу к медленному чтению и пониманию прочитанного, пробуждая уважение к дотоле почти что совершенно безразличному для нее «предмету производства».

В выбранное заранее и кропотливо расчисленное время, когда это позволили житейские обстоятельства и допустила смета расходов, она зачала и родила Васю — тщательно, но без тени баловства воспитывавшегося затем обоими и поступающего на будущий год в Институт культуры: туда парням ход без промаха; а покуда он потихоньку мужал, рос сознанием и его собственный отец, подтягивая за собою мать.

Профессия Алексея Степановича в сем последнем отношении постоянного внутреннего самоусовершенствования представляла еще то удобство, что ему ни в какие особые библиотеки не было никакой нужды обращаться: самые редчайшие книги добровольно плыли к нему в руки вместе с просьбами об исцелении. Еще в первые год-два он изучил в достаточной мере «поток»: всякие там приключения-детективы-фантастику, Дюма с Агатою Кристи. От них он

обратился уже повыше, к классике девятнадцатого века; затем последовало многолетнее увлечение античностью, сменившееся страстью к философии, а под конец Плотников рискнул даже окунуться — с чрезвычайною, впрочем, осторожностию: так сказать, до пояса, а не с головой — в вопросы глаголемого тайноведения, то есть науки или скорее художественного любомудрия, пытающегося проникать внутрь вещей, доселе пока недоведомых.

Каждую субботу он, кроме того, в поисках свежей духовной пищи совершал ритуальное шествие по семи главным букинистическим лавкам, для коего долговременный опыт постепенно выработал кратчайший удобный путь следования. И вновь в этом соседнем поле деятельности Алексей Степанович при помощи одних только собственных умелых рук имел возможность позволить себе куда более, нежели не в пример ему зажиточные профессора и писатели, с немалым числом которых он свел знакомство на своем почти полустолетнем веку: обладая постоянным «неразменным» капиталом рублей эдак под триста, Плотников мог не задумываясь приобрести любую привлекшую его внимание книгу, прочесть и снести обратно, сладив предварительно новый переплет — отчего ее стоимость увеличивалась ровно настолько, сколько он терял при сдаче назад в магазинную скупку, где удерживали двадцать процентов комиссионных, зато повышали цену за «состояние».

Намытое из этого старательски просеиваемого печатного потока оседало в нарядном поставце-секретере из карельской березы, купленном по случаю целиком на женино приданое — вот ведь сохранились еще и в нашу неромантическую пору запасливые тещи — у антикварного заведения в последнем по счету доме по Фрунзенской набережной. Путеводителями же по морю книжного рынка служили ему всего три подспорья: во-первых, собственная чрезвычайно цепкая на цифры и названия память, ну а затем еще добытый из-под полы внутренний трехтомный прейскурант для старых изданий да газета «Книжное обозрение» для новых.

Однажды, совершив в один день до полудюжины весьма удачных обменов, он на радостях хватил после работы в «стояке» на Пятницкой стакан коньяку и подумал, что небось под конец содержимое заветного шкафчика, непрестанно обновляемое и сокращаемое под влиянием все более строгого отбора, сведется к одной-единственной какой-нибудь самой главной книге, оставив в душе сознание истинного удовлетворения от того, что жизнь протекла не впу-

стую... На следующее утро, правда, эдакое чересчур как бы смелое рассуждение его чем-то расстроило столь же непонятно, сколь явственно, — будто осадок вроде похмелья в острастку и напоминание не заноситься выше положенного предела непременно должны оставаться не от одного лишь винного пития, но и после вдохновения или даже просто ощущения довольства собой.

Но тем не менее именно все это в совокупности и означало, что к сорока девяти годам существование на белом свете Алексея Степановича учредилось таким ловким образом, что он не только мог заслуженно рекомендовать себя счастливым мужем и отцом, но вот теперь даже отважился еще завести и второго ребенка.

Своего средовечного возраста он в данном предприятии нисколько не опасался, но скорее, напротив, возлагал на него немалые упования — всем ведь приходилось читать, и не раз, что чем старше родители, тем сообразительней и удачливее их плод. Помимо того, жене было всего тридцать пять или, как это образно именовалось в старославянском языке — который он самоучкой тоже походя усвоил, передвигаясь своим умом от буквы к букве без помощи каких бы то ни было скучных учебников — «полсорока» лет. А в том, что они вдвоем этой благословенной в первой главе книги Бытия способности вовсе еще не утратили — тоже неоднократно после Васи (трижды как будто) получались подтверждения, которые, правда, по рассмотрении обстоятельств и подбивке бюджетных итогов так и останавливались до поры при посредстве медицины на уровне несбывшейся возможности. В последнем случае, впрочем, все обошлось еще проще, поскольку непрошеный гость дал о себе знать в деревне, откуда быстро выехать было нельзя, а сроки как нарочно поджимали вплотную, и пришлось обратиться к посредству какой-то насквозь дремучей повитухи, что — вспомнить тошно — не обладала, кажется, никаким особым инструментарием опричь чего-то наподобие вышедшего в отставку прабабкина веретена. После такой экзекуции жена все боялась схватить заражение крови; но хоть до этого по счастию дело не докатилось, врачебного вмешательства оказалось не миновать, и в Москве его Даше все же велено было ложиться в больницу «чиститься».

...Теперь, однако, от тепла и подкатившего под самое горло блаженства Алексей Степанович даже отчасти сомлел: да и то, кому не приятно было б иметь к юбилею здоровую семью, любимую работу и душевное благополучие!..

По мере водворения внутри него возвышенного покоя напряжение кругом тем временем все возрастало и близилось к самой острой точке: непрестанно взвивавшиеся в воздух монетки, как автоматная очередь, ложились все ближе к мишени, окружая заветную лузу с червонцем в поддонье звонким серебристым кольцом; но неотвратимо близился и конец испытания — счет перевалил уже на пятый десяток.

«СОРОК ПЯТЬ! СОРОК ШЕСТЬ! СОРОК СЕМЬ!» — объявлял даровой выкликала, словно отсчитывая последние минуты приговоренного к казни, а Алексей Степанович все плотнее впивался взором в цель. «Эх, чорт меня побери со всеми потрохами, только бы вмазали в яблочко, шельмы!» — поклялся он про себя в сердцах, и тут, откуда ни возьмись, на счет «СОРОК ВОСЕМЬ!» (тоже мимо) из-за загородки вдруг раздался ответный окрик стоявшего там настороже разведчика:

— Стрёмно! Никшни!!

Во единое мгновение ока толпа игроков рассыпалась, превратившись в заурядных завсегдатаев пивнушки, миролюбиво чокающихся кружками и скромно гомонящих между собой про футбол; червонца же волшебного вместе с хозяином его будто и след простыл. А тем часом внутрь закутка увесистой законной ногою вступил дежурный постовой с рацией при бедре — которую, как говорят, изобрели еще в последнюю войну англичане на пагубу немцам, а заодно и собственным нарушителям порядка, и имя присвоили соответственное: веселый переводчик романа — «Адиссеи» переложил его весьма похоже по-нашенски «шагай-болтай». Неспешно двигаясь вразвалочку, сторож покоя принялся лениво прохаживаться по заведомо подозрительной с точки зрения возможных правонарушений местности — тоже своего рода источнику повышенной опасности наряду со скоростными видами транспорта, каковое свойство его, впрочем, не успело покуда найти отражения в кодексе.

Сразу вослед за ним втиснулись двое облеченных в безукоризненно белые летние тройки светловолосых парня образцовой славянской внешности — косая сажень в плечах, да к тому же и глаза иссиня-голубые — и прямиком проследовали к Плотникову.

— Алексей Степанович? — вежливо осведомился один из них столь уверенным голосом, что не оставлял и тени возможности увильнуть при помощи простого отрицания.

Плотников, однако, был человек все же чрезвычайно начитанный и довольно-таки неплохо знал про подобного рода

проделки; поэтому он предпочел спокойно, с достоинством промолчать для начала, надеясь, что тогда незнакомцам поневоле придется тоже представиться и таким образом открыть партию первыми.

— Ну, конечно же он! — радостно осклабился до странности схожий напарник, прехитро взяв на себя труд плотниковского утвердительного ответа.

— А коли вы сами знаете — кто, так прямо и переходите к тому, что вам от меня угодно, — сухо отозвался вопрошаемый, которого все-таки не мытьем, так катаньем объегорили, лишив к тому же даже права на возражение.

— Э, да не подумайте только чего худого! Что вы, право, окститесь! Видите ли, мы просто с утра уже побывали у вас в мастерской, откуда нас и направили сюда, сообщив, что вы обязательнейшим образом отпросились по весьма-весьма премногоуважительной и высокоторжественной причине, в связи с чем, кстати, позвольте вас заблаговременно поздравить со столь радостным грядущим семейным событием!..

«Все уже проведали, доки, — размыслил про себя Алексей Степанович, но тут же поправился так же молча, чтобы не придавать соперникам излишнего весу. — Впрочем, немудрено было и разузнать...»

— Видите ли, дорогой Алексей Степанович, — еще более миролюбиво, стремясь рассеять всякие опасения, затараторили наперебой перехватывавшие друг у друга слово пришельцы, — руководство главка выдвинуло вас на премию... почетную...

— Очень, до чрезвычайности...

— Такую, что прямо дух захватывает...

— Но по условиям конкурса последний тур испытаний необходимо пройти лично...

— И причем сегодня же, сию минуту, ибо время не ждет...

— Не терпит...

— Да тут и рядом совсем, всего в двадцати шагах!..

— Позвольте, зачем же это спешка такая? — прервал их наконец изрядно сбитый с панталыку Плотников. — Для нашего ответственного управления так даже как-то и... несолидно.

И, чтобы дать себе срок сообразить все новые обстоятельства и их возможные последствия, он строго вопросил:

— Вы бы хоть для начала представились как положено.

— И-и-и, милый вы наш Алексей свет Степанович! Мы

что, мы, так сказать, служебные духи: наше дело найти и доставить; но впрочем ежели сие вам настолько желательно, отчего же и не познакомиться поближе — здесь никакой тайны нет.

Они с легкостью предъявили ему на просмотр составленные и скрепленные строго по форме удостоверения на имена Гаврилы Серафимовича Крылова и Михаила Даниловича Архангельского с полным прописанием в шапке титула того весьма представительного учреждения, которому на самом деле подчинялась московская переплетно-картонажная фабрика вкупе со всеми прочими столичными учреждениями службы быта, неожиданно почтившими своего незаметного сотрудника выдвижением на получение неведомой высокой награды.

— Условия вовсе простые, мы их вам в два счета по дороге изложим, — пообещал Крылов и ласково эдак, но настойчиво взял Алексея Степановича под локоток.

— Это все вместе не более часа займет, — добавил его товарищ.

— Но я... знаете, как бы это половчее выразиться... игру тут одну хотел досмотреть... — попытался выдвинуть предпоследнее возражение переплетчик.

— Какую это одну? В червонец? — сразу догадался не в меру проницательный Архангельский и властно успокоил его: — Пустяки, не волнуйтесь: я вам честью клянусь — успеете... Она вас подождет.

Плотников еще раз пытливо взглянул на эти в общем-то очень добрые молодые русские лица, и ему вдруг безотчетно захотелось им окончательно довериться. Он уже и двинулся было на выход, но, не пройдя двух шагов, снова замер.

— Знаете что, а ведь совсем не к лицу так вот на прием идти в затрапезе, — доверительно сообщил он им свое единственное оставшееся сомнение. — Я вон как одет-то нескладно: в чем с утра собрался в цех, так и переменить ничего не успел, даже фартук нацепил засаленный-пересаленный: у меня ж работа через дорогу от дома, посуху в тапках можно дойти...

— Что-с? — не сразу проник Крылов в то, на что столь многословно обиняком пытался навести их Алексей Степанович, но коль скоро уловил содержание намека, то, быстро посерьезнев, строго отрезал:

— Ну, знаете что, дражайший, как говорится: в чем застану, в том и сужу...

Но потом, видимо спохватившись, дабы загладить допу-

щенную неловкость и скрасить не очень-то благоприятное впечатление, произведенное таким резким ответом, он, вежливо прикоснувшись к левому плечу собеседника, улыбнулся что было мочи и прибавил:

— Да вы посмотрите на себя со стороны, голубчик! У вас ведь как есть обличие совершенно заправского мастерового, им только гордиться впору, чего же тут стыдного-то? Напротив, вы у нас за сегодня — я это вам откровенно между нами скажу — наиболее почтенный, матерый на вид человечина!

Плотников, повинуясь его указанию, мысленно оглядел себя и с удовольствием согласился, что вся его приземистая, но плотная, как валун, фигура, облаченная во вздувшиеся шишками на коленках синие портки, мяконькую полосатую байковую рубаху навыпуск и крайне бывалый фартук и увенчанная залысым, круто надувшимся спереди черепом с седыми длинными пуклями, будто шапочка набекрень, сидевшими вниз от макушки к затылку и придерживаемыми дужками старых очков, — и на самом деле являла собою просто хрестоматийный образ опытного потомственного рабочего.

Предлогов коснить дальше более уже не находилось, и они тотчас тронулись в путь.

— Видите ли, — стрекотали ему на ходу ангельскими голосочками в оба уха нечаянные провожатые, — это такое соревнование, что ежели его выиграть... такой заслуженный успех... а почету и того больше...

— Да, но главное, что трудовые достижения и общественная работа уже заранее учтены по готовым делам и анкетам. Осталось лишь своеобразное собеседование по, так сказать, нравственным вопросам, взглядам на прошедшие годы... Причем можно отвечать, а можно и нет — как душа лежит. Про других людей тоже ни слова: все исключительно о себе, о прожитом, о накопленном опыте...

Дорога оказалась и впрямь короткой: не успели они миновать по Лесной улице с правой руки клуб имени Зуева, выстроенный в форме не то трактора, не то его мотора, а с левой филиала Музея революции с восстановленной вывеской «ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КАВКАЗСКИМИ ФРУКТАМИ КАЛАНДАДЗЕ», некогда прикрывавшей подпольную типографию, а теперь делавшей не весьма обыденное происшествие еще более фантастическим, — как сквозь арку последнего взяли дворами резко вбок и вскоре очутились у фасада обширной коробки современного административного

здания, аккуратно взмостившегося посреди видавших виды старых корпусов.

В проходной — «просьба предъявить пропуск в развернутом виде!» — спутников Алексея Степановича тем не менее узнали в лицо и пропустили вместе с вожатым одним кивком головы.

Они поднялись в лифте на седьмой этаж — бывший, судя по распределительному щитку, последним по счету — и вступили в просторнейший зал, весь наподобие лабиринта разгороженный на бесчисленные клетушки посредством перемычек из непрозрачного пластика, далеко не достигавших впрочем, высоченного потолка. На горизонте, у самого предела зрения, в тумане от подымавшегося над всем этим папиросного дыма, торчало возвышение вроде трибуны с окружавшими его полукольцом местами для почетного президиума, а уже позади него видны были приотворенные могучие двери цвета небесной лазури, сквозь которые матово блестело нечто огромное и будто бы сплошь золотое...

Но Плотникову не дали вдоволь наглядеться на географию незнакомого присутствия, а тотчас пригласили взойти с сопровождающими его лицами в первый из множества здешних сот. Там он предстал перед двумя сотрудниками уже не в легкомысленных летних одеждах нараспашку, а в форменных черных костюмах при узких в должную меру галстуках, помещавшимися об он пол квадратного стола, к которому попросили присесть и его самого. При этом Плотников краем глаза заметил, что приведшие его юноши остались стоять за плечами.

— Высокоуважаемый... Алексей Степанович! — сверившись с бумагами, обратился к нему внешне столь же вежливо, как они в свою пору, но по тону значительно суше занимавший напротив него срединное положение чин, глядя, однако, более в лежавшее перед ним дело, — и тут же запросто отнесся к своему ассистенту. — Впрочем, быть может, вернее было бы — глубоко?

— Что это «глубоко»? — удивился Плотников, и, хотя второй вопрос обращен был не к нему, старший испытатель с готовностью пояснил:

— Что глубоко? Ну — глубокоуважаемый...

— Зовите, как знаете, — откликнулся озадаченный такой административною тонкостью переплетчик, сообразив с неприязненным ощущением, что покуда он ведет свою простую по виду беседу с тем, кого принял за главного в комнате, второй чиновник, сидевший у совершенно голой, без

единого документа части столешницы, внимательно изучает сбоку выражение его лица во время обдумывания ответов. Впредь Алексею Степановичу предстояло еще убедиться, что именно такой способ собеседования ждал его в добрых двух десятках других приемных, почти что вплоть до самого конца.

Старший сотрудник вслед за разрешением заминки в титуле Плотникова счел нужным отрекомендоваться и сообщил, что тот предстал пред очи начальника отдела конкурсной комиссии профессора Князева — то есть себя — и его аспиранта с сибирской фамилией Воздушных; после чего они поторопились непосредственно приступить к опросу. Как выяснилось, их интересовала следующая основная статья: не клеветал ли Алексей Степанович когда-либо в жизни на ближних своих либо дальних?

— Н-н-нет как будто, — выдавил удивленный ответчик и затем, справившись поточнее с совестью, повторил уже более уверенно: — Да пожалуй что нет.

Профессор воздел на нос очки, подчеркнул что-то в бумагах, потом переглянулся с ассистентом, поставил свою подпись и, разведя руками в некотором, как показалось его мнительному подопечному, скрытом разочаровании, ляпнул пословицею:

— Ну, на нет, как говорится, и суда нет.

Помощник тоже расписался, сложил документы в папку и, не предъявив их к просмотру, сунул далее через стенное окошечко в следующую комнату. Туда же вдогонку за собственным бегунком двинулся и Плотников со своими ангелами-хранителями, но им для этого потребовалось подняться на высокую ступеньку и миновать пару туго подбитых коленкором, стеганным в звездочку, дверей.

Во второй приемной их ожидали также двое сосредоточенных до мрачности сотрудников, перед которыми только стояли уже таблички, гласившие, что продолжение беседы с вошедшим вести будут доцент с несколько зоологической фамилией Свиньин и практикант пятого курса с анатомическим фамильным прозвищем Ухов. Они попытались выяснить подобный прежнему и равно столько же необычный для официальных мест вопрос: занимался ли когда-нибудь их пациент «поруганием», что они истолковывали как намеренное тяжкое оскорбление человека, когда желание мстить ему пережило закат солнца и затем вылилось въяве в полноценное действие?

Плотников обдумал предмет непривычного пытанья

вполне чистосердечно — это ему представлялось пристойным и вместе необходимым, раз уж начальство всерьез требует ответа; хотя он и засомневался было сперва: откуда, скажем, им может стать известно, ежели он возьмет да прилгнет маленько или даже просто отговорится беспамятством и запрется? Но, бросив косой взгляд на свое пухлое дело, он невольно поежился от такого предположения, а оценив рабочее настроение вопрошавших, сказал сам себе: с этими лучше не шутить. По счастью, юлить ему пока и не требовалось — он за собою искомого тут греха не ведал, да и некому ему было мстить на свете; экзаменаторы убедились теперь в том воочию, хотя, по-видимому, уже заранее были знакомы с существом вопроса по бумагам, и отпустили его, проводив, впрочем, не весьма милостивым взором в спину, который он поспешил пресечь еще одной парою толстокожих дверей за следующей ступенью.

Далее фамилий он уже не запоминал, а речь заводилась последовательно про зависть, ложь, гнев, гордость, праздно- и сквернословие, «лихву» — то есть неправедную наживу вкупе с лестью, тщеславие и сребролюбие. Здесь в десятой приемной своеобразнейшего психологического теста, какому вдруг заблагорассудилось вышестоящим инстанциям подвергнуть не подготовленного к внезапному испытанию души Плотникова, он замялся и нашел уместным пристегнуть к куцему отрицанию пояснение, что-де все интересовавшее его собеседников, должно быть, по мелочи и могло иметь место в детстве и зеленой неспелой юности, особенно в армии, где человек себе не очень-то в общем хозяин; но чем далее, тем попадался он впросак на подобных проступках все реже, и хотя порою мысль или намерение отколоть что-либо в названных родах безобразий и посещали его, но он таковые приражения постепенно выучился отгонять прочь: ведь честно жить со спокойною совестью теперь ему было куда удобнее, нежели трястись постоянно из-за разных пустяков, выше которых не позволяли подняться в злодействе сами отпущенные ему судьбою ничтожные возможности.

Объяснения были как будто сочтены удовлетворительными, а причины достойными уважения, однако на этом его мытарства вовсе еще не окончились, едва лишь преполовинившись. Вновь последовали один за другим похожие кабинеты, где вплотную занимались его, Плотникова, отношением к пьянству (вот разве что кружавчик-другой... или стаканец по праздникам... а то — ни-ни), злопамятству (ну их, право, еще держать подолгу в голове всякую нечисть, кото-

рую вам любой поперечный-встречный горазд за шиворот лить) и не совсем ясным «обаянию» с «чародейством» («А что, равзе бывает эта невидаль нынче?» — «Ну, знаете ли, отчего же нет, случается: вот, скажем, размноженные царем Ксерксом сонники, крученье блюдца в гостях со скуки, гадания на компьютере о «биоритмах», ношение на груди японских обозначений годов по различным скотам — конечно, только если верить во все это с доподлинной страстностью; да к тому же Шамбала-камбала и мало еще чего «из восточного...» — «Ах, вон оно как. Тогда была действительно пора, когда и я пытался вникнуть в подобные суеверия поглубже, но потом бросил с концами, разобравшись, что — прошу простить за резкость — уж для нас-то по крайней мере сие пустяки»).

Следом явились объедение-чревоугодие (себе хуже, и дорого), служение рукотворным кумирам (да ну их к ляду... много чести...), а затем даже... нескромное влечение к лицам своего пола. С этим пунктом, ответом на коий послужило краткое «тьфуй!», началась область интимных тем, при затрагивании которых, впрочем, вполне профессионально выглядевшие специалисты в синих халатах и очках-биноклях, скрывавших где-то в бездонной глубине огненные зеницы, заранее приносили свои извинения в том, что коечто может показаться сверх меры грубоватым. А в посвященной, например, нарочно «любодеянию» приемной, увешанной строгими просветительными плакатами, ему разъяснили вдобавок, что тут дело пойдет исключительно о супружеской измене, наперев ударением на прилагательное (твердое «нет» их, как это ни странно, легко удовольствовало, хотя здешний профессор и обтер с досадой сырые пальцы о замасленные бока своего пятнистого, сильно траченного химией халата; Алексей Степанович успел еще гадливо отметить, что там и пахло как-то необычайно скаредно).

Между этим и предпоследним, двадцатым туром, вновь вернувшимся к сфере сокровенного, пролегли два промежуточных и не таких сложных — разбойничество и воровство («К чему? да и, главное, ежели бы впрямь захотелось, то кто сумеет в современных условиях отхватить действительно вволю?!» — Услыхавши это второе искреннее недоумение, спрашивавшие неожиданно оживились и стали было, как из волшебной сумы, вытряхивать чередою один за другим поразительнейшие примеры того, что сей род умельцев и по сегодняшний день не пресекся, как не утратил он и широчайшей нивы для рачительного приложения своих дарова-

ний, — но двое белых спутников Плотникова срезали здешних чинуш, указав им кратко на ограниченность времени и подчеркнув неуместность посторонних разглагольствований, после чего их всех с неохотцей препроводили далее).

В двадцатой же «блудной» комнате, уже в непосредственной близи от маячивших впереди под потолком червонно-голубых верей победных ворот, ученый юрист толково вперил ему понятие об отличиях уже пройденного искуса прелюбодеяния от подведомственного ему лично блуда, то есть нарушения целомудрия пребывающим до, после либо еще каким-нибудь иным образом вне брака субъектом. Алексей Степанович в эпоху своего бытия данного рода лицом был достаточно скромен и хотя из вполне извинительного естественного любопытства и подступал иногда к самой границе девственности, но однако так и не отважился пересечь ее помимо установленного в законном порядке пропускного пункта.

— Ну и отлично, батенька! — с непонятным веселым злорадством воскликнул честной правовед и пожал ему на прощание руку; а сопровождающие, улучив миг уединения между дверьми за следующей ступенью, сообщили по секрету на ухо, что она наконец уже и последняя: стоит лишь только здесь еще продержаться — и выигрыш обеспечен. «А что тут такое именно?» — рискнул исподтишка осведомиться в свою очередь Плотников, дабы загодя приготовить почетче ответ, на что правый спутник Архангельский, преступив субординацию, одними кончиками губ беззвучно сложил слово «Убийство».

— Ну уж, чего-чего... а сие запросто мимо, — облегченно вздохнул столь же незаметно, почти про себя испытуемый, недоумевая однако — зачем в явное нарушение вперед очерченных рамок конкурса вопрос из нравственного поля откровенно пересекал межу и залезал прямиком в уголовное.

В последней приемной он привстал на цыпочки и зыркнул бегло назад на пройденный путь, в котором насчитал ровно двадцать одну ступень: на первых из них мельтешили макушки еще немалого числа горемык, только вступавших еще в состязание; но с повышением уровня количество сумевших протиснуться сквозь многостепенные препоны заметно убывало. Тогда он, потянувшись чуть-чуть, бросил взгляд вперед и вверх: места́ в том сооружении, что он назвал по ближайшему сходству президиумом, постепенно наполнялись народом и лица там даже издали казались бли-

зоркому Плотникову необыкновенно приветливыми; кто-то прямо махал ему дружелюбно по-приятельски рукой... Алексей Степанович вздрогнул, испугавшись неверного опознания: ошибкою представилось ему, будто это никто иной, как его тезка — старый учитель.

— Ну-с? — наскучив наблюдать все эти неловкие верчения экзаменуемого, несколько развязно обратился к нему единовластно царивший за столом мужчина крайне вальяжного, чтобы не сказать жовиального вида в красном кожаном пиджаке, играя ладонями увесистой медной табличкой с глубоко врезанной надписью: «ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ С. С. ДИБАБЕС».

— Вам уже, как я вижу, проболтались, о чем нам предстоит слегка потолковать, — укоризненно покачал он большой ушастой головой, — и притом это сделали те самые... которые двумя кабинетами ниже позволили себе упрекать наших коллег в какой-то излишней разговорчивости. Так вот, за раскрытие служебной тайны на основании пятого пункта «Положения о соревновании» мне придется попросить теперь ваших доброхотов потрудиться немедленно покинуть помещение!

Крылов и его товарищ, порумянев до самых бровей, повернулись и, разведя в бессилии руками, вышли через боковую дверь, а суровый начальник, решив, по-видимому, сбить с толку оставшегося с ним глаз на глаз испытуемого, круто переменил тему и задал совсем не идущий как будто к делу вопрос по семейной части:

— А как обстоит, Алексей Степанович, со здоровьем ваших деточек?

— Благодарю покорно, ничего, — отозвался польщенный высоким вниманием к его скромному домашнему очагу Плотников, но счел все же уместным внести маленькую поправку: — Только детишек-то у меня раз — и обчелся: покуда всего-навсего один.

Тут ни с того ни с сего член-корреспондент сорвал прочь с носа роговые очки, выпучил громадные глазища и, не скрывая чрезвычайного своего возмущения, прямо-таки генеральским распекательным басом гаркнул что было мочи:

— Чтоооооо?!

Алексей Степанович сжался, струхнув немного, но полностью, однако, самообладания не утратил и, почтительно улыбнувшись краешками губ, решил чуть подмазать задиристого заведующего лестью:

— Ну уж, ежели говорить начистоту, прямо как на ду-

ху — вас, как я вижу, нипочем не проведешь и на козе, простите, не объедешь, — то приходится сознаться в небольшом грешке. Да, я здесь слегка допустил неточность, ибо вот в сей самый, быть может, миг на свет объявляется и второе мое законное детище. А раз так, то не отгадаете ли ненароком: мальчик или девочка? Если накличете на счастье мальчишку — то провалиться мне на этом самом месте, коли я его вашим драгоценным имечком не назову; кстати, как вас, позвольте узнать, по имени-отчеству?..

Но собеседник на шутливо-почтительный пошиб не поддался и, буркнув: «Всему свой час», резко возразил:

— А ведь вы мне нагло лжете, почтеннейший! Отпрысков у вас ровно как перстов на руке — пять!

И он сунул Алексею Степановичу почти что под нос свою ухватистую ростопыренную пятерню.

Тут наступила уже очередь Плотникова вылуплять глаза: он никак не ожидал такого поворота, что его ни за что ни про что будут обижать, даже оскорблять вовсе без всякого на то основания.

— Он не верит, — заметил, как в старинных пьесах, «в сторону» Дибабес, и тотчас из той стороны возник — словно из воздуха свился — тощий как ость референт.

— Ну что ж, подойдите-ка сюда поближе, — сделал он писклявым дишкантом непрошеное приглашение Алексею Степановичу и, поместив того стоя рядом с собою, закрыл ладонями верх и низ одного из листов его личного дела, оставив доступными обозрению лишь пять строчек выписей с датами. В первой из них Плотников без труда опознал день рождения сына, в последней — сегодняшнее число; а посередке встряли три совершенно неизвестных... или почти... Они как будто все же что-то такое напоминали, но из несколько иного круга событий.

Алексей Степанович торчком застыл в нерешительности, добосовестно размышляя, к чему те могли-таки иметь касательство, но раздраженный донельзя член-корреспондент «С. С.» притомился наконец ожидать его вразумления и кивком приказал помощнику развернуть на стене экран.

— Это который? — тыкнул он, будто указкой, протягновенным волосатым перстом, тенью своей упершимся в голову цветного объемного изображения Васи, словно по мановению волшебной палочки возникшего там среди мгновенно опустившейся кругом темноты.

— Это Вася, — прошептал перепуганный Плотников,

изумившийся тому, откуда они раздобыли такую отличную «фотку».

— Ага. А вот эти?!

Слайд сменился монтажом из трех других, еще более разительных по ужасной явственности портретов, узнав в которых посредством некоего подспудного чутья всех своей собственной волей загубленных нерожденных младенцев, Алексей Степанович коротко-страшно вскрикнул: «РЯТУЙТЕ!..» — и тяжело рухнул на колени, пребольно стукнувшись перемычкою носа о край пивной кружки.

— СОРОК ДЕВЯТЬ! — каркнул у него тотчас над ухом голос выкликалы из толпы, куда вырвавшие его нечаянно силы, сдержав-таки слово, в один мах вернули обратно прямо из залы состязания, обернувшегося истинным истязанием.

Он вяло привстал, глядя вовсе не в сторону вновь подкованной червонцем пустой, а в свою последнюю полную кружку, в которой давно уже успела раствориться худосочная пена: туда из рассаженной переносицы одна за другою сцедились две густые кровяные капли. Шлепнувшись на поверхность с разлету, они сперва собрались в круглые плотные комочки, пустив вокруг мелкие волны, а потом под их же легким накатом принялись растворяться по краям, превращаясь в окрашенную розовым взвесь. Но естественнонаучные наблюдения Алексея Степановича неожиданно были прерваны общим воплем «Ур-раааа!!!», тотчас перешедшим в «Оооxxxxxx...», которое в свой черед рассыпалось дробью из коротких односложных непристойностей: залетев прямиком в кружку, сорок девятая монета цокнула по дну и скользким ужом вышмыгнула снова вон.

В народе развернулась было битва мнений: стоит ли счесть это полноценным для выигрыша попаданием либо нет, — однако ее решительно пресек червонцевладелец, молча выразительно подобравший с мокрого пола злосчастный двугривенный и запросто присовокупивший его к сообществу сорока восьми предыдущих зауряд-несчастливцев.

Но Плотникова вся эта суетня в поднебесной занимала уже весьма мало: он едва держался на сотрясаемых подлой дрожью в поджилках ногах, чтобы не грянуться вновь на карачки, одною рукою оглаживая раскаленную добела пустую макушку, а другою растирая грудь насупротив сердечного клапана.

Он, конечно, успел сообразить очухавшимся от голой боли, хотя и изрядно поколебленным в своих устоях рассуд-

ком, что все произошедшее с ним между сорок восьмым и сорок девятым бросками было мороком, наваждением, вызванным солнечным перепеком; а миражную плоть для бреда подсунула его собственная память, поделившаяся впечатлениями от прочитанного вчера взахлеб на ночь глядя жизнеописания Василия Нового, напечатанного еще строгим кирилловским шрифтом и принесенного ему для починки кожаного корешка: там как раз была мерным славянским слогом переведена византийная повесть о весьма сходных воздушных приключениях.

Бог с нею, впрочем, с воплотившейся невзначай вновь древней легендой — лишь бы только не вспоминать никогда последнее жуткое ее видение; но Алексея Степановича более всего теперь пугала цифра, оборвавшая легкомысленно загаданное испытание: ведь еще неделя с небольшим, как и его подлинный сорокадевятилетний возраст должен будет истечь, превратившись в круглый полувековой — либо застыв навечно у завершающей черты.

— А говорят, будто брешут бабки, что в високосный год коса всех зажившихся грешников прибирает, как сорняки, — суеверно следя за беспорядочным колочением крови в висках, с замиранием подумал Плотников, и ему как нарочно стали являться пред мысленные очи лица померших недавно близких и дальних, начиная от тороватой тещи и вплоть до иностранного президента из журнала...

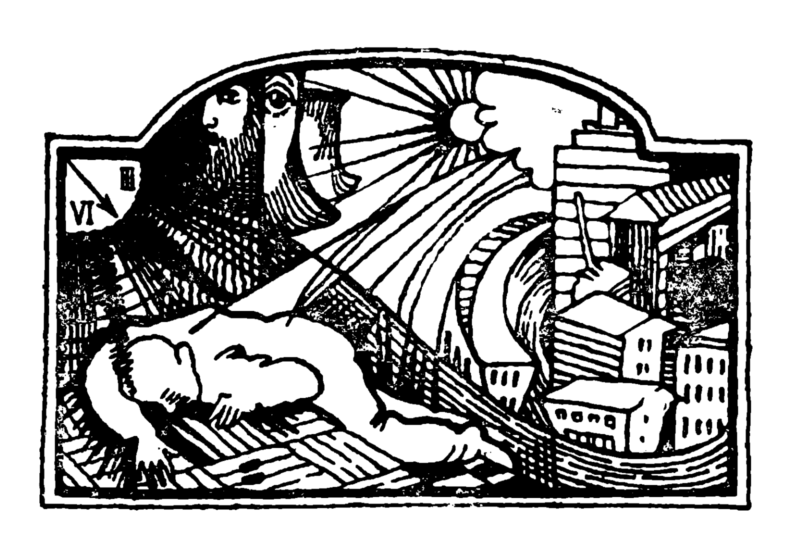
Кругом все беспорядочно гомонили попусту о том, что хотя игру нужно хочешь не хочешь как-то завязывать, но, с одной стороны, следующему кидать просто без толку, ибо вероятность попадания два раза сряду по теории вовсе ничтожная, да еще ведь учитывая опыт целиться следует мозговито, закручивая монетку и пуская ее выше «навесом», чтобы уже обратно не выкатилась; но другие, наоборот, подзадоривали попытать редкого счастья, приводя зачем-то для примера сравнение с авиакатастрофой — когда, по их словам, следующий после крушения рейс небесные путешественники прямо приступом берут, истово веруя, что из всех самых надежных он наинадежнейший.

А Алексей Степанович тем часом растормошил внутри себя уже доподлинный бездонный и необъятный страх своего немедленного полного исчезновения из мира, усугубляемый отчаянным предвидением того, что каюк застанет его в недостойном пасквильном положении посреди пакостной пивной лужи, куда он и полетит тотчас лицом вниз. «Загадал на других, а получил по морде!» — клял он

в сердцах собственную гордую неосмотрительность; и тут как за соломинку схватился за вернувшееся вдруг воспоминание о позабытой за всем этим коловращением жене.

— И не срамно тебе, башка садовая, — обратился он к родной перегревшейся голове, наградив ее еще вдогонку крепкою «дурой», — хотя в мыслях ставить на кон души тех двух, что под самым боком, полуверсты нет, и впрямь минуют сейчас смертный рубеж: одна проходит босиком по его острой кромке, протягивая за нее руку и извлекая на белый свет за собою другую...

— ПЯТЬДЕСЯТ! — безжалостно прогремело у него за спиной, как приговор неумытного судии, и невидимая длань швырнула наконец заколдованную монету. Алексей Степанович всеми силами, как Брут на Вия, старался не глядеть на нее, но не смог удержать глаз и затравленно обернулся: брошенный высоко двугривенный, зазвенев, полетел в поднебесье, сверкая перемежающимися орлом и решкой, будто играющая в волне под солнцем плотвица чешуей, и замер в зените —



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Случившаяся со мною чудесная история имеет своим источником, как ни странно, совершеннейшее безобразие, чтобы не сказать срам или даже чего-либо похлеще.

Работал я в то беспощадно-роскошное лето фотографом в Музее Востока, когда он еще не успел перебраться из своего старого здания — бывшей церкви Ильи-пророка на Воронцовом поле — в знаменитый лунинский особняк посередине Никитского бульвара. И вот однажды во второй половине дня в пятницу внутрь кромешного мрака лаборатории, занимавшей укромный закуток за стальными дверьми под лестницей, пробралась, будто райский ангел-мститель в преисподнюю тьму, секретарша директора, изловчилась сыскать там наощупь среди кровавых отблесков красной подсветки вашего покорного слугу и, задрав как можно выше голову, чтобы не нюхать мерзивших ее тонкому обонянию своим прелым смрадом химических зелий (но одновременно для верности придерживая меня за рукав халата, дабы не юркнул, как скользкий черт в пекле, наутек под какой-нибудь дальний котел с закрепителем), повелительно прорекла, что назавтра, в субботу, вместо выходного всевышнею волей начальства назначено мне отбывать ночную сторожевую повинность пополам с дряхлым штатным привратником Лукичом, да так строго назначено, что никакие отговорки и на дух не приемлются...

Единственное, что я успел сделать до начала нечаянно нагрянувшего урока — это сообщить ближайшим дружкам: намечавшаяся на завтра дружеская пирушка в моем холостяцком жилище либо отменяется напрочь, либо переносится с понятными предосторожностями под музейно-храмовую сень. Нечего, наверное, объяснять, которою из дорог двинулось общее рассуждение — ибо летнее молодецкое настроение, празднуемое самим естеством человека в любовном единении с безудержным буйством природы, есть предмет чересчур уже знакомый, чтобы про то много распространяться; тем паче, что все равно он до конца в рамки языка не втискивается, выпирая наружу в бессловесные просторы неупорядоченных восклицаний.

Впрочем, тут стоит все же обратить внимание на то высоко творческое противоречие, что июньской порою радостный дух повсеместно разлит в воздухе, и этим подымающимся от земли к облакам весельем пьян в юности почти что каждый; но в то же время, коли не удержаться и начать усугублять отпущенную судьбой меру невидимо бередящего душу небесного хмеля еще и доподлинным пенным напитком, то тут уж ни за что не добыть такого его количества, которое сумело бы удовлетворить вдруг разворачивающиеся внутри самородные разгульные силы.

Последнее как раз и произошло у нас где-то около полуночи, но поскольку нехватка вина есть вещь, заурядней которой вряд ли что сыщется на всем белом свете, то приходится сделать здесь еще оговорку и признать откровенно: приключения в собственном смысле слова — то есть происшествия необычайные и далеко не всем ведомые по личному опыту или же пересказам других очевидцев — начались именно с той злосчастной минуты, когда ровно в двенадцать часов единогласно без воздержавшихся решено было каким угодно способом, хоть душу заложа, но покрыть досадительную недостачу. Тут-то меня кстати или некстати — это уж с которой стороны рассматривать дело: от начала либо с конца, — посетила лихая мысль поделиться сокровенным знанием об одном чрезвычайно примечательном московском уголке, немалое число лет славившемся в кругу любителей ночных тризн не только у нас на Хорошевке, а чуть ли не по всей западной части многошумящей столицы: с Масловки к Тушину и от Пресни до Лихобор.

Это была вовсе неприметная снаружи забегаловка из стекла и бетона, какие во множестве, наподобие надолбов, повырастали в шестидесятые годы в каждом почти окраин-

ном скверике, и имя она носила вполне в духе тех мысливших звездными категориями даже о выпивке времен не по чести громкое: «Комета»; спустилось же сие инопланетное светило на землю среди Песчаных улиц, проложенных по когда-то бывшему здесь Братскому кладбищу офицеров и сестер милосердия, погибших в первую мировую войну. При блеске солнца ее действительно ничто как будто не отличало, и одинокий мечтатель, забредя ненароком в самый кратер драгоценного метеора, влетевшего в бурно раздавшиеся кругом кино «Ленинград» бесхозные кущи, навряд ли счел бы себя счастливым добытчиком: среди бела дня кафе было по большей части или совсем закрыто, или, в лучшем случае, торговало пожилыми морщинистыми сосисками и неведомой рыжей бурдой под псевдонимом какао, неизменно имея вид совершенно затрапезный.

Зато стоило только сгуститься сумеркам и наступить заповедному десятому часу, как... Нет, я лучше расскажу, как сам туда впервые попал по милости какого-то мимолетного приятеля.

На все его цветистые байки, что-де с ночи да утра где-то неподалеку, в заповедном источнике благ, можно с некоторою наценкой — причем благодаря широкому размаху предприятия вполне сносной — запросто приобрести все, в чем вруг невзначай обнаружится недостаток поздним вечером в доме, где отнюдь еще не собираются спать: от папирос и дамской шоколадки до различных сортов крепленого и коньяка, и притом все подобного щекотливого рода любительские услуги неопустительно оказываются уже не год и не три, — я, конечно, ехидно заметил, что отливать пули нужно тоже умеючи. Мой краснобай неожиданно вспылил, мы ударили по рукам и в кредит за счет проигравшего отправились туда на такси.

Вскоре мы уже стояли подле самой составлявшей предмет спора стекляшки-замухрышки, внутри которой, как и следовало ожидать, было пусто и темным-темнёхонько; один лишь унылый дворник вяло шевелил рядом метлою в беспросветной мгле.

Я уже приготовился отпраздновать победу, кабы только присутствие этого полуночного ревнителя чистоты не обескураживало слегка со второго взгляда: действительно, даже самый завалящий разгильдяй, кому не жаль жизнь променять за понюх табаку, не говоря уже о трудолюбивом безумце, подрабатывающем аспиранте, поэте-лунатике и прочих разновидностях нынешних уличных чистильщиков — ни

единый из них все равно ни за что бы не выбрел в жуткий предрассветный час, когда вокруг не видать ни зги, махать почем зря веником посреди угрюмого пустого парка. Но еще большее удивление ожидало меня, когда мы на всякий случай приблизились к запертой на ржавый замок низенькой железной калитке перед кафе: деревья кругом принялись тогда, прямо как в сказке, шелестеть все громче разными голосами зверей и птиц, покуда из всего этого животного гомона не раздался наконец совершенно явственно громкий человеческий клич:

— Эй ты, куда пилишь???

Из ближайшей купы сирени на дорожку, отряхивая с плеч мелкий опавший цвет, выдвинулись двое ражих парней и... И потребовали от нас ни много ни мало, как встать по порядку в очередь!

— В какую такую очередь? — спросил я изумленно, в то время как мой спутник, лукаво ухмыляясь, спокойно помалкивал.

— А вон в живую! — указали они в четыре руки вдоль аллейки, наполненной, как разглядели теперь мои обвыкшиеся очи, скрытыми в каждом кусту алчущими людьми, — на дальнее порожнее деревце подле самого ее края...

Вот так я и стал обладателем одной из подспудных московских тайн — тайны оборотня-дворника, носившего по ночам запретные плоды, которые растила в тиши кладовой его товарка-волшебница, дневною порой легко, безо всякого кувырканья вниз головой через воткнутый в лысый пень нож, скидывавшаяся наглой крикливой буфетчицей тетей Соней.

Не подумайте только, неровён час, будто я такой уж непутевый разиня, чтобы за здорово живешь продавать чужие секреты: я прекрасно знаю, что за это бьют, бьют крепко и поделом. Недаром же наш с «Кометою» земляк, певец Песчаной слободы писатель Трифонов в одной из своих повестей, вышедшей тиражом в сотни тысяч копий, всенародно ославил полузабытого сочинителя прошлого века Ивана Прыжова, долгие годы положившего на составление «Истории кабаков в России», а потом, издав первую, общую ее часть, собственноручно спалившего рукопись второй — так сказать, особенной, — дабы по его чересчур красочной указке не погубили под корень сии заведения, коим сам их исследователь был человек отнюдь не чужой. Да! к худу или к добру, это уж не мне судить, но на второй год XXII Олимпиады новой эры — выражаясь высоким слогом древнегре-

ческого летосчисления — чуть ли не дюжину лет бодро прозябавшую контору наконец наглухо прикрыли, возвратив нашу беззаконную «Комету» обратно в расчисленный круг прочих остывших светил.

Соучастников моих по дружескому симпосиону романтически плутовская повесть (изложенная здесь вкратце и без того вдохновения, какое, в силу понятных причин, помогло тогда разукрасить ее наподобие новогодней елки) взбодрила и возбудила настолько, что тут же была произведена добросовестная выемка и очищенье до последней соринки всех поголовно карманов, а набранная таким макаром горка наличности — именуемая в современном молодежном наречии «вторая скотина» — была выдана мне, как опытнейшему бойцу, под честное слово с наказом сколь возможно скоро добыть и доставить сладостного для нас «языка»; при том они шутливо пригрозили, что в случае неоправданного закоснения или, тем паче, полного невозвращения до рассвета, возмездие придет неотвратимо и кара будет поистине страшной.

...По великолепной торжественно-пустой ночной Москве, только что орошенной теплым крупным дождиком, шальная «тачка» донесла меня до цели в каких-то два десятка минут. Тут я ее с легким сердцем и отпустил, чтобы не привлекать излишнего внимания — благо стоянка как раз напротив на другой стороне площади светилась во тьме кучкой голодных зеленых глаз, жаждавших поглотить подгулявшего пассажира, неизменно тороватого на чаевые, — и двинулся привычной тропою прямо к заветной калитке.

Но день этот — вернее, конечно, ночь — вышли, по-видимому, не урожайными для прелестной беззаконницы по части выручки: жаждущих-страждущих подле ее магических врат сошлось всего двое — я да залетная беленькая девица-толстушка в юбке бананом и кожаных полсапожках. Корчемник с шинкаркою все никак не отзывались из таинственного нутра внеземного тела на наш вполне посюсторонний двухголосый зов, и в ожидании их пробужденья нам поневоле пришлось разговориться.

Сначала, естественно, это был поток негодованья и сетований на плохое качество обслуживания даже из-под полы; потом я прицепился к пустячному присловию, каким юное существо обильно приправляло свою незамысловатую речь, обзывая меня якобы ласково «маленьким». «Да большой, большой! — втолковывал я ей что было мочи. — И кабы ты только знала, голуба, насколько!» Но нет — она

вцепилась мертвою хваткой в своего «маленького» как в последнюю надежду не познакомиться ближе; да не тут-то ведь было. Слово за слово мы выяснили, что состоим почти что в соседях: только я гнездился чуть подалее вглубь Хорошевки, где что ни улица, то комиссар или генерал, а коли уж проспект, то подымай выше прямо до маршала, и все они потому, вероятно, ужасно прямые, строгие и длинные, без единого поворота или извилины, да и корпуса-то там у нас — и те невольно приводят на память единственную вынесенную мной из солдатской среды на гражданку заповедь о том, что в строю выше всех отдельных добродетелей чтится до святости вещь по имени «единообразие». Собеседница же моя жила в одном из тех милых двухэтажных домиков между «Беговой» и «Полежаевской», что были россыпью поставлены вскоре после войны пленными и так и звались в народе «немецким городком»: жаль, их как раз тогда уже довольно широко принялись выселять и сносить, а нынче почитай что почти уже половину украшенных трогательно-неуклюжими балкончиками и наличниками зданьиц смахнули как есть подчистую.

При упоминании «Полежаевской» мне невольно взошла еще на ум прибаутка из военной поры, что ежели суметь скрестить ужа с ежихой, то выйдет из того добротный погонный метр колючей проволоки — и, размяв под чересчур свободно разболтавшимся языком ни в чем не повинное наименование, я спросил с подковыркою: верно ли, что с одного краю вход у них надписан «Пол-ежаевская», а с другого «Пол-ужаевская»? Она, понятно, полюбопытствовала, с какой же бы это стати; я рассказал тогда тот анекдот, на который сам ловко напросился, но девица в ответ неожиданно пригорюнилась и уже совершенно нешуточно заметила в сердцах, что все это ложь и гиль, а «Полежаевская» есть то место, где все полегли.

Чорт его знает почему, но именно это-то ее первое живое выражение, сказанное с подлинным чувством каменной грусти, сразу решило дело: правда, я уж давно мучился предательским помыслом — взять да, вместо того чтобы тащиться обратно к изрядно-таки опостылевшим корешкам, мотануть — вывози, кривая! — с нею вдвоем к себе; но смущало даже не то, что на работе за прогул дежурства прищучат или там дружки нахохлятся — ладно, как говорится, перетопчутся, — но, главное, сама-то девчонка была что-то слишком уж, так сказать, одинаковая. И тут откуда ни возьмись выскочило это единственное настоящее слово, при-

давшее наконец ей хоть чуточку особенности — чтобы потом, конечно, почти что сразу сгинуть без следа и более не возвращаться; но дорогá ложка к обеду — тогда-то оно прозвучало как нельзя вовремя и кстати. Или точней — как можно некстати и не ко времени? Да куда бы ни шло, вопрос был решен однозначно, и я решительно махнул на все сомнения рукою...

Но соблазн тоже ведь не дурак — он ставит на кон и легко сдает поначалу права на молочные реки с кисельными берегами, покуда ты не примешься поддаваться и мечтать о них с ревнивою страстью, и лишь потом исподволь потихоньку станет отыгрываться, да так ловко, что в итоге остается при тысячных барышах, а очертя голову доверившийся ему остолоп едва ли топиться не рад с неудачи; так он еще и подскажет местечко поудобнее, одежку подержит, под локоток подведет, толкнет и пожелает счастливого полета...

Вот так же сперва и ночная моя бабочка вполне охотно склонилась продлить немного свежее знакомство — а тут златой сок лозы долгожданный приспел, и я из кавалерственных побуждений познакомил свой херес с ее шампанским, — но только внесла небольшую по видимости поправку: отправляться «дружить» она соглашалась лишь к себе — там-де целый особняк о двух ярусах стоит чист за выездом соседей в полном ее личном распоряжении. Что ж, лиха беда начало — к ней так к ней; однако не сочтите ненароком, что сейчас последует слезливый рассказ про то, как очередного доверчивого лопоухого теленка обобрали до нитки в заброшенном доме ловкие московские воры — ради эдакого пустяка не стоило б и огород городить.

...Там, куда мы с нею невдолге прибыли, действительно все полегли — то есть те приятели молодой хозяйки, что сошлись к ней кутить, погуляли на славу, а потом ее же отправили за подкреплением да и уснули; но не успели мы войти на цыпочках в незатворенные беспечно двери парадного и попытаться юркнуть без шуму в порожнюю квартиру напротив, как все эти шатуны, будто нечистою силою поднятые на ноги, сбежались со всех сторон и начали канючить. А потом так всю ночь до рассвета и продолжалось это пустое, бессмысленное и я бы даже сказал оскорбительное для самолюбия бдение, когда злая дюжина человек невесть ради чего праздно маялась и суесловила под заунывную гитарную музыку, вяло выдавливаемую допотопным катушечным магнитофоном, с которого при бесконечных чинках сня-

ли внешние крышки, выставив безжалостно наружу все его звукопереваривающие органы.

В довершение тоски глухая подслеповатая бабка, одна делившая с заманившей меня сюда Светой — которую я язвительно с досады перекрестил во Тьму — обреченные на скорый снос хоромы, то храпела за стеною во весь дух с могучим присосом, то, пробудившись, отправлялась по старческой слабости чуть ли не каждые полчаса в недалекий поход, а потом ошибкою стучала в наши двери в поисках своего угла, нашептывая при этом нечто невразумительное, но тем более жуткое: «Немцы! Латинцы! Весь стояк разбомбили! Что ни пролетит: раз бомбу — и в трубу! Ни одного кирпича целого не осталось!»

Словам ее никто не дивился, а позже и мне тоже заученно пояснили, что это даже не бабка, а пра —. Она пережила оккупацию у мужа-русина в Галиче Волынском, а потом вернулась по недоброй рифме судьбы на родину под самый Галич Костромской, где поселилась в деревне Фролово, покуда не осталась там одна-одинешенька, и тогда дальняя внука, Светина покойная мать, взяла ее к себе в столицу довековывать остаток лет. Да вот уже и дети, и дети детей перемерли, а старуха все бродит, причитая над своим «разбомбленным стояком» — это она, услыхав неожиданно годов двадцать назад, как над ее домом самолет преодолевает звуковой порог с громким хлопком, вдруг застыла и в душе у нее произошло некое запредельное соединение понятий, которого до конца и не разгадать — все вражьи силы на свете, от крылатых бесов с еретиками-латинцами и до германских «летаков», напрочь расколошмативших ее украинскую хату вместе с хозяином и невесткою, совокупившись разом, обратились в мрачный призрак летучих «немцев-латинцев», непрестанно трудящихся над разрушением теплого сердца ее избы — кирпичной печи. С горькими пенями на их постоянное вредительство она так и покинула последней ставшую с той поры мертвой деревню, но и в вавилонском столпотворении Москвы про то не сумела забыть.

...Сколь это ни покажется дико, но когда я шагал поутру пешком домой, вспоминая, как стыдно было при свете зачинающегося летнего дня глядеть друг другу в глаза всем, кого зряшная дурь свела в эту полувыморочную хибару коротать потемки, я вдруг подумал, что одна только она, эта замшелая кривая старуха, голосившая басом свою безумную чепуху, сможет дать без зазрения совести ответ хоть на самом Страшном суде, что провела свою ночь безгреш-

но — ибо добро бы пьянство или даже блуд, но вот эдакое голое распутство совместного ничегонеделанья — кормежки черной бездонной дыры «ничто» живыми кусками времени — не то что в райские или адские, а и вообще ни в какие ворота не лезет. Ежели существует на свете крайная степень безобразия — то это она собственнолично и есть.

Затем, как полагается, я уже совсем не с давешней легкостью отнесся к тому воспоминанию о будущем, которым пред мысленные очи явилось все, что предстоит завтра выслушать на работе от начальства и сотрудников; когда же почти добрел до своего жилища, пройдя сквозь строй высоченных коробок, целым полком вытянувшихся с палками антенн вдоль беспредельного проспекта, навстречу потекли сначала ручейки бессчастных грехомыг, кому и в воскресный день покоя нет от дел, а за ними наконец хлынул целый потоп намеревавшейся славно погулять в выходной прочей толпы.

«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой...» — каркнула в ушах луковым говорком всю дорогу ввинчивавшаяся на «Полежаевской» в голову блатная мелодия — и тогда я с отчаянием подумал: эх, чорт побери, видел бы только кто-нибудь всю эту милую картину разом — вот безликие сундуки, скверно изготовленные косорукими архитекторами, между ними — глядите — поневоле стадами снуют насельники сего бессердечно нагроможденного муравейника, спеша наполнить своими тельцами до предела эти ящички на колесах — наземный транспорт, — которые донесут их до той вон прорвы метро; а посреди, словно песчинка, жалкая фигурка горе-кутилы, забубенной головушки в столь же форменной, как солдатская гимнастерка с портками, джинсовой паре, неумытая, нечесаная, с нечистою совестью, трясущаяся и, однако, еще всем кругом недовольная, — ну чем не готовая иллюстрация к серии «Новых похождений повесы»!

И тут я, нечаянно очнувшись, с ужасом обнаружил, что на самом деле — не в уме, а как есть наяву, да еще с режущей глаз чрезмерною резкостью — гляжу извне, сверху и со стороны на все, что представил, казалось бы, одним воображением. Я не могу передать словами — они трещат и разлетаются на объятые немотою значки — какой безмерный страх испытывает тот, кто впервые выходит из себя вон и рассматривает собственное тело посреди мира как чужое! Но уж наверное я его тогда искреннейшим образом от всей души возненавидел...

Перепугавшись до смерти, я прянул назад в свои кожаные ризы — но только что испытанное потрясающее ощущение новой воли было настолько мощным и соблазнительным, что, чуток лишь очухавшись, крадучись, задом выполз снова на воздух из душной раковины и, покинув обрыдлую оболочку, сначала пятясь и потихоньку, а затем разлетаясь на ходу все шибче, пустился в самую высь поднебесья и — воспарил! Я действительно ушел — точнее, вышел, оставаясь на земле также живым, и летел теперь над всеми вами вместе с самим собою, видя широкую Москву-реку с золотым куполком далекого Троице-Лыкова, давным-подавно заставленным перед моим окном тринадцатого этажа соседним 21-этажным корпусом «Б» под тем же номером...

И я запел, заорал, кувыркаясь, заголосил благим матом:

— Ур-раааа! Так-распротак!! Гуляем!!!

Вот с этого мгновения и началась моя дьявольски прелестная двойная жизнь...

Изо всех ее многообразных преимуществ наиболее существенными оказались три. Во-первых, я довольно скоро приноровился покидать скучную поверхность, оставляя мыкать занудные обыденные обязанности один свой безответный телесный болван — начав упражняться в том прямо со следующего понедельника, когда он преспокойно сумел понурой своей покорностью утихомирить гнев директора и товарищей. Покуда длилась эта распекательная нудота, я носился на бреющем полете, чтобы сразу не зарываться, вокруг музея в окрестном саду, но все же незаметно увлекся воздушной стихией и несколько с непривычки переборщил, порядком-таки запоздав с возвращением. Пришед же назад, застал свой кроткий организм смирно сидящим на скамейке у входа в ожидании того, что я поведу его на обед, — и притом по дороге туда я с радостным удивлением узнал от него, что безмолвие и покаянный вид настолько умилостивили пребывавших в негодовании коллег, что они избавили меня — то есть, конечно, его, ибо я с той поры находился уже вне досягаемости подобного рода угроз — от намечавшихся выговора и тычков.

А потом, изладившись сожительствовать с телом так, чтобы не нарушать накатанный порядок обихода и четко нести взаимно-необходимые обязанности, мы установили с ним нечто вроде очереди на пользование услугами в нашей коммунальной квартире плоти и духа и достигли почти что идеальной гармонии в своем мирном сосуществовании. Конечно, чуть только появлялась угроза тоскливого время-

препровождения, неприятной отсидки в неизбежном присутствии или рутинного участия в субботнике на овощном складе — понимая пределы своих полномочий, оболочка безропотно отправлялась туда одна, а я махал ей сверху ручкой и отбывал в свои заоблачные горизонты; но за то иногда баловал ее совместным посещением новой оперы в Большом театре или обоюдным заходом в гости к привлекательным собеседницам.

Любопытно также, что возможности полета были далеко не беспредельны: очень скоро я заметил, что простор его ограничен, в первую голову воздушной средой — ибо при всем желании достигнуть звездных высот был просто не в состоянии; кроме того, хитрость небесной механики, о смысле и источнике которой остается только догадываться, не позволяла смотаться зимой в теплые края или даже в холодных пересечь установленный рубеж, проходивший там, где уже успела ступить по земле моя грешная нога — ибо в областях, которые не хранили еще ее следов, летать я тоже не имел способности, и тут уж нечего было спорить (хотя бы потому, что не с кем), оставалось лишь довольствоваться рамками действия своего частного чуда.

Зато количество нетворческих занятий даже для тела вскоре резко пошло на убыль — это и был второй даровой барыш для того, кто сумеет причаститься прелестям воздушных сфер; однако чтобы прояснить его суть перед теми, кто там еще не бывал без помощи самолета, придется немного зацепить мое собственное прошлое.

Сам я по происхождению малороссиянин, но родился даже не в великой России, а прямо в Казани, где успешно — и тем не менее зря — кончил в свое время химико-технологический институт. Впрочем, химик и технолог из меня получился весьма своеобразный — так сказать, кустарного свойства, потому что руки-то мои хотя сами к делу просятся и им попросту везет в обращении с любыми сортами механизмов, начиная от миноискателя и заканчивая телефоном, но вот работать с кем-нибудь «глухим» в паре я физически не могу. Тот, кто не инженерил в охотку по вольной воле и считает, что любая техника для успешного управления ею просит лишь некоторых начальных познаний, прилежания да коллективных усилий, пусть лучше или поверит мне на слово, или отойдет в сторонку и не мешает слушать остальным — но я положительно утверждаю, что непременно требуются также врожденный талант и счастье, а впридачу к ним еще особое чувство общения, взаимопонимания, об-

щий язык с вещью: иначе любая машина, будучи даже в отличнейшем состоянии, в полном соответствии с проектом и чертежом, все равно толком крутиться ни за что не станет. Дар подобного «механического» слуха сродни слуху музыкальному: он либо есть, либо отсутствует — и тут хоть убейся, никак дела не поправить. Но в современном многолюдном производстве неизбежно в длинной цепочке работников оказываются вкрапленными несколько таких «глухарей», с которыми ничего почти добиться нельзя; поэтому-то по рассуждении своих возможностей и способностей я с непосредственной будущей профессии переключился на институтский джаз — тот род сообщества, где каждый, худо-бедно дуя в меру собственной увлеченности, по определению обязан обладать толикой дара помимо сноровки. А когда он пришел к концу и захирел — как-никак это были уже семидесятые годы, — я преспокойно ушел из него ударником в молодежную рок-группу. С нею, сменившей не раз состав, название и место приписки, перекочевал в итоге в Москву, где, делая однажды репортаж о нашем выступлении на съезде в отдаленном домике культуры трех самых известных ансамблей, занялся невзначай заброшенным с пионерских лет фотоделом и так им незаметно увлекся, что потом, произведя собственноручно множество улучшений в самом дешевом аппарате «Зенит», наборе простых объективов и вспышке за двадцать рубликов, сделался вполне сносным полупрофессиональным фотографом — и не получил полного графства за одно только нежелание ходить на вечерние курсы для приобретения справочки о специальном дообразовании.

Работать в одиночку показалось еще сходнее с моими внутренними склонностями: да и то сказать, даже в детстве я легко побеждал в пинг-понг или шахматы, а в баскетболе, футболе и прочих «болах» все шло куда туже, и, кроме того, бесила зависимость от бестолковых товарищей по команде. Особый же азарт мне придавало еще желание доказать, что и в очках — ведь зрение у меня тогда уже было, как среднегодовая температура в Москве, плюс три, а потом докатилось и до пяти, — можно переплюнуть всех прочих чистюль и модников с японскою аппаратурой, неиспорченными девственными хрусталиками глаз и белоручкиными замашками...

Поскольку же дело следовало поставить так, чтобы можно было им кормиться, я занялся сперва портретированием безусых солдатиков по рублю за пяток отпечатков, по-

рою до тысячи штук выдавая за вечер, запершись наглухо в ванной. Потом, делая медленные успехи и заводя полезные знакомства, сумел освоиться и устроился надежнее и поудобней, нанявшись штатным фотографом в музей. Тут уж мне порядком-таки прискучило просиживать ночи напролет в багровой тьме, пропитанной миазмами — я-то знаю, до чего неполезны для здоровья все эти безобидные с виду растворы при долговременном с ними соприкосновении один на один, — а тем часом доходы подросли настолько, что появилась возможность оплачивать услуги особого печатника и самому целиком заняться художественною съемкой.

Теперь мне мог позавидовать даже сам старик Картье-Брессон, гений подлавливать неодетую жизнь врасплох и запечатлевать ее из-за угла в тот миг, когда у той и в мыслях нет, что кто-то может за нею подглядывать. Сварящиеся старухи, смачно плюющий оборванец, гордо выпучившие мясные глаза буржуйки в норках, поскользнувшийся недотепа, дюйма не долетевший беззащитною задницей до мостовой, распахнувшие настежь крылья голуби вокруг белокурой головки кормящей их пшеном полуторагодовалой очаровашки — все эти ломтики натуры в собственном соку, причем самого отменного качества, остались в тысячах и десятках тысяч отпечатков с негативами в моем архиве. Причем еще раз обращаю внимание, в особенности тех, кто горазд даром пенять на судьбу и пересчитывать огрехи отечественной промышленности, что все это снималось на самую что ни на есть обычную узкую пленку «Свема» совсем недорогой, почти детскою техникой — ибо не в том здесь собака зарыта, чтоб бесконечно улучшать чувствительные механизмы, но главное, что потребно — это чтобы сам хозяин их умел молниеносно ловить, хватать глазом и щелкать прямо в лоб захваченное врасплох мгновение...

Снимки эти я терпеливо рассылал либо сам разносил куда ни попадя — в редакции, общества охраны и защиты, на выставки и просто в дар издательским чинам. Но тут, после первого небольшого успеха, я неожиданно все сильнее стал ощущать неизменно сопутствовавший мне непонятный упор — чьи-то, по душе и без зависти судя, куда более невыразительные и кислые произведенья беспрепятственно пробивали дорожку в печать и словно вода сквозь сито просачивались через конкурсные комиссии, а мои незаконнорожденные, но бойкие отпрыски, будто кухаркины дети, еле-еле, с превеликим трудом попадали всего лишь на самые задворки большого света.

Между тем я тогда еще изрядно сплоховал, понадеявшись на неверную дешевенькую удачу — и, кроме того, конечно, немало подкузьмили опасения за право на постоянное столичное житье: как бы то ни было, почти не глядя, по-казацки взял и женился на музейной же девчонке-искусствоведьме, — ибо, как любил повторять еще более несчастливый в семейном быту писатель Лесков, русский человек куда приглядчивей выбирает себе пару яловых сапог, нежели постоянную спутницу жизни.

Невезенье же, как известно, крепко скучает в одиночестве, норовя свести короткую дружбу с безденежьем и тоской. Денег против ожидания для общей казны потребовалось вдруг не вдвое, а чуть ли не впятеро больше, так что снова пришлось завести подсобное орошаемое хозяйство в ванной, выращивая там посредством четырехступенчатой гидропоники бумажные фотоовощи. Но, извольте видеть, сия недотрога, умевшая лишь картинки рассматривать да судачить о них по-сорочьи со своими товарками, раскуривая бесконечные пахитоски в экскурсбюро, не только наотрез отказалась мне в том посильно помогать, — мало того, еще и принялась скоро беситься самым сатанинским образом, что я-де ее в свободное время в кино и пиццу не вывожу, убивая вместо того ночи напролет в запертом на крюк совмещенном санузле, который нельзя по желанию даже использовать как положено...

И вот в один скверный донельзя день, когда я вернулся домой, уже смиренно готовый сразу после ужина приступить к очередному черно-красному мытарству, она молча торжествующе повела меня за собою в опустошенную добела клетушку, откуда в «воспитательных» целях вышвырнула на помойку — да добро бы туда, там в конце концов можно было бы отыскать и отмыть, а на самом-то деле в неисследимую бездну мусоропровода — все безропотно погибшие фотопричиндалы, которым случилось попасть под горячую руку, и затем произнесла гордо, что дальше так идти не может.

Оно и не пошло: после эдакого подлого предательства мы развелись, и у меня кое-как, несмотря на сильнейший упадок средств, хватило последних тугриков на отдельную каморку подле Серебряного бора. А рабочие принадлежности, делать нечего, пришлось урывками вытачивать заново и собирать чуть ли не полгода у приятелей по мастерским и кустарным предприятиям.

Теперь учтите еще, каково было встречать свою бывшую

подругу каждый день чуть ли не по сту раз на работе в нашем совсем немноголюдном музейчике, и прибавьте в довершение невзгод, что не то чтоб успех, но даже скромное преуспеяние отнюдь не торопилось ко мне в гости на дальнюю окраину поддержать дух в творческом хоть в малую меру труде — ведь почти все, что, смешав с грехом пополам, а чаще и в гораздо более несуразной пропорции, будто худой любительский проявитель, удавалось напечатать в разных третьей руки изданиях, помещалось там разве из милости и уж точно задаром...

Вот тогда-то наконец и станет понятно, насколько своевременной оказалась посланная судьбой чудодейственная способность, с появлением которой в жизни моей словно бы открылось второе дыхание — ведь носясь запросто поверх голов со своей неизменно возрастающей дальнозоркостью, я сразу сообразил, как нужно снимать современный город так, чтобы у зрителя создавалось потрясающее впечатление правды и вместе новизны. Особенно это подходило к типовым блочным — или, как их сейчас еще ехидно называют, ночлежным районам, где проживают, между прочим, две трети теперешних москвичей. Все это их существование среди безликих как будто кубиков домов, прямоугольников универсамов и пирамид увеселительных заведений, вроде бы вовсе лишенное красоты снизу, — при взгляде с птичьего полета обретало не ведомый прежде космический смысл и какую-то запредельную, неземную прелесть! Стоило только найти этот волшебный ключ — заоблачную золотую точку, как мир многоэтажных кварталов начинал играть отблесками невиданного сияния и света...

Конечно, я не мог захватить с собой в поднебесье сам аппарат, подвесив его душе на шею, но в том и не было особой нужды — мало разве нынче уже и простых домов, торчащих повыше облака ходячего? Нужно лишь, перенесясь на уровень их вершин стремительным умным оком, отыскать верный угол, взгляд от которого раскрывал бы смелый замысел создавшего микрорайон архитектора; а потом оставалось отправиться туда на крышу на своих двоих, сделать пару-тройку щелчков — и дело в шляпе.

Словом, своими работами мне удалось ни много ни мало вычислить и доказать наглядно, какого рода неповторимое величие скрывается в облике всех этих казавшихся дотоле полностью взаимозаменяемыми мест. Потому-то первая же серия «Взлет» прошла прямо-таки на ура не где-нибудь, а в «Огоньке»; за нею вслед двинулись вторая и третья в таких

же первостатейных изданиях, затем посыпались ответственные, почетные (а также, естественно, денежные) заказы — и вот я уже сделался свободный художник!

Постылая музейная фотолавка была покинута навсегда; я завел собственного наилучшего печатника в одном из цветных рекламных журналов, где стояла великолепная иностранная машина, в которой был даже помещен могучий магнит в подножии, удалявший прочь с негатива вечно пристающие к нему пылинки, — и стал работать по найму, выполняя задания только там и тогда, когда чувствовал это отвечающим найденной шутя личной творческой манере. Свежая точка зрения шла нарасхват — ибо выяснилось, что для оправдания сногсшибательно отважных градостроительных идей одержимых жаждою переделки мира проектировщиков, которых ни за что не понять и не охватить узкому допотопному разуму пигмея-пешехода, — именно ее только и не хватало, да еще ох как остро.

Мое имя стало потихоньку двигаться ближе к жаркому костру признания, и на него даже стал бросать первые отсветы бушующий в ядре его пламень чистой славы — оттого-то я здесь лучше не стану представляться, потому что нет во мне в голом виде, не прикрытом всеми, по совести говоря, пришедшими незаслуженно извне красочными способностями, особенной соли. Вернее тут было бы перейти непосредственно к третьей и высшей выгоде, доставленной нежданно нагрянувшим шестым чувством невесомости.

Это приобретение — наиболее необычайное и вместе с тем для всякого, наверное, человека состоит в числе самых вожделенных: научившись заживо покидать по вольному хотению свою тленную скорлупу, я совершенно перестал бояться смерти. Чувство беспредельного ночного страха перед неминуемым полным своим исключением из мира, одинаково ведомое не по пересказу, а из непосредственного опыта заскорузлому нищему или отшельнику наравне с миллионщиком и Нобелевским лауреатом — навряд ли нуждается в пояснениях. И вдруг я, стоящий на общественной лестнице как раз в геометрической серой середине между этими полюсами, но ничуть не меньше тех, кто сумел их достичь, скорбевший душой при незваных и часто негаданных его посещениях — взял да нечаянно, нимало для того не приложив сил, чудом обрел полное от него освобождение. Ведь когда пробьет назначенный от века последний час для моей бренной оболочки, жалкой одежды бессмертной личности — летучая часть естества ничуть не будет подлежать уничто-

жению вместе с ней: это была теперь наличная данность, а не красочные легенды отвлеченных или отреченных книг.

Кроме того, разворачивая третью тайну, я должен сознаться, что улетать из себя прочь на волю могу вовсе не я один. Постепенно осмотревшись и познакомившись с закономерностями новой воздушной жизни, я как будто бы разгадал смысл того не получившего еще доселе исчерпывающего объяснения, но великому множеству людей знакомого выражения так называемого «полного отсутствия» — именно его я отчетливо рассмотрел однажды у себя на лице, поставив свой кожаный болван перед зеркалом в самый миг надевания его вновь при возвращении из полета. Следствие из этого открытия всякий легко может вывести сам — и я готов подтвердить под присягою, что ощущал рядом с собою на высоте присутствие сотен и сотен незримых соседей, точно так же, как и я, сменявших земное горемычное бытие на каникулы души.

И, наконец, последнее и наиболее темное открытие — над ним я лишь слегка приподыму завесу, потому что боюсь нарушить сей покров так, что потом не заткнуть образовавшейся дыры — это уже никак не в моих скромных силах. Так вот, понимайте как знаете, но там, наверху, были не только мысленные образы тех, кто покуда пребывал еще телесно на земле; среди нас витали быстрее ветра и коренные обитатели заоблачных пространств, духи уже окончательно бесплотные. Я их тоже не видел, конечно, воочию, но не раз, когда, долго мучась сомнениями, не умел в одиночку сыскать вожделенное место для нового кадра, слышал под сердцем соблазнительное прикосновение кого-то, кто необычайно нежно вливал в него подсказку: стань вот сюда, или — подвинься немного левее и тогда сразу достигнешь желаемого... А порою, что было гораздо реже и довольно-таки пронзительно жутко, мимо незримо проносилось нечто чудовищно мощное, вроде громадной грозовой тучи, только прозрачной, но потрясающе властной — тогда внутри появлялось такое ощущение, что ежели попасться ей на пути, то ни тела, ни души уже и следа нигде не останется... Но тут уже я, памятуя, что и в повествованиях про чудеса есть пределы дозволенного, окончательно умолкаю про тот необычайный мир, тем паче что вы уж наверняка сочли меня за безнадежно спятившего сумасшедшего.

Как это ни странно, вы почти что правы — только нужно последнюю мысль перевернуть кверху тормашками, и тотчас все станет на свои места. Но в два слова это превра-

щение ни за что объяснить не удастся — вот потому-то я сейчас и перейду в заключение к его хотя бы косвенному описанию.

...Неожиданно я получил попросту головокружительно престижное и богатое предложение — сделать роскошный цветной альбом о Кремле, печатать который собирались чуть ли не в Австрии или Италии.

Тогда я уже работал, понятно, не простым «Зенитом» — который, ежели принять всерьез его образное наименование, весьма-таки низко висит над горизонтами пространства и качества, — но целою парой отличнейших «Найконов» с сменным набором супероптики; а в придачу к ним купил и сам отделал под птичий глаз старую широкопленочную «Лейку» — да так, что она любой нынешний профессиональный «Хассельблатт» легко за пояс может заткнуть. Этой-то «Лейкою» я и надумал сделать кремлевскую серию, ибо издательское требование было таково, что оригиналы для альбома должны пойти в больших кодаковских слайдах.

Дабы не плюхнуться в грязь лицом перед ответственнейшим заказчиком, я собрал ворох допусков в главные библиотеки и архивы и принялся сперва изучать, чего же сумели достичь мои предшественники, начиная от половины минувшего века, а заодно прочесал поперек и вдоль литературную историю Кремля как памятника — я ведь, кроме всего прочего, еще и читатель бывалый, так что в словесности шатко-валко, но до многого дошел самоучкою, имею свой вкус и не боюсь его, когда потребуется, защищать.

Сравнение того, что удалось отыскать за более чем столетний срок фотопортретирования Кремля, с тем, что все явственнее вставало передо мною из тумана на горизонте мечты, не только не спугнуло этого стремительно воплощавшегося призрака, но напротив придало ему еще более бодрости и силы. Покуда тело рассеянно следовало за сотрудниками музеев, усердно водившими его по подножию соборов и дворцов, мысль узкокрылою шустрой ласточкой носилась по-над их маковками, поверяя снова и снова счастливо отысканный ключ к раскрытию древней красоты. Дело в том, что никто до той поры так и не додумался, какую необычайную картину может представлять из себя Кремль, ежели взглянуть на него опять-таки впервые сверху вниз! Все до последнего передо мной бравшиеся за сходное дело, даже самые приглядчивые из фотохудожников, шли от общей и заезженной донельзя идеи, будто здесь находится пуп России и чуть ли не середина Вселенной, — а оттого

смотрели по привычке от Кремля вокруг, этот неверный угол зрения распространяя и на него самого. Поэтому большее, до чего досягнула подобная пешеходная фантазия, — это залезть на верхнюю площадку Ивана Великого (или, еще прежде, на ныне уже не существующий купол Христа Спасителя напротив) и отснять с него панораму...

Но коли осмелиться бросить взор прямо с неба, словно в первый раз увидавший все это нелепо-прекрасное восточное великолепие космонавт — насколько сверхъестественно странные, умопомрачительные видения предстанут перед глазами! Какими диковинно-разлапистыми цветами распустятся разложенные на лепестки мощным широкоугольником купы пятиглавий; как витиевато неевклидова геометрия новейшей западной оптики свернет бока знакомого каждому по множеству плакатов до прозрачности треугольника стен с набившими на очи оскомину Спасскою башней и зубцами-ласточками; да и точечками наподобие тли облепившие площади удивленные люди, наблюдающие, как на выданном по особразрешению вертолете я воплощаю мои фантастические воздушные игры в жизнь — их тоже можно так обыграть, показав беззащитно-крошечными перед оседлавшим само небо механическим зрачком, что только дух захватит! Словом, я вознамерился усилием свободной мысли стереть пыль веков и заданных как будто навсегда представлений, наново выставив со своей подзвездной точки зрения в обнаженном до корня естестве то, что, казалось бы, навсегда застыло в дюжине надоевших до предела классических ракурсов...

И день моего торжества наконец наступил! Все, что я задумал, осуществилось с куда большим размахом, чем можно представить себе всякому, кто не умеет чертить по небу круги быстропарной душой, порвавшей путы опостылевшей плоти и ушедшей в самый зенит. Это была исчерпывающая полнота восторга, какой только способен добиться вольный человек-творец, и описывать ее обыкновенными словами — значит срамить и сам язык, никак уже не умеющий возноситься к подобным вершинам, и тем более оскорблять недоступные его ограниченным средствам выражения запредельные области бытия.

Скажу лишь, что к концу того словно ошпаренного неустанным солнечным сиянием дня я все-таки ничуть не ощущал в себе усталости и, распаленный донельзя исполнением наиболее невероятных замыслов, вместо отдыха рвался скорее проявить отснятые метры — ибо пленку я так ни-

когда никому, кроме себя, и не доверял, почитая ее за святая святых: вот печатать с нее сможет любой полезный ремесленник, за что ему и платят законную мзду, а не сумеет один — легко передать другому, более добросовестному, и ничего с нее от того не убудет; между тем как испорченный исходный материал — негатив или позитив — губит все дело раз навсегда.

И тут под занавес добрый музейный народ предложил еще — вероятно, чтобы сделать мне лично приятное — взять да свести в подклет Архангельского собора, куда при разборке многовековой усыпальницы великих княгинь и цариц, Вознесенского монастыря, перенесено было сорок тонн белокаменных саркофагов с останками, которые и по сю пору далеко не все разложены и описаны. Рядовым посетителям сюда еще добрых десятка два лет не будет ходу — ежели он и вообще когда-либо откроется, — а меня с почетом сама та сотрудница, что годами кропотливо одни за другими исследовала славные некогда кости, ввела под полутысячелетние своды за руку, прихватив в другую горняцкий фонарь, за которым влачился толстенный черный провод.

Там ровными рядами по четыре-пять вместе стояли могучие отверстые гробы преждебывших властительниц и красавиц: прямо на вошедшего в упор глядел темно-коричневый крепкий череп гордой гречанки Софьи Палеолог, бабки Ивана Грозного, а подле нее примостились редкие тонкие косточки матери его — прекрасной литовки Елены Глинской. За ними, упершись друг о друга крепкими боками последних своих земных жилищ, легли четыре жены Ивана — Анастасия Романова, черкешенка Марья Темрюковна, Марфа Собакина и, с перерывом в три других отсутствовавших, седьмая по общему счету Мария Нагая. Чуть подалей высились более крупные домовины, сплошь украшенные поверху извилистой вязью — Стрешнева, Нарышкина, Долгорукая, Сабурова, — и до всех них было буквально рукою подать, ибо крышки почти нигде не были уже затворены...

Слева, за перемычкой свода подземелья, не до конца расставленные даже в один ярус, скучились детские гробики, в ближайшем из которых останки были настолько малы, что едва превышали размером скелет селедки.

Зрелище урожая, обильно сжатого без промаха уложившей их всех курносой губительницей, было захватывающе острым, так что мне конечно же тотчас захотелось и его запечатлеть навеки на пленку — но я все никак не знал, как

же тут, где не очень-то взмахнешь вверх под низкими потолками, расположить лучше в безошибочно удачном месте полированный глаз моего аппарата с тем, чтобы картина поверженной в прах почти беспредельной некогда власти была наиболее разительной; и пока суд да дело, полюбопытствовал у своей вежливой вожатой: как та все эти махины ворочает слабыми женскими лапками?

— Что вы, — улыбнулась она в ответ. — Сюда нарочно приходят от времени до времени по особому наряду такелажники, да и тем-то не всегда под силу враз распахнуть очередной каменный ларь. Причем когда они заявляются, то всенепременно первым делом застынут на верху ступенек, поглядят выразительно на стройный порядок лежащих покойников и обязательно один какой-нибудь кощунник гаркнет ставшую уже привычной дурацкую шутку:

— Рррота, подъ-ем!!!

— Вот оно! — молнией пронеслось в голове. — Найдена точка! Именно колонны мерно шествующих к небытию мертвецов — то, что здесь требуется.

И я лишь слегка приподнялся по обычаю в воздух, чтобы открыть нужный угол зрения, откуда пространство само выстроит облеченную в белый камень смертную стаю грядущих в вечность на собственных ложах земных цариц, — но как-то, наверное, ошибкой зацепил вместе с душою кверху и бедное тело, ибо тут же со страшною силой и до бесконечности дикой болью врезался в нечто крайне твердое макушкою головы, после чего, не успев даже взвопить как следует, грянулся вместе с аппаратом ниц.

...Как мне рассказывали позже в одной очень покойной больнице, где я провалялся в полубреду битую неделю, со стороны это выглядело так, что мой телесный болван вдруг ни с того ни с сего для окружающих подскочил чуть ли не на два метра от полу и, долбанувшись что было мочи о косой угол арки, словно снятая со швабры тряпка, шлепнулся оземь, пересчитав носом ступени.

«Лейку» я расколотил вдребезги вместе с очками. Весь отснятый материал — а пленка, отметьте это особо, так и не засветилась, потому, что старая техника выпускалась с расчетом на тройной запас прочности — впервые за весь долгий мой опыт самых различных родов съемок, считая от полуигрушечной «Смены», купленной отцом в третьем классе, оказалась совершенно ЧЕРНАЯ. Да-да, но я даже и тому не очень-то дивлюсь: это ведь одни дилетанты полагают, что-де живопись есть подлинное искусство, а фотогра-

фия только простое или в лучшем случае сдобренное хитрой сноровкой копирование жизни. Нет, дело у нас обстоит куда сложнее, а главное — во всей цепочке процессов, из которых складывается изготовление карточки, начиная от первого щелчка затвора и заканчивая глянцеванием, на каждой — я подчеркиваю — на каждой из множества ступенек может произойти нечто неожиданное, заковыристое и чертовски порою загадочное, так что, разведя руками и хорошенько изругав коварную натуру, приходится начинать всю комедию с самого начала. А возможных таинственных отклонений существует такое число, что воистину имя им легион: то тут поведет, то там скорчит или скукожится, то пойдет пятнами, поржавеет или вот даже на черно-белом изображении возьмет да возникнет во тьме цветная радуга (последнее, хотя и выглядит самым странным, как раз довольно-таки просто объяснить — все это получается оттого, что в увеличителе пленка слегка начинает коробиться, и в образовавшихся пузырях, обратившихся в маленькие линзы, свет принимается преломляться). Здесь присутствует весьма сложная языческая мистика, которой в той или иной мере поклоняется на свой лад наедине с кюветой всякий фотограф, но я не стану сейчас в нее посвящать всех подробно, а просто повторю: даже проявленные в разных местах и растворах после того, как первая катушка вышла черной, как сатана, все последующие шесть пленок тоже получились, хоть глаз коли, кромешно темными.

А завершающей раной, нанесенной злосчастным падением моей воспарившей было судьбе, была полная и окончательная потеря способности летать.

Вы, естественно, вполне законно можете сейчас заметить, что все вообще это чудноватое воспоминание о полетах могло зародиться в потревоженном крепким ударом мозгу как своего рода умозрительное сумасшествие и, опрокинувшись задним числом на совершенно обычное прошлое, поселиться там непрошено в прорехах памяти, — но как тогда, скажите на милость, быть с тем обстоятельством, что при всем том вместо схождения с точки разума я на нее как раз возвратился, да еще и с немалым прибытком: ибо стал вновь, как в далеком казанском детстве, видеть все идеально четко безо всяких очков и еще с какою-то чересчур даже резкой явственностью, будто весь окружающий меня белый свет есть необъятный отпечаток чьей-то могучей мысли на сверхконтрастной — именуемой у нас «номер седьмой» — бумаге?

Всяких фото- и киноприспособлений, а тем паче их плоды, якобы посредничающие в общении с миром, — а в действительности же застящие зрение и живое соприкосновение с ним, — я нынче не переношу на дух. Зато, после продажи камер и прочей аппаратуры, осталось достаточно денег для безбедного житья почти что на целый год — а он мне на пороге тридцатилетия оказался куда как надобен, чтобы объяснить себе самому суть и цель собственного гоношения под солнцем.

Сначала, правда, я все никак не мог отгадать, откуда, с которой стороны надо приниматься искать их, и тосковал в первые дни просто смертельно. Но не свихнулся все же и не запил: я ведь говорил уже, что по происхождению хохол, а это не только лукавое прозвище одной из народностей, но и своеобразные присущие ей нравственные особенности, которые от рождения напечатлеваются на характере каждого из нас; одна из них — некий как бы «зуд труда». Не следует поэтому из-за того лишь, что вся история завертелась с приятельской пирушки, думать, будто я и вовсе какой-нибудь перелетный забулдыжка — да, быть может, не будь родового корня, оно бы так и случилось в конце концов холодной порою в суровой русской столице; но я не смог научиться даже похмеляться — наутро наместо жажды внутри пробуждаются такие покоры за даром протраченное без работы время, что ни боже ж мой! И там, где я сам по себе способен был бы пасть, из-под земли словно высовывается дружный лес казацких кулаков — и грозит нешуточно: дескать, не стыди свое племя, очухайся, хлопче...

А указатель пути выхода из тупика я нашел наконец в таком месте, где и думать забыл его искать, почти что на старом пепелище: однажды, гуляя, как обычно теперь, не торопясь вдоль по улицам и стараясь глядеть не под ноги, но и не вверх, а прямо перед собою со всяческим вниманием, я добрел до Кутафьей башни, — в ста шагах к западу от нее, увидав знакомое ощетинившееся колоннами здание библиотеки, вспомнил, что тут еще дожидается меня, наверное, в отделе редких книг заказанный как раз накануне треклятого падения набор альбомов фотографа-любителя начала века Готье-Дюфайе, снимавшего напропалую городскую архитектуру Москвы вместе с уличными происшествиями и просто типами. Их давно пора было б уже сдать за ненадобностью, но наверняка добродушные служители, полагая, что я после болезни вновь появлюсь все-таки взглянуть на когда-то до зарезу необходимый материал, не

«сбрасывают» его обратно в хранилище до моего выздоровления. Следовало зайти хотя бы поблагодарить за предупредительность — с тем я и поднялся по роскошной до безобразия мраморно-бронзовой лестнице под самый потолок, а там решил просто из любопытства, раз уж дошли до того руки, пролистнуть насквозь старые виды: не зря же они меня почитай что битый месяц ждали!

Однако предмет, наиболее привлекший в них ныне внимание, круто сменился: теперь сильнее всего действовали на воображение не ракурсы или проработка деталей, а сами по внешней видимости невзначай захваченные кадром люди, павшая лошадь с ее последним взглядом, застывшим навсегда, площади, рынки, кишащие торговцами и товаром, облака над случайным кладбищем и так далее...

Я принялся с ревнивой жадностью подробно пересматривать вновь альбомы, а когда закрыл последний из них, седьмой, исчерпав четыре с лишним сотни изображений, то этого показалось настолько недостаточно, что я тотчас же двинулся в обратном направлении с конца в начало. Когда же завершение с другой стороны опять стало сквозить перед глазами, я неожиданно чуть ли не расплакался с доподлинным отчаянием, будто мальчишка, прочитавший в эпилоге книги про смерть главного ее героя.

Заметивши издалека волнующегося сверх академической меры посетителя, ко мне подошел архивист с обязательными по чину очками-дужками на бледном длинном носу и бородкою книжным клинышком; узнав причину сокрушенных восторгов, он посоветовал еще попытаться продлить зрелище заката отраженного бытия в Историческом музее, где хранится схожее, но гораздо более обильное собрание фотографа Губарева, успевшего в первой трети текущего столетия отснять натуру уже не на семь, а чуть ли не на три десятка альбомов...

Боже, какие там нашлись настоящие крепкие лица! А ведь именно они и были тем, что меня сейчас брало за душу прежде всего... Но когда я и ими сумел все же достаточно насытиться, то по некоей догадливой путеводительной случайности, вовремя прибереженной заботливою судьбой, мне как бы ненароком понадобился для разъяснения том пятидесятипятилетнего повременного издания «Русский Архив» отца и сына Бартеневых, который я тут же вслед за наскоро наведенною справкой проглотил от корки до дна. Затем, отдавшись целиком новому увлечению, я принялся листать его с первого номера до последнего — все, сколько

их стояло в подсобном фонде изобразительного отдела музея: это оказалась отечественная история последних трех веков в сотнях уже не лиц, а сердец, исповедей, нравов, каждый со своим отличным складом речи, мышления и воззрения на происшествия, каких ему довелось быть незаочным свидетелем...

Взять для примера рассказы о войне двенадцатого года — чего только там о ней нельзя было отыскать; в особенности же захватывающими оказались очерки о французах в Москве, где одними из главных действующих лиц выступали такие привычные и с виду мирные для нас Арбат, Тверской бульвар, Кузнецкий мост, Пресня... Придя домой, я по старой памяти потянулся к давно не перечитывавшейся «Войне и миру» и был прямо-таки поражен, насколько хор бесхитростных вроде бы очевидцев разнился с личной, пусть даже и гениальной толстовскою точкой зрения! На очной ставке с действительностью она как бы начинала теряться, путать показания, уходить от ответа за свои же только что произнесенные слова. Чего стоит одно это отнюдь не графское, но не солдатское тоже и вовсе уж не высокое чувство черной нелюбви к начальству как таковому, заставившее великого романиста нарочно выдумать оскорбительно-несправедливую картинку брезгливого кормления Александром народа швыряемыми с балкона бисквитами или изобразить бездушным злодеем Растопчина — сколь по-разному ни относиться к его поведению, несомненно бывшему одним из основных виновников того страшного пожара, который во многом и погубил совсем непредвиденным образом почти что мировую наполеоновскую империю; и тут же представить изменника и предателя — назовем ответственные вещи своими именами — купеческого сына Верещагина, распространявшего вражеские воззвания, чуть ли не мучеником масонской идеи и дисциплины! Считайте, что болезненное отношение к собственному фотопрошедшему бросает тут искаженный отблеск на ни в чем не повинную литературу, но при чтении подобных отрывков я явственно узнавал угол, с которого автор опускает взгляд на нелюбезного ему героя, — а одно только напоминание о той жуткой поре, когда я глядел на людей сверху, вызывает теперь внутри мутное головокружение и тошноту.

Но то, что у мощного духа является как огрех или перехлест, соблазняет более слабого развить его до целого художественного мировоззрения наподобие литературной опричнины, где у поневоле безответных героев направо и

налево летят с плеч долой головы и из тел вон души. Вот, скажем, недавняя повесть одного сверх приличия проницательного в отношении своего персонажа творца психологической прозы, насмерть поражающего его палаческой наблюдательностью: там наведен резкий до боли в глазах микроскоп на повадку некоего человека, неизменно повсюду опаздывавшего — начиная от ежедневной работы и оканчивая продвижением по службе или женитьбой. Причем сей бедолага, несомненно, подспудно, конечно, чувствовал, чтó за недуг воли кроется у него в подсознании, но удивительным образом хроническое это недомогание было тем самым столпом, на котором зиждилось его душевное здоровье. Яростно борясь с им же лично попущенным отставанием, человек беспрестанно его нагонял и потом перегонял, так что в итоге выходил наконец победителем в бесконечно длившейся, собственным хотением затеянной гонке со временем. Зато под занавес дня или года у него всегда оставалось в сердце ощущение подлинного успеха, достигнутого в трудном поединке, дарившее ему очистительное удовлетворение.

Однако, коль скоро убийственно въедливый исследователь выставит всем напоказ эту его сокровенную игру в кошки-мышки с самим же собою, вскрыв таким образом лежащую в основе маленького счастья пошлую механику и лишив возможности пользоваться ею впредь — то что он предложит взамен тем вполне настоящим читателям, кто не единожды угадает себя в беспощадно анатомированном герое, кроме сознания их окончательной нравственной ничтожности?..

Взгляд сверху дарит своему обладателю судьбу Икара: снабжая слепленными на воске крыльями, подстегивает лететь все выше и выше к конечной погибели — и как знать, не в этом ли дальний смысл древнего мифа? Зато переболевший подобным соблазном по выздоровлении обретает способность разгадывать на множестве поприщ ожидающую его схожую опасность и, вовремя смиряя себя, избегать ее сетей. Это ведь только кажется, что у человека два внешних ока, обеспечивающих видимому им миру объем. На самом же деле все созерцаемое так и пребудет лишь мертвым мороком, покуда не отворится тот третий умный глаз, что у сказочной девицы-трехглазки рос посередине лба, а за ним вслед загорится четвертый, глядящий из сердца — и вот ты уже не сторонний наблюдатель, забившийся в один из бесчисленных, постоянно меняющихся углов зрения, но как бы широко отверстое горло воронки, сквозь которую

мир перетекает внутрь распахнутой ему настежь души.

Когда я добрался до этой поворотной на новом пути мысли, то жажда чтения, дотоле казавшаяся попросту неизбывной, вдруг резко пошла на убыль, хотя так до конца и не иссякла; а высвободившееся время было посвящено тому, что я принялся ходить из дому в библиотеку непременно пешком, нарочно выбирая всякий раз иной путь следования.

Видите ли, метро, как мне кажется, есть своего рода машина времени, только навряд ли и сей магический механизм для нас может быть безусловно полезен; но чтобы пояснить эту мысль внятнее, я сейчас перескажу одну настоящую сказку, которую мне как-то показала мать моей бывшей жены — учительница литературы в средней школе. Притчу эту ей вместо сочинения на вольную тему написала вполне с виду обыкновенная пятиклассница, но она вышла настолько взрослой и мудрой, что в доме ее не раз с той поры читали вслух гостям в назидание.

...В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была прекрасная царевна Миловида, и вот когда подошли ей урочные лета выходить замуж, то взяла эта строптивица да объявила, что отдаст свою бело-розовую, кровь с молоком, нежную ручку только тому, кто доставит ей в свадебный дар волшебный ларец, где по желанию появлялось бы все что захочется...

Первым на зов прискакал белокурый рыцарь из дальней Африки, принесший с собою подлинную скатерть-самобранку, — но так и отбыл восвояси с позором: эка-де невидаль — изобилье еды и питья, не считая уже того, что в самой зачуханной байке подобные скатерки почти что даром валяются.

Вторым приехал на печке чернявый Емеля, приволокший в поле́ дохи цветную коробку-вертеп с куклами, в которой заводные человечки разыгрывали под шарманку на веселие добрым людям петрушечную комедию. Но и он только получил пару горячих по загривку за свою старозаветную выдумку, никого уже более не дивящую. И чего-чего ни тащили потом разные горе-искатели, да все не ложилось в строку, — покуда не прибыл наконец с Востока рыжий пучеглазый волшебник в плаще со звездами и плоской желтой с голубым шапочке.

— Вот, — сказал он, — у меня есть то, что тебе надобно, но получить его можно с одним неотменным условием.

— С каким же? — спросила, надокучив отвергать пустые предложения, дрожащая от нетерпения и на все почитай

что готовая согласиться ради обретения желанного юная привереда.

— Ты получишь заветный ларчик, но для этого я посажу тебя с собою в черную машину времени и мы отправимся на много веков вперед в такую пору, когда уже не останется на земле ни волшебников, ни царевен, ни сказок, — зато чудо-ящик, в который видать все на свете, имеется в каждой квартире.

Подумала-подумала Миловида, — да и отказалась...

Вот эту самую двусмысленную машину я, садясь под Кутафьей в вагон подземки и вылезая через полчаса на «Полежаевской», всегда вспоминал, пока не плюнул в сердцах на грошовый выигрыш минут и не положил себе за правило, когда только появится возможность, пользоваться верховыми средствами передвижения, а еще лучше теми, что даны нам природою от рожденья.

Следуя пешим ходом на малой человеческой скорости из будущего обратно во взятую камнем живую историю, я в особенности полюбил застывать на рубеже столетий, у перелома веков, неизменно сопровождавшегося сменой одной эпохи другою. Тут я сажусь под деревом на скамейке или даже подле самой дороги — как, например, на Садовом кольце у Крымской площади, где по внешнюю сторону стоят первые робкие поточные жилые корпуса двадцатых годов, а по другую закопался в землю костистый корпус-каре Катковского лицея с фигурами Кирилла и Мефодия над входом. Потом, не торопясь, отправляюсь далее по Остоженке в глубину Обыденских переулков, где облюбовал себе укромный дворик ампирного особняка, к которому пристроен белокаменный каретный сарай осьмнадцатого века. Невдалеке, у бывших Пречистенских ворот бок о бок сошлись палаты восемнадцатого и семнадцатого, а поверх их стен, скрытый обычно наполовину клубящимся паром, что почти неизменно струится из круглого котла бассейна, виден вовсе не за горами стоящий кремлевский холм, с которым у меня теперь немало и личного связано...

Немного стыдно признаваться, но я все же расскажу и еще про одну новую привычку: порою мне очень нравится просто гладить старые камни рукою или даже, прижавшись к ним крепко щекой, слушать сквозь дрожанье и гул беспрестанно сотрясающей почву подножной электрички их теплую тишину; и тут мне становится донельзя странно, насколько же могли быть слепыми собственные глаза за двойным забором очков с объективом...

Смерти я снова боюсь, но и в отношениях с нею произошла некоторая перемена — говорят, будто кровь в человеке бродит до тридцати лет, причем последние годы наиболее опасны; а за той чертою она уже выстаивается, и тогда образуется уже как бы новое совсем существо. Это ведь тоже своего рода смерть — которую можно назвать, впрочем, и преображением; и, замерев на самом их пороге, я иногда чувствую себя беспредельно голым, оставляющим старое тело, как змея чешую, и еще не обретшим нового: вот уж треть века почти прожито, а видимого-то итога пожалуй что никакого? Что же, они протекли зря — или все-таки... все же...

И к безобразным, лишенным лица коробкам вокруг моего дома постепенно также сложилось другое, верней третье уже отношение: сначала я их попросту ненавидел и презирал; позже, в пору вольных полетов, нашел запредельный, космический и только из воздуха сверху видимый образ, — а нынче, бредя через них к центру и возвращаясь оттуда обратно, наблюдаю степенную смену столетий и стараюсь понять их особое место в застывшей цепи этой своеобразнейшей, почти что тысячелетней уже наглядной летописи.

Само их пребывание на определенном расстоянии по сторонам дорог, расходящихся из Кремля во все концы, заставляет задуматься о наличии в том какого-то, покуда еще невнятного мне урока; но и пути-то эти вовсе ведь не полностью застроены. Сколько их ни ограничивай бульварным, садовым, железнодорожным, автомобильным, наконец, кольцами — а все же далее и далее прорастает древо бытия в наступающую, остро жаждущую воплощения область грядущего. Цель этого движения, смысл его я и ищу, пока что ощупью, пешком, но чувствую его недалекое присутствие всею душой, и я его встречу — можете быть уверены.

СПАССКАЯ БАШНЯ

Из современных легенд
Третьяковской галереи

В тот многим достопамятный високосный год, когда олимпийский огонь впервые дошел до Москвы, среди обширнейшего ряда рачительных забот и предприятий, затеянных для наилучшего ознакомления сошедшихся к нам с четырех стран света гостей со славной историей древней отечественной столицы, развернута была в Третьяковке замечательная выставка «Москва в русской живописи». Великое число народу просмотрело ее за почти трехмесячное существование в общем порядке; искусствоведы, художники и прочие ученые ценители, как водится, собрались еще накануне первого дня работы на особый знатоцкий показ, именуемый эмигрировавшим в родную речь французским существительным, обозначающим лакировку — «вернисаж» — или даже «вернижас», как досужие на словесные кувырки языкастые завсегдатаи по-свойски переиначивают его сейчас в собственном тесном кругу.

Событие же, составляющее предмет нашего повествования, произошло в промежутке двух открытий, торжественного и всенародного, — а именно в понедельник, втиснувшийся между первым и вторым. Как раз на этот выходной в галерее день, когда обычным посетителям в нее доступа нет, и назначена была еще отдельная экскурсия для самих

экскурсоводов: такие показы, так сказать второго порядка сложности, проводятся всегда нарочно для тех, кому предстоит вскоре рассказывать грядущим пришельцам о выставленных произведениях и отвечать на каверзные загадки, каковые всенепременно примется задавать почти в каждую группу вкрапленный пытливый доточник, любитель-самоучка или даже просто заурядный зануда. В любом случае сотрудники головного художественного учреждения обязаны неизменно пребывать на высоте последних достижений науки, и для того-то обычно еще загодя ведущие работники соответствующих отделов знакомят их возможно подробнее с биографией, особенностями и трудными местами экспозиции, заодно предлагая черновые заготовки ответов на наиболее вероятные будущие вопросы зрителей.

Понедельник же, как хорошо известно, день и вообще не весьма легкого свойства, а тем более в самой середине цветущего замоскворецкого лета; и вот потому-то все три наших героини — которых мы назовем подлинными именами: Лена, Нина и Таня, оставив, впрочем, ради приличия в безвестии для всеобщего сведения их фамильные прозвища, — уже в исходной завязке истории попали впросак, опоздав почти на целый час к безжалостно назначенному на десять утра сроку сбора сотрудников в первом зале, откуда начинался показ. Предлог, правда, у них был вполне как будто извинительный, ибо накануне они до раннего рассвета догуливали «черствые именины» однокурсника по университету, аспирантствовавшего теперь в Институте теории архитектуры; но, к сожалению, это был тот незадачливый случай, когда и совершенно справедливое оправдание не идет впрок. Здесь уж не непосредственное начальство будет в первую голову взыскивать — оно-то в конце концов за прочей предпраздничной суматохой может и не заметить обычной девичьей провинности, — но сам немилосердный посетитель, от которого в наш просвещенный век никакой пощады не жди. А ведь подружки, на свою беду, успели пропустить наиболее замысловатую часть указаний, когда главный знаток в области византийской и древнерусской живописи рассказывал про иконы и восемнадцатый век, — поспев лишь к поре, когда сменившая его старая специалистка, подхватив слово, как марафонец палочку, понеслась вперед к вершинам современного искусства.

Но уж про сей-то предмет они и сами могли бы немало поведать кому угодно и пояснить что требуется, потому что о нынешних живописцах и их занятиях знали не понаслыш-

ке и соображений обо всем этом им было не занимать стать, — однако со стариною дело обстояло куда заковыристее, тем более что немец-иностранец, как известно, хитер и досужлив в особенности именно до икон, в которых зачастую горазд разбираться до тонкости, так что может с этою деликатной материей в лужу посадить или за Можай загнать, после чего еще стыда и нахлобучек не оберешься.

Нелады усугублялись и тем запинательным обстоятельством, что добро бы в первом этом упущенном зале выставлены были одни только «свои» знакомые образа с видами Москвы на заднем плане из постоянной экспозиции или, на худой конец, из фондов — про все то можно было по крайности запросто справиться в каталоге Антоновой-Мнёвой; но тут среди полутора дюжин икон рядом с ушаковским «Древом Московского государства», Алексеем митрополитом у Кремля и московским блаженным Максимом с клеймами его жития более половины произведений оказались привезенными со стороны, начиная от близкого Коломенского и вплоть до мало кому ведомого теперь наглядно Арзамаса.

Дослушав вполуха окончание общеобязательной беседы более для того, чтобы выказать перед сослуживцами свое незаочное присутствие, горемычные опоздалицы, всего год с невеликим хвостиком как принятые на работу в Третьяковку и еще не навыкшие ловко уходить от разрешения головоломных задач, даром сочиняемых многочисленными ведóмыми, сообща возвратились в зал, с которого открывалась выставка, и принялись, совокупив три молодых памяти и сметливости вместе, хотя бы гадательно домысливать, что тут с завтрашнего дня нужно будет плести.

Они уже с грехом пополам разобрали было суть двух третей изображений, благо кое-что могли подсказать и прилепленные к стенам наскоро клейкою лентой таблички, как неожиданно напрочь застряли, став окончательно в пень перед обширнейшей картиною, бирка к которой не то успела уже отскочить, не то еще не была приделана вовсе.

— Вот так штуковина... — сокрушенно протянула Таня, и все они в удрученье застыли у невероятно сложного трехчастного изображения, членившегося на две продольных полосы сверху и снизу и большой квадрат посреди, где в духе велеумного и мудреного шестнадцатого столетия расставлено было в гуще иконных горок и водных потоков неисчислимое множество человечков в шлемах, митрах и клобуках подле храмов да крепостей со Спасскою башней в самой сердцевине.

Выскребывая со дна университетских воспоминаний то, что могло здесь лечь в строку, бессчастные девицы принялись все громче спорить друг с другом, яростно доказывая, с которого же, однако, боку следует искать подход к этой работе, и сперва даже не заметили, что со смотрительского стульца в углу, где обычно сторожила порядок, благочестие и неприкосновенность экспонатов пожилая сиделка Устинья Митрофановна Докучаева, а впросте «тетя Устя», за ними пристально наблюдает присевший там беззаконно в отсутствие хозяйки статный широкогрудый мужчина еще вполне, впрочем, молодого возраста, с точеною головой в крупных «греческих» кудряшках, одетый в простую желтую рубаху и такие же штаны на крепких ногах, заправленные в щеголеватые сафьяновые сапожки, поверх плеч у которого была еще накинута бордовая куртка вроде плаща.

Наконец он первый не выдержал и, приблизившись к неискусным отгадчицам, предложил им свои скромные услуги, вежливо подсказав, что подходить к разгадке следует, естественно, от середины, то есть начиная прямо с Кремля.

— А это что же, ваша икона, что ли? — спросила его, не чинясь, за всяким словом карман не навещавшая Лена, всматриваясь удивленно в скуластое, несколько восточное лицо мужчины-доброхота с узкими сильными глазами, тонким носом и маленькими безусыми губами над мощным квадратным подбородком. — Вы ее сопровождаете или как?..

— Считайте что так, — нисколько не смущаясь прямоты и некоторой двусмысленности вопроса, твердым высоким голосом ответил молодец.

— Ну так и чудесно: вы нам, наверное, любезно сейчас тут всю ее быстренько разберете, — почти что хором обрадованно воскликнули трое девушек; но резвость, выказанная при этом, собеседника их как будто неприятно задела.

— Э-э, нет, дорогие! В два слова никак не справиться толком, — здесь требуется, чтобы, как в книгах доброго старого времени, рассказчик принялся артачиться: дескать, сие, мои милые, весьма препространная и поучительная повесть... А слушатели ему в ответ: «Вот и отлично, ладно! Устраивайтесь поудобней и распочинайте, — в вашем полнейшем распоряжении состоит весь изрядный запас всеобщего внимания...»

Столь резкое усложнение почти что уже решенного было дела несколько подгорюнило непоседливых юниц, у которых все еще пошумливало в головках от давешнего недо-

сыпа, но деваться было некуда, и они, стараясь не выдать разочарования, расположились рядком на длинной скамье в центре зала и повторили вслед за рассказчиком:

— Устраивайтесь и распочинайте...

— Случилось все это, — повел он степенно и не спеша свою речь, — в годы правления великого князя московского Василия Третьего, который первым стал носить на Руси царское звание; и происшествие то, включенное в ряд путеводительных событий русской истории, показалось современникам его настолько существенным, что была нарочно составлена в воспоминание о нем вот эта самая многосложная икона «приточных» или «учительных» писем — то есть такого рода, какие помещались не для поклонения в иконостасе, а вешались ради вразумления в трапезных, куда в воскресный день деды приходили после службы поведать внукам о прошлой славе и трудах своего века.

Василием Ивановичем и отцом его Иваном Третьим было собрано и построено то самое государство, которое называется Русью, то есть Русью в тесном смысле слова средневековой в отличие от России, окончательно переименованной так на греческий лад от учреждения Патриаршества столетие спустя. Эту-то самую Русь увенчал, а потом и развенчал их внук и сын Иван Грозный, своею смятенною личностью долгий срок застивший во многом куда более примечательные дедовские и отеческие дела.

...В ту пору вершиной всех свободных искусств по справедливости почиталось зодчество — зримо запечатлевавшее собою направленное навстречу Творцу вселенной осмысленное со-творчество «венца мироздания», человека, воплощенное в наиболее твердом веществе на свете — камне. Недаром же именно при Иване Третьем и Василии Ивановиче главная крепость страны, ее краеугольный кремень-Кремль сложился наконец в основных чертах в том самом виде, в каком он почти без дополнений — хотя и со значительными утратами — дошел до нынешних дней.

Вот он тут и изображен в сердцевине средника вокруг главной его Спасской башни, которая тогда именовалась еще Флоровской или в обиходе Фроловской по освященному прежде в ветхом ее здании храму Флора и Лавра. Эту башню, только покуда без высокого восьмерика и шатра, поставленных в семнадцатом веке, иконописец нарочно расположил в середине всего: она была выстроена в 1491 году

Антонием Соларием Медиоланским и завершалась тогда более низким деревянным шатерком с флюгером. Здесь же, по сторонам ее, видите, показаны и две белокаменных резных статуи, выполненных Василием Ермолиным еще для старой башни и перенесенных на новую — Димитрий Солунский, покровитель рода московских князей, и Георгий Победоносец, ставший гербом всего государства. С этой башни начинается повесть — к ней вместе с новым именем она и возвратится в своем конце.

Вскоре перед нею установили деревянный мост через прорытый тогда же вдоль крепостных стен от Неглинной к Москве-реке ров, превративший Кремль в полный остров — вот он тут пролег у его подножия, — а по краям рва учредили еще вторые стены с зубцами.

Позади Фроловских ворот начиналась тезоименитая им главная кремлевская улица, выводившая прямиком на Соборную площадь. Там Иван Третий выстроил новое здание Успенского собора, расписанное уже при его сыне; точно то же отцовское дело докончил Василий Третий и в отношении сооруженного родителем Благовещенского дворцового собора. Третий собор, Архангельский, он выстроил уже сам и по завершении перенес в него вместе с прахом отца гробы своих великокняжеских предков. У трех соборных храмов была одна общая колокольня — Иван Великий, водруженная на площади одновременно с Архангельским собором Боном Фрязином, но тогда еще она взамен четырех нынешних имела всего два с половиною яруса высоты.

В годы правления Василия Ивановича появились в Кремле еще церковь Николы Гостунского, храм Рождества Богородицы над древнейшей каменной церковью Воскрешения Лазаря четырнадцатого века; заново отстроен был собор Вознесенского девичья монастыря, стоявшего вплотную справа от Фроловской башни, и обновлен продолжавший его к Соборной площади мужской монастырь Чудов. Сияющие купы их гордых голов видны на иконе позади башни, но, к сожалению, наблюдать их теперь можно разве лишь здесь — из них сохранилась лишь одноглавая церковь Рождества Богородицы на Сенях, в которой потом триста с лишним лет спустя венчался Лев Толстой.

Оградившие храмы Кремля стены и башни также были начаты отцом Василия и окончены при нем самом; строили их вместе с русскими мастерами пятеро «фрязей»-итальянцев: Антон, Марко, Пьетро Солари, Алевиз Старый да Алевиз же Новый.

Подле Кремля «за Торгом» в 1518—1520 годах Клим Мужило поставил здание церкви Илии пророка на Ильинке, существующее доныне — ее стоит запомнить, потому что с этим храмом связана одна из нитей будущих событий повествования: вот ее белая шейка и золотая луковица. А вокруг на московском посаде в 1514—1518 годах Алевиз Новый выстроил целое ожерелье из одиннадцати каменных приходских и монастырских церквей, дело дотоле и в столице невиданное. Обычно принято повторять за каким-то пустоплетом, будто ни единая из них не дошла до нас, но это, по счастью, совсем не так. Напротив, бо́льшая часть их так или иначе сохранилась, — недаром иконописец особо выделил это нарядное кольцо, расположившееся кругом Кремля в Китайском, Белом и Земляном городах. Посмотрите на него внимательнее: идея кольца крепости — едва ли не самая главная в нашем образе, поэтому я сейчас подробно назову их по именам и расскажу о дальнейшей судьбе этих символических зданий.

Первое из них — это церковь Варвары на Варварке: теперь на ее фундаменте в начале улицы Разина стоит поздняя постройка с тем же именем;

второе — храм Всех Святых на Берегу на Кулишках, основанный еще Димитрием Донским в память воинов, на Куликовом поле брани убиенных, — тут тоже на древнем основании высится новый храм;

третье — Владимира в Старых государевых садах в Старосадском переулке подле Исторической библиотеки: его только что восстановили, хотя здание значительно перестроено в последующие века;

четвертое — Благовещения в Воронцове, часть его сохранилась в составе большого Ильинского храма прошлого столетия на нынешней улице Обуха, а внутри находится Музей искусства Востока;

пятое — Введения Богоматери за Панским польским двором на Лубянке, у стен которого впоследствии, в Смутное время был тяжело ранен защищавший Москву князь Пожарский; сейчас на этом месте у памятника Воровскому стоянка для машин;

шестое — св. Петра за Неглинною, он почти полностью сохранился таков, каким был первоначально выстроен посреди Высоко-Петровского монастыря, которому сообщил свое название;

седьмое — Благовещения в Старом Хлынове на Ваганькове, где жили государевы ваганты-шуты: на его осно-

вании сейчас стоит небольшой Никольский храм восемнадцатого столетия среди двора Румянцевской библиотеки;

восьмое — Афанасия в Афанасьевском переулке близ Арбата: оно несколько раз переделывалось, а теперь восстанавливается для концертного зала на Сивцевом Вражке;

девятое — Алексия человека Божия на старом исконном месте Алексеевского монастыря за ручьем Черторыем: тут ныне стены и надвратная церковь его наследницы, Зачатьевской обители на Остожье в кольце Зачатьевских переулков сбоку от Метростроевской улицы;

десятое — Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором в Ивановском же монастыре, что в Черниговском переулке близ Пятницкой в Замоскворечье: тут тоже сохранился не раз обновлявшийся храм-тезка, — и наконец

одиннадцатое — Леонтия Ростовского у древнего истока Арбата за Неглинной: сейчас тут двор старого здания университета и останков храма над землей уже нет, но имя того, кому он был посвящен, стоит отметить в памяти, потому что это тоже один из будущих наших героев.

На все стороны от Москвы по широкому лицу земли, вздымающейся к небу холмами и лещадками, здесь видны рассыпанные среди лесов и покойно текущих на север и юг по исконным своим стезям русских рек выстроенные в годы державы домовитого Василия Третьего крепости-кремли: Коломенский, Тульский, Нижне-Новгородский, — и крепости-обители, начиная от Новодевичьей к юго-западу от Москвы, великокняжеской усадьбы Коломенского с двумя знаменитыми шатровыми храмами к югу и Крутицкого подворья к юго-востоку — и далее во все области света: овеянная впоследствии черною славой Александрова слобода на пути во Владимир, Давидова пустынь у Серпухова, Лавренева у Калуги, Данилов монастырь в Переяславле...

Особенно упорно распространялась Русь своими укреплениями на север, к Студеному морю и под Каменный пояс Урала, в заповедную вольную страну доныне нерасточенных сокровищ, и тут уж смерд-горожанин и землепашец словно соревновались со служилым дворянином, боярином и самим царем за честь великого дела освоения заволоцкого края: новгородский крестьянин Нил основывает Столбенскую пустынь на озере Селигере, а холоп Антоний — Сийский монастырь у Холмогор; мелкий землевладелец Александр — Свирскую пустынь близ Олонца, а племянник дьяка великой княгини Корнилий — Комельский монастырь у

Грязовца; ученик Корнилия Кирилл — Белый Новоезерский монастырь на Красном острове, а важенский крестьянин Никифор — Важеозерскую пустынь на Важе-озере; государев дьяк Мисюрь Мунехин подымает из нетей Псково-Печерский монастырь, а новгородец Трифон возводит Печенгскую, самую северную из всех обителей, на Мурманском берегу Кольского полуострова, — и всеобщими усилиями возводится Большой Тихвинский монастырь посреди града Тихвина.

Крепостями и заставами рачительный Василий Третий крепко утвердил три главных направления, откуда грозили враги: северо-запад у границы с Ливонией, западный рубеж с Литвою и южный, обращенный на Крым и Казань. Он присоединил окончательно Псков, отобрал у литовцев свою «отчину и дедину» Смоленск и подготовил все, благодаря чему при его сыне Иване Грозном пало Казанское царство, сделавшись из постоянной порубежной язвы частью единого государства.

О том, насколько убедительно мощно окрепшая Русь выступала против своих супостатов, с разительной образностью свидетельствует летописный рассказ о взятии Смоленска: «И прииде с братиею своею, и со многими силами, и с великим нарядом, — говорится в нем о подступе Василия Третьего под город в третий, решающий раз, — пушки же и пищали большия около града уставивши, и со всех стран повеле бити по граду и во град из всего наряду, и огненными пушками беспрестани, яко и самой земли колебатися от пушечнаго и пищальнаго стуку, и людскаго кричания и вопля, и весь град яко восторгашеся от земли, в пламени же огня и курении дыма друг друга не видети...» Сумевшая выжить среди татарской напасти, хорошо усвоив ее уроки, Русская земля снова появлялась в основном русле мировой истории в достоинстве великой державы и «силе тяжце», способной буквально подымать на воздух осмелившегося противостать ей врага!

В память торжественного вступления Василия Третьего во вновь покоренный его скипетру Смоленск первого августа 1514 года — на праздник Всемилостивого Спаса, — великий князь по возвращении в Москву повелел установить на Фроловских воротах Кремля образ Спасителя в рост, в руках у которого был свиток, оканчивающийся словами: «...Аз есмь дверь». Со временем такой извод изображения Христа стал именоваться Спасом Смоленским; тогда же завелся и ставший впоследствии писаным законом обычай

снимать шапки долой с голов, проходя под воротами Спасской-Фроловской башни.

Русь, казалось, находилась как будто на гребне возрастания могущества, славы и величия...

Однако во всем таком показательном благополучии что-то еще вовсе не радужное зияло: оно от поры до поры проглядывало в зазор между радостными событиями, не выдавая, впрочем, покуда того источника, которому теневая угроза обязана была своим появлением. У апостола-мудреца Павла Тарсянина, чей век хотя и отстоял от Васильева на полторы, а от нынешнего и на две почти тысячи лет, но сочинения которого неопустительно читаются ежедневно по всем русским храмам, где бы ни стояли они от Аляски до Фатимы, есть в послании к жителям города Фессалоник пронзительнейшее указание на главный признак близости дней страшного испытания — что, как сказано у него, «так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве». И действительно, несмотря ни на какие широкошумящие триумфы, то ощущение, что родная земля беременна некоей подступающей из будущего бедою, стало повсеместно распространяться как раз по мере убывания видимых противников и тревог.

Лучше всего доказывает существование подобного общего чувства непрерывное нарастание того, что называлось в нашем средневековье «знамениями»: однако, рассуждая о них, отнюдь не следует сводить все значение таких иносказательных путевых знаков грядущего к одному только дремучему невежеству предков по части природных аномалий. В конце-то концов аномалии случаются постоянно, но в них вовсе не каждый раз всматриваются с прищуром; да к тому же их можно еще очень по-разному перетолковывать. Но коль скоро глас народный единодушно определял: быть худу, или наоборот: быть ведру, — значит, тут главным глашатаем было затаенное верное сердечное ощущение, а явления внешней природы имели ко всему тому касательство весьма, пожалуй что, косвенное.

Так вот, необычайные происшествия в безгласном и как будто неодушевленном окружающем космосе стали ясно восприниматься как предупреждение о грозящей беде совершенно в срок — именно тогда, когда были посеяны семена вызвавшей эти происшествия внутренней пагубы. Но подробно об ее истинных основаниях речь пойдет гораздо по-

здней — посмотрим теперь сперва на то, как она образно истолковывалась по открытым своим проявлениям. Колесо небесных указаний стало поворачиваться к несчастью, по согласному решению убогих юродивых и премудрых книжников, в 1470 году, еще за полвека до переломного «1521 лета от пришествия во плоти Спасителя» нашей иконы; и с тех пор принялось обращаться все стремительнее, высекая огонь из вселенной и влача за собою целую колесницу ненастий и зол.

Составитель «Степенной книги» нарочно вычленил все эти знамения в последнюю главу, завершающую обзор княжения Ивана Третьего и предваряющую царствование Василия Иоанновича, подчеркивая при том, что воздействие их на сознание людей было весьма избирательным — одному они приходились для «прещения», то есть острастки, а для другого служили как бы перстом милосердия, подсказывающим задуматься наперед о главном, подготовляясь к приходу еще только притворно-робко выглядывавшей его издалека смерти.

Началось все с того, что однажды на Москве в апреле в двенадцатом часу дня явился на небе круг, одним своим краем держась за средину небосвода, другим опускавшийся к западу. Изнутри в нем было «червлено, а около зелено, половина круга того, а другая же половина бела». Под кругом располагались две дуги «тем же образом», концы которых достигали до самого предела горизонта. Внутри дуг «на средине сущее солнце к западу идяше», а промеж них под кругом виднелись два рога одним хвостом на юг, другим же на север. Посреди рогов над «сущим» солнцем стояло второе и «сияше светло»; по «обе стране» сущего солнца появились вдобавок к ним еще третье и четвертое. Все это можно было ясно наблюдать два полных часа без всяких изменений; потом круг и дуги «изгибоша», а три «прибыльных» солнца сошлись воедино и последовали за «сущим» — «посвыше его». Так они и зашли вдвоем по очереди: сперва «сущее» светило, а за ним вслед и «необычное».

На следующий 1471 год знамения во множестве посетили целою толпой Великий Нов-град, где принялись о ту пору самонадеянно плодиться раскольники не только государственные, но и духовные: тогда-то в мужском Хутынском монастыре — и его запомните хорошенько, это тоже своего рода особое наше действующее лицо — сами собою зазвонили древние «Корсунские» колокола, а в женском Евфимьевском от иконы Божией Матери потекли настоя-

щие слезы, да не каплями, а прямо струею. Тут же вскоре явилась среди зимы ночью звезда, от которой вперед «луч протяжеся вельми светел и толст, конец же луча того аки хвост великие птицы распрострeся»; за нею вдогонку на Крещенье пришла вторая, «луч же от нея меньши первыя и темнее». Вместе со звездою, явившеюся раньше, «некто Григорий Перхошков» вновь разглядел зараз два солнца — «сущее солнце идяше своим путем, другое же выше того и лучей от него несть». В этот год турки взяли в Крыму Кафу и стали брать со всего острова дань.

Через пять лет на «сыропустной неделе» — то есть в Прощеное воскресение — вскоре после полудня повсюду над землей пала получасовая густомрачная тьма, так что зажигаемый в страхе по домам свет никак не загорался, а уже горевшего не было вовсе видно. Тогда же в марте месяце солнце однажды взошло сперва как будто весьма ясно, но около него потом появился «круг вельми велик, в нем же червлено, и зелено, и багряно, и желто»; по сторонам их сияли два луча и отходили вбок два белые рога, третий же луч виднелся над солнцем, а с ним еще дуга «различными цветы верьхом ко кругу, концы же ея до среди неба» — и все видение вновь простояло в зените — не менее двух часов. В тот же год на московский Симонов монастырь «прииде стрела громная и с церкви каменныя срази верьх, и падеся глава церковная, и шея внутрь церкви, яко и месту поколебатися от гремления страшнаго, и святыя иконы попалило, и иныя же и побило, икона же Пречистыя Богородицы Одигитрия ничим невpежена, аще и камением засыпася мало не вся».

Подобное сему происходило повсеместно, куда ни кинь, в особенности же в год знаменитого «стояния на Угре», когда наша с татарскою рати промедлили праздно немалое время по обе стороны речной границы Орды и Руси, а потом, когда она покрылась твердым льдом, неожиданно разошлись каждая «во своя си» чуть ли не бегом: то за близкой Окою проливался нежданно звездопальный дождь и невидимо уходил весь под землю, а то на Москве и в Новеграде как по согласию принимались самочинно гудеть колокола...

Еще одно лето спустя у гроба Петра-чудотворца в Кремле перед заутренею сама собою затеплилась свеча; а вслед за тем ночью «молния неизреченным светом сияема показася и вскоре спрята огнь свой» — потом уж узнали, что тогда как раз Ахмат-царь, не отважившийся

переступить Угру, «убиен бысть от Ногайския орды».

Наконец, всего за несколько дней до той главной беды, о которой уже совсем приблизилась повесть, пятидесятитрехлетний уроженец подмосковного села Елохова крестьянский сын Василий, еще в юности сменявший доходное сапожное ремесло на диковинный подвиг юродства и с тех пор, словно никем не запинаемый голос народной совести и ничем не прикрытой правды, голым зимою и летом бродивший по стогнам столицы — за что и был прозван «нагоходцем», — этот известный впоследствии под именем Василия Блаженного добровольный мученик за истину с несколькими своими спутниками стал свидетелем потрясающе трепетного знамения в самом сердце Кремля. Оно, это чудо, и изображено здесь справа в отдельном клейме внутри кремлевских стен — именно тут, у паперти Успенского собора и наблюдал его от начала до конца коленопреклоненный провидец, сам «наг весь, в руке посошок и платок, подобием стар и сед, власы с ушей кудреваты, а брада курчевата, седа и невелика».

«Во едину от нощей» пришел нагоходец Василий к «велицей церкви Богородицы» и, стоя долго на земле против передних дверей «унылым образом», совершал тайную молитву о «граде, стране и всех верою и любовию живущих в них» людях. Неожиданно он и последовавшие за ним друзья услыхали внутри здания как бы «шум велик бяше», врата храма стремительно разверзлись, и все они вдруг увидали, как главный палладиум — покров московского государства, прославленная икона Владимирской Богоматери, окончательно укорененная в Успенском соборе Иваном Третьим и совсем еще недавно, при росписи храма внутри тщанием Василия Иоанновича поновленная и украшенная новыми ризами, сдвинулась и пошла прочь со своего места слева от царских ворот. Затем они услыхали голос, объявивший страшную весть о том, что вместе с погребенными под этими сводами русскими первосвятителями Владимирская «матушка» хочет выйти вон из Москвы, — вслед за чем в церкви тотчас вспыхнул яростно бушующий пламень, языки которого высунулись глумливо из многочисленных дверей и оконниц, так что весь храм показался как бы огненным. И тут же опять вскоре «огнь спрятася и невидим бысть»...

Но сам Василий Третий пребывал покуда еще в благодушном успокоении, полагая, что установил наконец долгий мир со всеми окрестными «царями и кралями и прочими

странами»; ниоткуда не ожидал он враждебной брани и сам в свой черед тоже ни на кого рати не составлял. А тем часом крымский хан Махмет-Гирей, «таинственно» замирившись с «литовским Жигимонтом» — как звали у нас на свой лад короля польского и великого князя Литвы Сигизмунда, — собрал превеликую конную силу и вместе с немалым числом приставших к ней вольных удальцов (среди которых, как это ни печально и горько, был отряд своих единокровных славян под командою Евстафия Дашкевича), внезапно «безвестно и скороустремительно, суровейшим напраснством» пустился изгоном на Русь. Он быстро «доскочил» до Оки, перешед которую опрокинул застигнутые врасплох русские сторожевые полки, и тридцатого июля подходил уже к самой Москве, оказавшейся нечаянно совершенно перед ним беззащитной.

Василий Третий, только что грозный европейский властитель, начинавший постепенно получать признание в своем достоинстве «кесаря» — наследника византийских императоров от близких и дальних держав, считая от Испании с Римом на западе и чуть ли не до самой полусказочной Индии на востоке, во единое моргновение ока обратился в жалости достойного Анику-воина, немощного полководца без войска: у него не только не было сил для защиты хотя бы столицы, но не находилось и собственного наследника, которому можно было бы передать в случае гибели с такими трудами и тщанием утвержденный московский великокняжеский стол. В довершение всех обид, один день опешенный Василий Иоаннович, как рассказывали, принужден был даже прятаться в стоге сена в своем подмосковном селе Воробьеве, пока заявившийся туда передовой отряд крымчан разбивал его заветные погреба и опоражнивал бочки с медом да мальвазией. Пройдя еще и эту унизительнейшую муку, он затем «яся бегу» вместе с братьями, направляясь собирать рассеянные русские рати на Волок Ламский.

В стольном же граде из именитых людей остался главным воеводою зять его Петр — крещеный татарский царевич Куйдакул, женатый на сестре Василия Евдокии; а за духовного вождя — разве что тезка великого князя нагоходец Василий Блаженный...

И вот, как повествует современник-летописец, в то время, когда укрывшееся внутри Кремля население в ожидании неминучей погибели наложило на себя последнее покаяние с постом, однажды некая незрячая старица того самого Вознесенского девичья монастыря, что был основан

женой Димитрия Донского Евдокией-Евфросинией и находился по десную сторону от Фроловских ворот, также стояла у себя в келье на «правиле», призывая помощь свыше на избавление народа от «предлежащей», приступившей под родные стены смертной скорби. По прошествии некоторого времени она вдруг услыхала кругом себя великий шум, «вихорь страшен» и звон «площадских» колоколов; тут слепая инокиня почувствовала, что, должно быть, чудесно перенеслась как будто за пределы Кремля — и тогда наконец неожиданно отверзлись «очи ея мысленныя, вкупе же и чувственныя».

То, что она увидала и услыхала здесь, как раз и составляет сердцевину иконы, — но прежде чем продолжить рассказ непосредственно о самом этом поразительном явлении, нужно немного погодить и указать на других его очевидиц.

Отведите теперь взор от инокини и присмотритесь к двум другим фигуркам, выглядывающим снизу из-под порога церковки Георгия Победоносца возле все тех же Фроловских врат: это вдовицы, одна по имени Евдокия и прозвищу Коломянка, супружница воина-костромлянина, а другая Ульяния, так же, как и вознесенская насельница, жившая в преклонных летах «очима мало видя» — жена воздвиженского попа Евсевия. Вместе со своими согражданами они укрывались в осаде внутри крепости и, не имея в Кремле прибежища с крышей, «угнетахуся» — то есть прятались — под храмовой папертью.

А вот и еще одна свидетелька, некая «вдовица, сродница Ивану Третьякову, царскому казначею», которая, сидючи в горнице его дома подле Фроловских-Спасских ворот, высунувшись в оконце, во все глаза разглядывает необычайное событие.

Видели же все они одну совершенно схожую картину: сквозь Спасскую башню из града степенною чередою выходил прочь «многочисленный световидный собор святолепных мужей во освященных одеждах», среди которого им нельзя было не узнать в лицо знакомых по множеству образов давно уже покойных первосвятителей московских, душу и тело положивших на утверждение единства Руси вокруг ее естественной срединной столицы, — митрополитов Петра, Алексия и Иону... Вместе с ними опознан был неожиданно и епископ Леонтий Ростовский, скончавшийся еще в первом-на-десять столетии по Рождестве Христове и погребенный в просвещенной им ростовской земле, — а поскольку его появление здесь требует особого изъяснения, придется

вновь немного погодить с главным ходом событий и перенестись взглядом к их окраине.

...По происхождению Леонтий был цареградский грек; еще в молодых летах пришел он на русскую сторону, где сделался сперва иноком Киево-Печерской обители, а оттуда отправлен был окормлять «невегласную», то есть неграмотную и бесписьменную еще область Ростова Великого. Претерпев там немало бед, не раз подступая за свои убеждения к самой погибельной грани, он наконец удалился даже на время из города вследствие жесточайших гонений и стал жить в поле, обучая малых детей, помощью и любовью которых затем смог все-таки достигнуть просвещения жителей обширнейшего северного княжества.

Присмотритесь теперь пристальнее к небольшому клейму-врезке по правую руку от видения нагоходца Василия. Вот о чем напоминает изображенная здесь встреча. Против нынешнего Киевского вокзала, перейдя Москву-реку, громоздится на высоком ее берегу большущее жилое здание подковою, распростершееся над улицей под названием Ростовская набережная; позади него разбегаются лучами ни много ни мало целых семь «Ростовских» же переулков. Здесь с незапамятных времен, чуть ли не испокон московского веку находилось поделившееся с ними своим именем подворье ростовских архиереев, а впоследствии была выстроена простоявшая более пятисот лет — как раз там, где теперь садик между крыльев подковы — церковка во имя Благовещения. Ее сравнительно недавно, вместо того чтобы восстановить, бестрепетно и зазря смахнули в короткий век глаголемого «волюнтаризма», чтобы не вылезло ненароком запустелое здание на глаза ожидавшемуся в гости американскому президенту — который, кстати сказать, так и не прибыл тогда... И вот тут-то и случилось то маленькое чудо, о коем повествует сие клеймо: вышедшему в сугубом усердии раньше других к службе церковному пономарю вдруг попался — в тот самый миг, когда четверо женщин наблюдали общий великий выход из Кремля, — «спешно текущий» навстречу ему клирик, в котором он не мог не отгадать по своему храмовому образу самого Леонтия, епископа Великого Ростова-града. «Скоро! скоро! — закричал тот оцепеневшему служителю. — Отверзи ми двери церкви, в ню же шед облекуся во освященную мою одежду, да немедленно достигну святейших митрополитов, идущих со освященным собором из града сего...» Быстро взойдя во храм, где с древних лет действительно сохранялись со тщанием в па-

мять его ризы ростовского просветителя, Леонтий вновь, как и четыре с лишним века назад, облачился в них и пропал — да так с тех пор одеяния эти и видели...

Возвратимся теперь обратно к Фроловской башне: четверо облеченных в высший священный сан государственных мужа, немало потрудившихся в земной своей жизни над упрочением славы и могущества московского великого княжества, влекли сейчас в своих собственных руках из беззащитной столицы ее верховный покров — Владимирскую икону, а последовавшее им тьмочисленное множество иереев, бояр, воинов, крестьян, всякого возраста народа «мужеска полу и женска» — великий собор предков, просиявших в русской земле, — уносил и все прочие святыни града, выходя из него вон с кадилами, книгами, свещами и хоругвями по тому самому чину, как совершался прежде торжественный крестный ход в ознаменование самых громких побед.

Зрелище этого величественно-мрачного исхода, словно бы погребения надежд всей земли о ее конечном единстве и силе, само по себе достаточно способное вызвать отчаяние и ужас, втройне уязвительно было именно для сердец москвичей, которые не забыли крайне схожего с ним жестокого бедствия, случившегося в этих же самых воротах хотя и полутора столетиями прежде, при великом князе Димитрии одолетеле Донском, но как одно из тягчайших оскорблений, нанесенных всей земле в целом, вполне свежо бытовавшего в памяти потомков тех немногих, кто не изъят был тогда из среды живых.

...Не успело миновать еще и двух полных лет по Куликовской победе, как точно так же среди лета потаенным изгоном подошел к Москве хан Тохтамыш; так же принужден был бежать оказавшийся о ту пору без войска великий князь, недавний погубитель могучего Мамая и его многоязыкой орды; так же остался в городе военачальником чужеродный князь — только не татарин, а на тот раз литвин по имени Остей. И вот сквозь проход той же Фроловской башни двинулся к Тохтамышу на поклон из беспечно растворенных врат крестный ход осажденных — которых татары сумели улестить ложью о том, что хан-де требует только знака покорности, после чего пожалует москичей милостью и отойдет восвояси, — «на челе» своем имея князя Остея, бояр, священников и народ с хоругвиями и образами. Но коль скоро они принялись выходить наружу из открытого врагу города, — на них тут же набросились с мечами

лукавые ордынцы и изрубили вместе со всю святынею в куски, а княжескую столицу сожгли, оставив в ней тлеть десятки тысяч полуобгорелых трупов...

Однако теперь, в 1521 году, онемевшие от горя очевидцы вслед за исходом бредущих прочь из Кремля праведников увидали вдруг, что «во сретение» им «с великого торговища Ильинского» — оттуда, где как раз незадолго пред тем Клим Мужило поставил храм Илии, и по нему назвали весь торг вместе с улицею — быстрой стопой поспешая, появился сам преподобный Сергий Радонежский, во времена оны духовный отец князя Димитрия; а с другой стороны торопится ему на подмогу новгородский игумен двенадцатого века Варлаам Хутынский.

Оба они были отпрысками древних родов государственных деятелей Руси, сами немало потрудились на той же ниве при жизни, а потому и после кончины сочтены были покровителями всего Русского государства. О Сергии распространяться в канун шестисотлетия славного поля Куликова нужды нет, он и по сей день повсеместно знаком; но напомнить о его заботах во спасение отечества тоже, впрочем, никогда не во вред.

На тот, как прежде говаривали, «конец» и поместил иконописец внизу этого «лика русской крепости» еще особую продольную доску с пространным живописным изображением «Сказания о Мамаевом побоище», близким по составу и образному строю нижнему ярусу известной иконы Сергия с клеймами жития семнадцатого века из Ярославля. Слева нижней доски нашего образа также показаны различные города, отряжающие воинов к Москве; посреди нее в виде града с могучими башнями и стенами сама столица с подошедшими к ней ратными силами всех земель — и тут же Сергий благословляет Димитрия, давая ему в помощь двух своих иноков Пересвета с Ослябей; а справа находится картина самой битвы с поединком Пересвета и Челубея в центре, ставкой великого князя с одной стороны и шатром Мамая у другого края. Внизу припущена еще тонкая полоса-послесловие: возвращение воинов домой, погребение усопших со строительством храма Всех Святых на Кулишках в память их небесных покровителей на Москве и даже гибель Мамая от рук польстившихся на его казну генуэзцев в крымском поселении Кафе.

О Варлааме же следует сказать более пространно, ибо его часть в происшествиях переломного года, воплощенного на иконе, не менее значительна, хотя она и изрядно, к со-

жалению, подзабыта. Мирское имя его было Алекса Михайлович. Еще при жизни родителей он принял постриг, а в зрелом возрасте этот боярский сын оставил родной Новгород и основал в десяти верстах от него на урочище Хутынь по-над Волховом Хутынский мужской монастырь.

Здесь он весь свой век «протек» в беспрестанных заботах о духовном и земном устроении новгородского края, порою даже мертвых подымая на работу по укреплению отчизны, а после собственной кончины еще заповедал ежегодно шестого ноября кормить в обители всех нищих и давать милостыню всякому, кто за нею прибегнет. Однако его «посмертное сотрудничество» с Сергием Радонежским, представленное на иконе, замечательно еще и по другим существенно важнейшим основаниям. Среди них не только то, что он был тезоименит тогдашнему митрополиту московскому Варлааму или, по рассказам летописцев, несколько раз являлся во сне самому великому князю Василию. Здесь в первую голову следует указать на причину весьма насущного житейского свойства: ведь никто иной, как отец Василия Иоанн Третий окончательно присоединил многомятежный Новгород, для чего ему не единожды пришлось ходить к нему — как-никак на родное русское племя — с великою и малою ратью. Но тем не менее вражда в итоге завершилась единением, — и потому-то можно считать прообразовательным указанием на умирение ее, с одной стороны, то, что уже в начальный год своего княжения Иван Третий в «первой церкви на Москве» Рождества Иоанна Предтечи «на бору» у нынешних Боровицких ворот заложил первый же на Москве придельный храм во имя Варлаама Хутынского, а в решительный день царствования его сына именно Варлаама увидали вместе с Сергием «небесным ходатаем» за спасение Москвы от гибели: значит, в народном сознании государственные раскольники не «потягнули» все-таки насадить междоусобную рознь, которая сумела бы пересилить общность по духу.

Но еще более показательно событие, происшедшее в лето вступления на княжеский стол самого Василия Иоанновича именно в новгородском Хутынском монастыре, которое впоследствии описано было в небольшой учительной повести «Видение пономаря Тарасия» и нашло отражение в нескольких замечательных иконах, одна из коих, кстати сказать, обычно находится в Третьяковской галерее среди ее постоянной выставки древнерусской живописи, другая принадлежит ныне музею в Новгороде, а третью вы видите

перед собою воочию на верхней продольной врезке нашего образа.

Сей самый Тарасий зашел однажды в 1505 году за некоторой «потребой» ночью в Спасо-Преображенский главный собор Хутынской обители, да вдруг замечает: на его глазах сами от себя возжигаются все свечи в паникадилах и подсвечниках, и тут — «зрит понамарь зрящима очима, не во сне, но яве» — как из своего векового гроба вновь подымается вживе сам Варлаам, становится перед образом Спасителя на колена и начинает молиться со слезами и великим умилением три часа, пока застывший в благоговейном испуге Тарасий наблюдает все это почтительно сзади. Затем Варлаам встает, подходит к нему и говорит: «Брате Тарасие! взойди на верх церковный и посмотри, каковое наказание грядет на Великий Нов-град!» Тот послушно подымается на крышу и обнаруживает со своей наблюдательной точки «чюдо страшной грозы исполнено»: озеро Ильмень вздыбилось на высоту облаков и повисло над городом, «хотя его потопити». Тарасий в ужасе, «страхом велиим одержим», сбегает внутрь храма и рассказывает Варлааму об увиденном. А тот и отвечает ему на это: вот что должно постигнуть Великий Нов-град «за умножение грех людских всенароднаго множества и за беззаконие и неправды их» — обрушится озеро сверху и смоет с лица земли сквернящий его нечестием и нелюбовным житием город!

И вновь становится на трехчасовую молитву «со умилением и слезами» Варлаам, радея о спасении родины, а потом опять посылает Тарасия посмотреть — не изменилось ли что-нибудь в небесных предначертаниях о судьбе града. Во второй раз подымается наверх Тарасий и видит теперь «множество ангел, стреляющих огненными стрелами яко дождь сильный из тучи на множество народа людского, на мужи и жены и на дети их». Да притом, сколько было всего мужей и жен с детьми — перед всяким из них, включая отрочат и дев, стоял еще и иной ангел-«хранитель», держа книги и читая в них сказанные про каждого по делам его повеления. Который из земнородных оказывался записанным там живым, ангел с радостью помазывал его кисточкой из особого сосуда целебным миром, и тот человек принимал исцеление, становясь вновь здоров от язвы, нанесенной стрелою вестников мщения. Но когда ангел-хранитель видел, что по книгам выжить оберегаемому им не суждено, то в великом унынии отходил он от своего подопечного прочь. «Ужасом и страхом велиим одержим», спустился

назад бедный пономарь, и еще раз вопрошает его Варлаам: что за новое видение явилось ему над Великим Новым Градом? Тарасий же подробно повествует в ответ о бесчисленном воинстве ангелов-мстителей, «стрелы огненны испущающих на всенародное множество людей».

И паки подвигается Варлаам на коленопреклоненное моление, плача и печалуясь о народе, а затем говорит Тарасию: «Брате! Будет пощада новгородцам, и не сотрется град прочь с земли потопом! Но за умножившиеся паче песка морского грехи постигнет виновных казнь, хотя с милостью и сроком на покаяние. Скажи им: на три лета придет великий мор».

И еще долго молится Варлаам, а потом третицею посылает пономаря на церковь посмотреть, что еще видно на небесах. И «трищи» возвращавшийся к нему в «ужасе велице» Тарасий рассказывает, что открылось теперь на облаках видение страшной огненной тучи. Варлаам пояснил и его, сказавши, что через три года по море будет в Великом Новеграде также и другое «посещение» казни в напоминание о неумытном суде: «пожар силен: Торговая страна вся сгорит, и множество людей изгорит», — но от окончательной пагубы люди теперь избавлены. И, поклонившись образам Спасителя и Всех Святых, вошел обратно Варлаам в гроб свой, а свечи и паникадила сами собою загасли.

Впрочем, одна свеча с той поры стала зажигаться на его могильной плите в северном притворе собора как «негасимая». В последнюю войну немцы сильно порушили храм, «об он пол» которого — в приделе Гавриила Архангела по другую сторону главного престола — легли здесь в девятнадцатом веке кости еще одного именитого государственного мужа России, Гавриила Державина. И все же местные жители никогда не забывали о своем основателе, и в темноте покореженных сводов, среди лесов вновь восставляющей храм реставрации, всегда днем и ночью теплится неизменно возобновляемый рукою современных хутынцев огонь непогасающей свечки...

Впечатляющая картина виденной Тарасием над Новгородом космической катастрофы изображена здесь на иконе в верхней продольной доске, где заступление Варлаама за народ представлено столь же зримо, как повествует про попечение о нем Сергия нижняя врезка. Весь Новгород виден как на ладони словно бы с птичьего полета: вот Детинец с храмом святой Софии в нем, в домах подле церквей пируют весело бояре, на Волхове правят свой промысел рыбаки, а

среди Торга ведут обмен и продажу купцы с писарями. В Хутынском монастыре воскресший Варлаам молится за спасение града, а восседающие на облаках сонмы ангелов-отомстителей готовят уже на погибель людскую смертоносные стрелы, вздевая их в тугие тетивы; с другого боку, изгибаясь от земли будто змей, вспучилось и нависло над стенами и башнями громадное Ильмень-озеро, а за ним грядет, струя пламень, огнедышащая туча...

Но время уже возвратиться к окончанию главного действа, представленного на среднике.

...И вот у самого Лобного места два великих печальника за Русскую землю сошлись с покидающим Кремль светлым сонмом. Как по согласию, пали они им в ноги и стали уговаривать со слезами, увещая: «О благие пастыри словесных овец, чего ради исходите вы из града сего и куда уклоняетесь и кому оставляете стадо ваше в настоящую сию годину варварского нашествия?..»

Святители же встречные тоже со слезами отвечали им: мы уже многое множество молитв приложили об убавлении предлежащей скорби, а в ответ получили повеление не только изыти вон из города, но и чудотворный Владимирский образ изнесть с собою, потому что люди совесть и душу свою презрели и о заповедях отцов не радят — за то и попущен на них свирепый варварский язык даже до сих мест, да получат надлежащее им наказание и вразумятся.

Двоица преподобных, Сергий и Варлаам, стали тогда еще прилежнее умолять их и с плачем просили: «О вы, святые святители! Еще в земной будучи жизни, души свои полагали вы о пастве вашей, — ныне ли в настоящей скорби оставить хотите тех, кого видите перед собою ходящих сетуя о прошлых винах своих и на стезю покаяния обращающихся? Молим вас, отцы, не презрите нашей просьбы, не оставляйте покорного вашему пастырскому жезлу словесного стада! Настало благоспешное время притечь ему на помощь и усугубить, утроить моление свое за спасение вкупе их душ и телес. Уповаем, что непременно возможно нам с вами умолить об отвращении движимого на них законного гнева и претворении его на благодать, когда люди и сами подвиглись сердцем неправоту свою исправлять...» И много еще говорили они с ними о настоящих суровейших временах, называя друг друга по имени...

Наконец все единою душою согласились совершить новое общее моление-литию, распевая умиленно каноны, читая Евангелие и по чину произнося прошения; троекратно

проглаголали слезную молитву перед чудотворным Владимирским образом, в должный срок возгласили положенный отпуст, осенили башню и стены крестом, покадили благоуханием, благословляя, все стороны света, — и великий собор вновь со всею святынею возвратился внутрь града Кремля.

Зрелище это от начала до конца наблюдали прозревшая полностью старица-инокиня вкупе с другими очевидицами из своих различных укрытых мест; потом вознесенская черница опять очутилась в своей келье и прожила еще два года здоровая и совершенно зрячая, поведав о видении духовному своему отцу Давыду, игумену монастыря Николы Старого на Никольской улице Китай-города.

...А хан Махмет-Гирей, проведя две недели в грабежах окрестностей слабо защищенного города, уже решился идти на него приступом и для начала выслал из своей ставки в пятнадцати верстах от Кремля близ Угрешского монастыря — который и доныне стоит сразу за кольцевой дорогой у Москвы-реки — «скороустремительный» отряд зажечь посады. Но прискакавшие к столице татары неожиданно углядели перед собою «полны поля бесчисленнаго множества Русскаго воинства». На басурман напал «великий страх», и они, прибежавши назад «трепетни», доложили своему царю об увиденном. Тот, однако, им не поверил и, напротив, разъярился, решив, что они попросту испугались; обозвав незадачливых мурз «страшливыми», он послал взамен них другой больший полк зажигателей. Но и он, подошедши к посаду, наткнулся на супротивное войско, да еще вдвое людное и, «многою боязнию одержим», поехал вспять с рассказом про то, что русское воинство стоит уже по обе стороны города. Царь впал тогда в недоумение, так как наверняка знал от множества полонянников, что большому войску великого князя столь скоро собраться к Москве было попросту неоткуда, и тогда он в третий решительный раз отправил одного из своих приближенных проверить невероятные вести, принесенные прежними гонцами. Тот, «борзо шедше», узрел тогда доподлинно неиссчетное число московских людей, потрясающих оружием в руках; он примчался обратно, трепеща и вопия: «О царю! Что коснишь-медлишь! Побежим быстрейше, не знаю, можем ли только уже утечь: свирепоустремительно грядет по нас безмерное множество войска от города!»

Тут великий испуг овладел уже всеми татарами во главе с самим ханом, и они бросились наутек, на ходу подгоняя

друг друга словами: «Бежите скоро! бежите и не медлите! се бо Русь яростию дышуще женут по нас, хотяще достигнути и побити!» И в таком ужасе примчались они восвояси, что даже по пути загнали все стада и рабов за Перекоп в осаду, которой неминуемо ждали от увиденной ими могущественной рати, несущей меч праведного возмездия.

...Василий Третий уже двадцать первого августа смог вернуться в уцелевшую столицу, а его супостата Махмет-Гирея тем часом поджидала конечная гибель: по миновении всего лишь года после набега его собственные союзники-ногайцы, которых он стал предпочитать родным крымцам, в благодарность за ласку расправились с ним так, что круче нельзя, причем по лукавой указке судьбы одного верховода убийц звали Мамаем.

Обратите, однако, внимание на некоторую непонятную сначала странную особенность нашего «учительного» образа: здесь есть Кремль со Спасскою башней в центре, вокруг него густо уставлены цепи градов и храмов, видны даже легко угадываемые Ока, плавно текущая на полдень, и Двина, покойно несущая чистую воду в Белое море; посреди всего этого Сергий с Варлаамом, земно кланяясь, беседуют с собором выходящих из ворот в стене праведников с Владимирской в руках — но тут напрочь отсутствуют изображения татар и каких-либо иных врагов или природных бедствий. Все они остались в двух внешних врезках — Сергиевской с Куликовым побоищем внизу и Варлаамовой с повестью Тарасия сверху.

Конечно, мастер шестнадцатого столетия, представитель того высоко-обобщающего символического реализма в искусстве, каким всегда предстает подлинная средневековая иконопись, не мог по одной лишь собственной прихоти убрать все это вовсе из поля зрения: тут нужен был весьма веский повод. Что же была тому за причина?..

Главная мысль средника, да и всей иконы в целом — образ града-крепости, охраняющей нашу землю, даже, может быть, видение всей Русской державы в качестве единого крепкого города: прообраз духовной силы народа. Помните, я приводил уже завет Павла Тарсянина о том, что стоит только начать самоуспокаиваться, полагая, что кругом установились «мир и безопасность» — и тут как тут из-за спины надвигается злейшая всех прежних гибель? А вот каково его окончание: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью (здесь одна из

девушек испуганно вздрогнула: ей почудилось, что чересчур уж убедительно произносимые слова метят не только в прошлое). Мы же будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения».

Идея о том, что на переломном рубеже, когда решался вопрос: быть или не быть Руси подлинно великой державой — спасла ее имено нравственная крепость и единение, забота о том, чтобы град чистой души человеческой остался навсегда целым и неповрежденным, выражена здесь с крайним напряжением, ибо был чрезвычайно основательный повод оставить об этом неизгладимую память потомкам.

Дело в том, что при отце Василия Третьего Иване Васильевиче на Руси завелась принесенная из чужой стороны раскольническая душевная порча, грозившая со временем или обезобразить и погубить всю страну, или просто отдать ее еще раньше этого беззащитною в руки любого неприятеля. Как то ни удивительно, но лучше всего ее внутреннюю суть может объяснить одно происшествие из жизни все того же Варлаама Хутынского, случившееся вроде бы за многие сотни лет до 1521 года и ничего внешне общего с ней как будто бы не имеющее.

...Однажды его вызвал как-то к себе в архиепископские палаты новгородский владыка. Было это в разгаре лета, около Петрова поста. Варлаам, дав согласие прибыть в гости, оговорил, однако, что приедет он не иначе как на... санях! Сколь то ни было невероятно, но, как водится в добрых сказаниях, так оно по его слову и произошло: прямо посередине июля вобыден выпали могучие снеги, покрыв всю почву на несколько вершков, и Варлаам-таки исполнил предсказанное, посетив своего архиепископа на салазках. Да сказка не всегда подруга жизни: сбывшееся пророчество известности хутынскому игумену уже не могло прибавить, зато грозило начисто уничтожить урожай, что сулило жесточайший голод для всей земли. На злосчастного прорицателя посыпались как будто справедливые покоры в том, что он ненароком ради вящей славы своей накликал гибель тысячам простых людей.

Тогда нисколько не смущенный этими толками Варлаам послал человека выкопать один какой-нибудь злак — и тут обнаружилось, что все корни его прямо-таки кипят омерзительными красными червями. Голод, таким образом, близился не снаружи, а шел невидимо изнутри и с помощью неожиданного мороза был он как раз отведен — мерзкие тва-

ри погибли от холода, и поля в тот год изобиловали плодами...

То, что здесь поведано через иносказательную притчу, въяве случилось на Руси четыре столетия спустя; и началась эта подспудная пагуба точно в тот год правления Ивана Третьего, когда летописец повел счет полувековым зловещим знамениям природы.

Некий крымский «выходец» — который даже и для той стороны был не коренным поселенцем, а захожим промышленником, — пришед через Киев в Новгород, занес с собой тайное душевредное учение, смысл коего состоял в возвращении к ветхозаветным предрассудкам; всей своей сутью стремилось оно повернуть просвещение Руси вспять — будто, натужившись, можно своротить саму Волгу с пути истинного и послать ее воды затоплять берега назад вплоть до истоков! Нисколько не была эта ересь — как бы ни старалась она подделаться — ни научным мировоззрением, ибо подымала на щит давно разоблаченные и умершие суеверия; ни учением, раскрепощающим средства художественного выражения, поскольку «освобождала» разве от совести, коли сторонники ее скрытно занимались надругательством над книгами, топили иконы в отхожих местах и хулили, как могли, русских деятелей и героев прошлого; ни «демократическим» движением, так как в первую голову старалась оплести «корень» власти — князей, бояр, служилых дьяков и духовенство. Но ласкалась она ко всем осторожно, предписывая открыто не херить все, что составляло символ веры русского человека в тот век, а совращать тихою сапой, помаленьку да наедине. Пример в том подал первый ересиарх-заразитель: пошатнувши умы новгородской верхушки, он поскорее убрался восвояси, а потом и совсем пропал, будто концы в воду спрятал, так что вот уже пятьсот лет как историки не могут отыскать — куда же сей «просветитель» в итоге поделся.

За это свое коварство и подлую скрытность в растлении душ ересь получила в народе самое проклятое в веках имя — называлась она всеми «иудиной». Но дух злобы и лицемерия, ищущий все на свете извратить и вывернуть наизнанку, был чрезвычайно хитер и увертлив, доказательством чему служит хотя бы то, что изгубившие свою совесть подражатели иноземца, в которых, коротко говоря, жил того же сорта яд, что и во всех раскольниках последующих времен, коим были они истинные родоначальники, — потаенно копая ходы, сумели протянуть свою паучину вплоть до

великокняжеского престола, заморочив Ивана Третьего и лестью убедив снисходительно потакать их ложному мудрованию, а в подходящий час сумели даже и на митрополичий престол посадить покорного чужебесию выученика...

Русь оказалась опутанной липкою сетью этих словесных червяков чрезвычайно плотно, и ей стоило страшного напряжения всех накопленных за шестьсот лет просвещения и роста сил, чтобы противостать подлому мороку. Только благодаря соединенному рвению двух самых образованных и светлых умов эпохи — Иосифа Волоцкого и Нила Сорского — удалось своротить рог навязчивому безумию и справиться с погубительным бредом. Произошло это всего за год до смерти Ивана Васильевича, свободным хотением или нет — все почти княжение свое мирволившего растлителям умов и сердец. Но в отличие от отца, передавшего даже было на время по их наущению наследство стола внуку по первой жене, также совращенному в суеверие матерью своей Еленой Волошанкой, — Василий Третий всегда твердо противился соблазнителям, и в его царствование последние выходки их были пресечены тяжелой властной рукою продолжателя собирания земли Русской вокруг Кремля. Эта-то духовная крепость, обретенная в борьбе с невиданной доселе подспудной заразой, и дала внутренние силы выстоять против, казалось бы, уже победившего внешнего врага — вот в чем глубинный смысл нашей «приточной» иконы.

С той самой поры на надвратном образе Фроловской башни были дописаны припавшие к ногам Спасителя Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский, а врата начали величать «Спасскими». Чудесные события, связанные с отражением нашествия Махмет-Гирея, были рассказаны и «расцвечены» миниатюрами в прославленном Лицевом летописном своде первой, счастливой половины царствования Ивана Грозного, откуда, вероятно, и черпал знание подробностей, запечатленных очевидцем, создатель этого «учительного» образа — написанного, по всей видимости, в Макарьевских митрополичьих мастерских почти тогда же, когда и знаменитое изображение «Церкви воинствующей», украшающее теперь Третьяковку, первоначально же висевшее подле царского места в Успенском соборе, а позже в Мироваренной кремлевской палате и представляющее наглядно победоносное шествие Русского государства к зримому символу высшей правды — тому, что великий потомок безвестного иконописца Николай Гоголь назовет прочнейшим всех прочих «градом Верховной вечной красоты...».

* * *

Пространная сверх всякого ожидания повесть немного утомила вовсе не чаявших услыхать ненароком целое сказание величиною с небольшой роман девушек; в середине их несколько сморило от истомной усталости, порожденной вчерашним мотовством, — но ближе к развязке они уже не скрывали вновь возросшего любопытства о том, чем же вся эта долгая история завершится. Слушательницы добросовестно постарались запомнить ее главные ходы, чтобы завтра не ударить лицом в грязь перед жаждавшими нагрянуть сюда посетителями, — и уж конечно на прощанье всячески благодарили вдохновенного рассказчика, разглядывая теперь этого молодца гораздо пристальней, чем вначале: сейчас он представился им даже замечательно видным мужчиной, с саженными могучими плечами и крепким станом, а необычные крупные кудри делали почти прекрасным его немного, впрочем, пугавшее чересчур волевыми чертами лицо.

Расставшись с ним как бы в полусне, они поспешили в буфет закусить чем-нибудь поднявшийся внезапно голод и запить мучительную жажду крепким «двойным» кофе, а потом и вовсе выбрели прочь из помещений на свежий воздух прогуляться по переулкам, благо понедельничный день нестрогий и считается как бы полуприсутственным-полувольным.

Нину, однако, тревожило еще какое-то крайне смутное воспоминание о том, будто она где-то уже встречала этого странного повествователя, и наконец она все же решилась, несмотря на понимающе-лукавые улыбки своих спутниц, вернуться на минутку в зал и спросить об этом его самого. Но когда она вновь зашла туда, на своем законном месте восседала опять могучая тетя Устя, преданная вдохновенному вывязыванью вечного и нескончаемого чулка.

— Ой, не выдавай ты только меня ради всех святых! — взмолилась она, узнав, кого требовалось видеть Нине. — Я и фамилии-то его не знаю, помню только в лицо, что наш, потому как будто в Дэ-эр-жэ служит (так на третьяковском местном наречии кратко именовался отдел древнерусской живописи). А тут, понимаешь, в «Бакуре» на Пятницкой сервелат финский обрезанный в пакетиках без нормы давали — я и пошла всем своим внукам купить по гостинцу: когда ж еще без очередей этих заезжих, будь они трикраты неладны, достанешь потом чего толком и вдоволь? — посетовала она походя, запамятовав, что и сама-то всего без го-

ду неделя москвичка, на ни в чем не повинных бывших своих собратий. — Ну, я его и спросила чуток подменить меня, всего-то на часик с полчасиком, сегодня ведь все равно только сотрудники в галерейке находятся и все свои. Боже ж ты мой, нешто он натворил чего, злодей, и дирекции на глаза попался?!

Нина успокоила ее тревогу, рассеяв опасения о возможных «безобразиях», но сама не на шутку расстроилась, так как ей прямо уже невтерпеж стало разузнать поподробнее, что это за неведомый знаток только что занимал их не краткой отнюдь беседой, да тут и растворился как будто в воздухе...

Между тем уверенность, что она его где-то мельком видала, и даже не один раз, все более крепла в ее сознании, и недоумение продолжало расти — но разгадки или иного исхода ему найти никак не удавалось. Она положила тогда терпеливо обождать до завтра, зайти поутру к девчонкам прямо в само логово Дэ-эр-жэ да стороною и разведать там досконально про замечательного знакомого незнакомца, — благо мужики ныне в Третьяковке в существенном меньшинстве: хотя и не наперечет, но тем не менее как на ладони, спрятаться некуда.

И все же ближайшему и такому на вид простому ее намерению не суждено было сбыться: жребий распорядился иначе и со следующего же дня всех троих подружек-однокурсниц перевели на подкрепление в Бабий городок, определив к бесконечно протягновенному строению на берегу Москвы-реки, запросто именуемому Новою Третьяковкой, а официально титулующемуся Центральным Домом художника — что не совсем благозвучно сокращается в свой черед до Цэ-Дэ-ху.

Там они состояли при других выставках всю олимпийскую страду, а потом мановением пера высокой администрации остались работать насовсем. Когда же лихорадочные дни страстей и соревнований окончательно минули, а столица вновь наполнилась миллионами обычных приезжан, Нина вспомнила про первое утро и его главное действующее лицо благодаря тому, что под занавес всем им выдали по красочному каталогу только что разобранной экспозиции по истории Москвы. Но к своему крайнему удивлению, той самой запомнившейся ей накрепко учительной иконы она в нем не обнаружила. Впрочем, там пропустили не одну ее, аккуратно внеся зато кое-что явно отсутствовавшее на стенах. Она справилась тогда еще о ней у сотрудниц-дэержи-

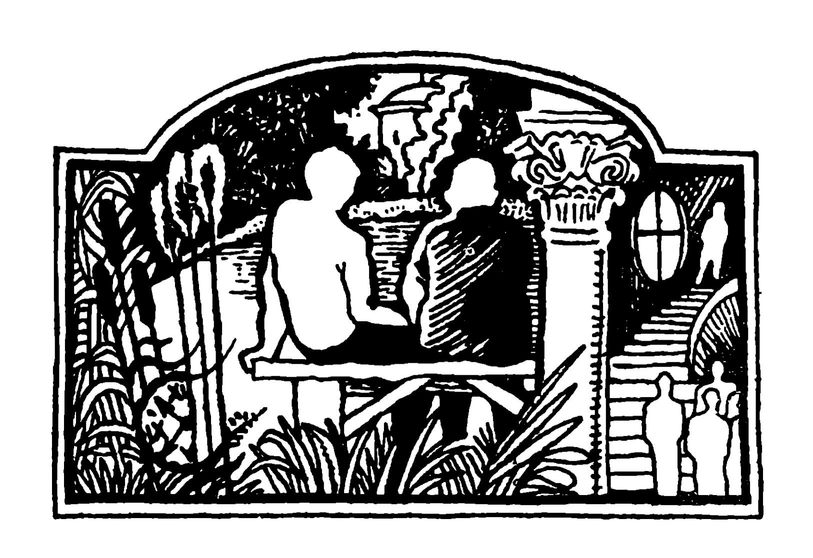
сток, зашедших к ним в гости на сербский «вернижас», — и те все, как одна, что-то как будто действительно смутно знали про изложенный им Ниною вкратце заковыристый сюжет, но в точности припомнить постоянное местонахождение оригинала не смогли, как не умели и объяснить ей, кто же таков был по имени привезший загадочный образ таинственный сопровождающий. Однако беспамятность и безалаберность наши отнюдь не являются чем-то сверхъестественным и будь одни только они героями развязки, мы не имели бы ни малейшего повода называть этот рассказ «сказанием», ибо столь ответственное слово неотступно требует обязательного присутствия хотя бы частицы чего-то необычайного.

...Но вот однажды Нина как-то забрела в старую свою галерею — куда ей идти в общем-то было пешком ровным счетом двадцать минут, но все что-то ноги не несли чуть ли не полгода; здесь все оказалось уже переставлено, перевешано и сдвинуто при возвращении картин на места. Завернув резко за угол в одном из залов нижнего яруса, она вдруг сдавленно ойкнула, потому что лицом к лицу наскочила на того самого летнего своего вожатого — но только голова его была будто бы каменная, а туловище и вовсе отсутствовало!..

Отойдя немного от внезапного испуга, она удостоверилась в увиденном уже поспокойнее, но и тогда все вышло на поверку воистину именно таким, каким представилось ей в первую минуту. Разъяснение же, и очень точное, она легко получила сама, прочитав помещенную на уровне пояса табличку с короткой надписью: «В. Ермолин. Георгий Победоносец. Фрагмент скульптуры Фроловской (Спасской) башни». И тут она наконец разобрала, отчего ей мерещилось, что она на самом деле чуть ли не десять раз на дню скользила когда-то взором по этому полузнакомому лицу, — не считая уже того, что наверняка «проходила» его еще в университете по курсу древнерусского искусства. Правильность догадки подтвердили в Дэ-эр-жэ, добавив еще, что вся фигура была сильно разбита в тридцатые годы при переносе из Вознесенского монастыря и до сих пор терпеливо ожидает реставрации в запасниках; но на счет ее смутного недоумения о том будто, что она могла где-то еще видеть все это целым и чуть ли не живым, понимающе усмехнувшись, высказали предположение, что нигде кроме, как в последней работе искусствоведа Вагнера.

Благосклонный читатель, по крайней мере в подавляю-

щем, своем большинстве, владеет исключительным и неотъемлемым правом свободно поверить этому последнему толкованию, назвав Нину обладательницей богатого художественного воображения, — и это высокое преимущество сам автор, записавший всю подлинную историю с ее собственных слов, ничуть не ищет у него отнять. Но все же — все же, рассуждая логически, по справедливости следует хотя бы небольшую долю вероятия дать и Нининому мнению на сей счет; тем более что какая же, скажите на милость, сказка, даром что современная, может быть лишена одной пусть даже возможности волшебного конца?



НИКОЛО-БЕСТУЖЕВО

Катерок на подводных крыльях лихо подвернул к причалу и на мгновение застыл, так что тянувшаяся за ним волна наконец успела догнать его и радостно захлюпала под бортами. Пресноводному матросу, стеснявшемуся своего затерянного в самом хвосте гордого морского сословия ремесла, лень было подымать суету со спуском трапа ради одного-единственного выходящего на берег пассажира на глазах у многочисленных путешественников, с которыми он только что равноправно бездельничал, рассматривая услужливо сменявшиеся по сторонам картины, — и он сделал вид, будто всецело погружен в куда более существенные умственные заботы. Оставленный без помощи молодой человек, впрочем, нисколько подобным невниманием не оскорбился, легко соскакнул с палубы прямо на землю и был таков; а суденышко, отдышавшись, опять взревело как сатана и ретиво ушмыгнуло, торопясь на пляж в бухте Радости.

Вновь прибывший надеялся у первого же встречного узнать поточнее дорогу в усадьбу-санаторий Марфино, куда он предпринял одинокую воскресную прогулку, но, на беду, во всем окоеме, распахнутом под июльским просторным небом настежь, не видать было ни души. Тогда он побеседовал поневоле со своим внутренним «я», наскоро

обсудив различные соображения о том, в каком направлении вероятнее всего следует двигаться, и, не откладывая, тронулся вперед по прерывистой, то пропадавшей, то расплывавшейся вширь тропинке поперек картофельного поля.

Неожиданное воспоминание о спрятанном внутри на крайний случай собственном спутнике понравилось его склонному к легким духовным авантюрам уму, и он положил тогда за правило попытаться сегодня целиком в него перевоплотиться, соблюдая новооткрытые правила игры сколь возможно долго и даже заменив личное имя на перекатное прозвище со строчной, не прописной буквы — прохожий. Ну и, соответственно, поступать решил только как заинтересованный в красоте мира наблюдатель, а вовсе не действующее лицо: в конце концов выходной есть выходной, когда можно, выйдя праздно из дому, позволить выйти немножко и из себя, чтобы посмотреть на белый свет со стороны.

Докатившись крадучись до соснового бора, дорожка в его тени перестала притворяться да прятаться, безбоязненно превратившись в глубокую торную тропу, уложенную по краям мягкой обочиной из бессчетных слоев сухих вилок-иголок. Прохожий, подчиняясь древнему обычаю лесовых путников, подобрал ветку покрепче и, обломав боковые сучья, на ходу превратил ее в дорожный посох, которым принялся легонько проверять на отзвук стебли растений и деревьев в пределах досягаемости.

Вскоре тропинка, казалось, уже недвусмысленно верно направившаяся к избранной цели, лукаво выгнулась дугою, сделала ложный крюк и беспечного ходока, приготовившегося вплотную потолковать наедине с теплым лесом о тайнах естества, выпихнула прямо к голой вытоптанной площадке, где чортова дюжина обнаженных здоровяков яростно колотила с визгом летавший по воздуху мяч. Прохожий понял, что его обманули — да так, что и пожаловаться-то некому, — и заметался в поисках утраченного продолжения, кляня неопасливую свою доверчивость; но еще два или три раза натыкался на загородки для спорта, прежде чем сумел поймать улепетнувший из-под ног путь.

Отдышавшись на ровном шаге от пережитых треволнений, он теперь понудил себя прилежнее вглядываться в снова обезлюдевшее пространство под высоким потолком из светящихся крон, стараясь больше не попадать впросак в наказание за потерю бдительности к хитросплетениям обидчивой, ревнивой ко вниманию немой природы.

Прозрачные сквозные мысли, подобно порывам дыхания облаков, шелестевшим в подвижных капителях обставших его кругом живых колонн, плавно струились в сознании, вошедшем в лад с походкой. Проплыл мимо час, за ним другой, и ни одна из этих мыслей так и не сумела, зацепившись за что-нибудь, остановиться. Не было даже охоты начать беспокоиться, что пора все-таки показаться хоть какому-то жилью вдоль лесной дороги, изловчившейся надежно спрятаться в исхоженном напропалую тысячами ног и лет Подмосковье, — настолько приворожительным, затягивающим и успокаивающим душу представлялось погружение в незатесненное сосновое море.

За простое скопление древес, разве чуть более густое, чем везде, он и принял сначала то здание. Лишь наскочивши на него почти что лбом, прохожий удивленно застыл: перед ним, вплотную окольцованный вымахавшими на голову выше его деревьями, стоял заброшенный храм в виде креста с круглой раскрытой беседкой на месте главы и покривившимся шестом наверху.

Поперек схваченных каркасом из чугунных полос дубовых дверей зацепился вросший в них насмерть пудовый замок; впереди стен наподобие крепостного рва тянулась подковою глубокая не то лужа, не то канава, не позволявшая подойти ближе и заглянуть внутрь сквозь решетки в слепые бельма выколотых окон. А с тыла, прямо за абсидой алтаря, подступ охранял еще частокол из дружно покосившихся на восход могильных памятников, растративших все свои надписи; не обнаружив ни одной из них целиком или в таком отрывке, который позволил бы догадаться о фамилии погребенного, прохожий усмехнулся случайному отклику безгласного вещества на его сегодняшнюю блажь — коли уж человек не желает называть свое имя, то и окружающий мир платит ему той же монетой, стертой с орла и решки до голой лысины.

Справедливо рассудив, что не может же такое, пусть и заброшенное теперь, строение завестись посередь бора само по себе, прохожий принялся вперивать взгляд во все концы, но нигде не заметил ни забора, ни столба или крыши, ни какого-либо иного признака человеческого присутствия. Тогда он, присев на корточки, стал присматриваться подробнее вновь, сменив точку зрения, и тут обратил внимание на россыпь карликового роста ромашек с подбитыми розовым исподом лепестками, пестревших в прорехах вытоптанного стихиями ковра прореженной травы. Ему не

сразу удалось вспомнить, где он встречал еще эту породу искусственно выведенных цветов, но как только память поднесла, помучив, разгадку — под Дрезденом, в парке бывшего загородного замка саксонских королей, где их сестрами усыпаны бесчисленные ровно подстриженные лужайки... — как искомый ключ был тотчас обретен. Он медленно направился к западу от церкви, идя от цветка к цветку, и шагах в семистах от нее красноречивые растения вывели его, словно предатель-перебежчик неприятельского соглядатая подземным ходом в осажденную крепость, на обширную поляну. Посреди нее была разбита наполненная ромашками через край регулярная клубма с выложенным в центре из кровавых сальвий катящимся солярным знаком, — а за нею возвышался небольшой дворец-краб в духе елизаветинского веселого барокко с двумя флигельками-клешнями настороже по бокам. Совершенная тишина, вдруг ставшая подчеркнуто заметной, и лукавое солнечное сияние, лучом, будто перстом, указывавшее на загадку, дополняли внезапную сказочность зрелища.

Пораженный путник осторожной ногой, некстати хрустнувшей мелкими камешками дорожки-лабиринта, писавшего волюты по цветнику, подбрел поближе, и, хотя с невеликого расстояния сделалось явно, что последовательно накатывавшие зимы не раз попробовали на зуб сей занесенный неведомой прихотью в полуночные палестины маленький Версаль, облущив бирюзовую краску и искрошив самые смелые завитки лепного узора, — впечатление великолепной неподлинности от этого лишь усилилось.

В довершение всего, блуждая взором по томно-витым перилам парадного балкона, повисшего на расписанных под мрамор колоннах, он чуть было не сшиб спрятавшееся в его тени детское креслице-качалку, в котором баюкала себя крохотная старушка в черешневом чепце, зашивая золотой иглой какую-то блеклую тряпичку.

Охнув и от собственного голоса опомнившись, прохожий поспешил извиниться и сразу без обиняков задал прямой вопрос: что здесь такое делается?

— Ничего, — спокойно обронила дряхлая швея, поглядев сквозь него с превеликим участием, и вернулась к своему микроскопическому занятию.

Прохожий немного осмелел и принялся бродить вдоль здания, изучая его по частям, щурясь на стекла, хитрым образом испускавшие ослепляющий отраженный свет вместо того, чтобы предъявлять содержимое, и пытался неза-

метно отыскать вход. Старая ключница, должно быть, наблюдала эти его ухаживания за домом краем глаза, но не проявила при том никакого поползновения ни отогнать его прочь, ни помочь.

Тогда прохожий как бы невзначай завернул за угол на задний двор и там, наконец, на радость себе, обнаружил вожделенный, хотя и запретный лаз: в одном из оконных проемов была выставлена рама. Вороватo оглянувшись, он забросил за спину холщовую, удобную в носке дорожную суму и, беззвучно подпрыгнув, ловко вскарабкался на подоконье, откуда было уже рукою подать до загадочной внутренности.

Гирлянда комнат нижнего этажа, нанизанная на плутавший прихотливой извилиной коридор, на самом деле оказалась опустошена до непристойной наготы и мало что могла объяснить пытливому пришельцу. Поэтому он не стал здесь задерживаться и поспешил на более обещавший верх, куда вела сужавшаяся клином, подстегивая перспективу, покатая лестница со стоптанными до костей гранитными ступенями.

Поднявшись до половины, пролаз оторвал взгляд от матово мерцавшей на сколах каменной зерни, переведя его вперед — и тотчас сердце у него всполошенно екнуло: наверху, засунув в карманы мехового халата кулаки, возвышался смотревший на него в упор монументальный лысый загорелый мужчина, мощью боков и общей шарообразностью облика напоминавший китайского божка благополучия. Деваться уже было некуда, и, как медленно ни старался ступать пойманный с поличным лазутчик, он вскоре подошел к нему вплотную и вынужденно поздоровался.

— Ну-ну, пожалуйте, я уж давно за вами... слежу, — начальническим говорком приветствовал его неведомый хозяин и пригласил следовать за собой. Вблизи он превратился в невысокого и довольно-таки пожилого старика: как только они двинулись в глубь залы, из которой вытекала парадная лестница, мелкий осторожный шажок выдал тело, до того неподвижно застывшее в воображаемой точке схода перил и оттого казавшееся величественным и лишенным возраста.

— Вот подивитесь-ка, — указал он, подведя изловленного разведчика к овальному окну-экрану, прорезанному в толще фасада, — отсюда все подступы просматриваются за милю.

Прохожий проследил глазами в указанном направлении и охотно согласился.

— Здесь до недавних пор отделение для хроников районной больницы гнездилось, — запросто разрушил нечаянно возникшее ненадолго очарование тайны старик. — Потом ей надоело латать прорехи и топить корпуса летом, она и выбралась вон, а я остался тут вдвоем с той дамой, которую вы тщетно пытались лишить радости уединенного вышивания, на правах сторожей, точней — охранителей, потому что сторожу платят, а нам с нею нет, лишь позволено проживать внутри на подножном корму, ну и, конечно, на собственную пенсию.

Разговорчивый страж взялся проводить прохожего по дому, посоветовав только не торопиться сверх разумной меры, а также испросив позволения взять его для остойчивости под руку, — и принялся походя излагать в отрывках незамысловатую историю местечка.

— Это все называется Николо-Бестужевым. Когда-то, веков пять назад, прапредок их получил здесь землю от великого князя за некоторые услуги касательно ордынцев, поселился на отрубе один-одинешенек и никого, даже крестьян ради прокормления по тогдашнему обычаю, на дух к себе не подпускал, да лес тоже заповедал изводить. Эдак и проторчал бы он сиднем весь отмеренный срок, когда бы не словоохотливый человек, пустивший в округе байку, что, дескать, сей самый отставной витязь снюхался с лукавым, а потому и отгородился от крещеного люда — «бес его тужит», или, по-славянски, «стужает», то есть мучит-корежит — вот оттель будто бы и проистекло фамильное прозвище. Правда ли то было, либо надоело хозяину с молвой народной пререкаться, но взял он и поставил, чтобы пресечь ее наконец, через дорогу церковь — не ту, коло которой вы намедни крутились, а ее, скажем, бабушку. Но село все-таки селить заказал. После него имение надолго в роду не закрепилось, и кто за него потом ни подержался: в семнадцатом столетии Трубецкие, в осьмнадцатом Прозоровские, за ними Румянцевы, у которых откупил его век спустя известный некогда Кноп — уж не ведаю, говорит ли что кому-нибудь ныне та фамилия. А под занавес — на посошок, так сказать — по недоведомой для нас прихоти судьбины оно вернулось на миг в бестужевский род, но не тот графский-рюминский, а несколько похудее — простой дворянский. Сам отец последнего-то владельца основал коннозаводство, чем питал се-

мейство и растил сына, призванного против желания в пятнадцатом году в гвардию и уже не возвратившегося вспять. Тут и вся недолга... А папашечка-то их с горя предоставили господский дом под лазарет для Земгора. Не подумайте, впрочем, что последнее есть сокращение под стать нынешним от Змея Горыныча, это был почтеннейший союз, объединявший земские и городские комитеты.

— Знаю-знаю, спасибо, не трудитесь объяснять, — остановил его пристальным образом слушавший попутчик.

В продолжение рассказа они успели пересечь главную залу и, прошествовав через пролом, из коего чья-то могучая злая рука выдернула с мясом двери, проникли в длинную комнату наподобие столовой, на потолке которой еще вполне сносно сохранились написанные маслом сцены из полуодетой заоблачной жизни олимпийских богов и божат.

— Здесь земство разместило палату для офицеров, — показал щедрой рукою провожатый, — я еще был совершенным юнцом, когда ее торжественно освящали, но помню вполне свежо. А что это были за раненые: все как на подбор Георгиевские кавалеры, дворяне и — заметьте — все почти поголовно заговорщики. То есть даже революционеры, но не октября, а февраля, понимаете? Земцы воспользовались позволением развернуть работы в тылу на помощь армии и раскрутили по всей империи прямо-таки бешеную деятельность, по внешности благотворительную или там промышленную, а на самом-то деле вовсю готовили и сумели все же провернуть свержение монархии — прошедшее, согласитесь, безболезненно и бескровно: ее, как известно, никто не поддержал из знати и благородного сословия, не говоря уж об иных.

На первом этаже располагались палаты для нижних чинов, куда к ним те из верхних, кто поправлялись и начинали ходить, спускались агитировать за парламент, за кадетов и ответственное министерство. А однажды на подмогу для демонстрации нас посетила целая группа доподлинных думцев и — представьте себе — Шульгин вел под ручку Керенского, вот как вы сегодня меня. То-то!..

Он, вероятно, и не подозревал, что попал прямо в жилу, найдя в пришедшем благодарнейшего слушателя, много и упорно изучавшего по книгам и фотографиям как раз два этих неполных десятилетия; потому-то тот теперь и раскрыл навстречу легко текущему повествованию всю душу, стремясь уловить в нем вместе с неизвестными сведениями и самый дух начала века.

Заведя до упора вправо, старик повернул и повлек его за собою в другое крыло здания, представлявшего сейчас единственный в своем роде музей, где начисто отсутствовали экспонаты, и воображение экскурсанта приглашалось само населить голые стены тысячами предметов и лиц, утонувших плотью в реке времени. Речистый свидетель событий меж тем, словно уравновешивая медлительность движения, все быстрее сыпал происшествиями, фамилиями и датами, для прохожего на глазах из засохших куколок превращавшимися в опасно-живые и до неприличия, панибратски близкие. От безудержного обилия их он наконец совершенно ошалел, ибо стоило только упомянуть кого-то из перешедших из бытия в энциклопедию деятелей, как он тотчас вызывался по имени и в одной или двух подробностях восставал из гроба со сверхъестественной наглядностью призрака, оказываясь то родичем, то действовавшим по соседству комиссаром Временного правительства, а то и соперником на ристалище дяди или сводного брата здешнего владельца, о котором удивительный сторож — чей род еще с крепостных годов, по его словам, служил у Бестужевых в управляющих — ведал решительно всю подноготную.

— А вот тут мы, изодрав на радостях портрет Николая, устроили клуб и раздавали в марте красные банты, — сказал в крайнем слева сводчатом помещении кладезь-проводник и неожиданно замолк, не то исчерпавшись, не то наскучив воспоминаниями. В углу комнаты зиял глубокий пролом, куда была спущена вниз крутая стремянка; сквозь разбитые стекла окна, выходившего в сторону, противоположную той, с которой пришел прохожий, виднелся пейзажный парк с прудом, как глубокая зажившая рана кольцевым рубцом, густо обросшим по кругу мясистой плотью оранжевых кустов, а позади торчала псевдоготическая башня и еще какое-то непонятное треугольное сооружение.

— Простите, вас как зовут самого-то? — запоздало осведомился пришелец, на что сторож, внезапно будто чем-то обидевшись, надулся как сом и буркнул:

— Двадцатый век.

Не успел, однако, прохожий заняться всерьез испуганным соображением — не умалишенный ли безумец морочил его битый час, пользуясь дурацкой доверчивостью, как старик столь же стремительно расплылся в хитрованной улыбке и пояснил:

— Родился я первого января девятьсот первого — прав-

да, по старому еще календарю, — ну и прозвали меня так еще в гимназии.

Он издал очередь очень высоких клекотов, своего рода сильно состарившийся раскатистый хохот, и вымолвил на прощанье:

— Идите, погуляйте по аллеям, вон в грот загляните или к пруду. Развейтесь, а то я тут наговорил сорок бочек арестантов, вещь, безусловно, неполезную — вам разбередил воображение, а себе обеспечил верную бессонницу на ночь и в отместку за нее позорную сыпучку на весь следующий день. Прошу покорно простить — до свидания!..

Хотя в последних словах не содержалось ничего особенно оскорбительного, юноша вдруг вспыхнул, словно его ударили наотмашь по лицу, и, пробормотав невнятную благодарность, выкатился вон из порожнего, заселенного на миг привидениями и вновь опустевшего дома.

Спустившись по дорожке от дворового фасада в заднюю часть изрядно заросшего парка, в отличие от регулярной парадной разбитую в привередливо-свободном «аглицком» вкусе, он незаметно потерял из виду пруд, где думал было выкупаться, и взамен набрел на опушенный крапивой длиннющий фундамент чего-то наподобие оранжереи. Потыркавшись вдоль него достаточно долго, он махнул на все рукою, решив спрямить дальние поиски выхода, и полез прямиком через развалины, в самой гуще которых чуть было не угодил по пояс в какую-то подозрительную щель, наполненную битым стеклом. Чертыхнувшись в сердцах, он все же пропер до конца напролом и сумел-таки обнаружить водоем, скрытый в зарослях столь надежно, что и за несколько шагов его трудно было бы заметить, если не знать заранее.

Мысль о купании при взгляде на него вблизи отпала сама собою, но и попросту подойти к воде оказалось отнюдь не легко — низкие берега заболотились, и подступ был закрыт отовсюду, за исключением нарочно для того наведенных когда-то еще при царе Горохе мостков, теперь безнадежно подгнивших, которые оканчивались небольшой площадкой посреди омута. До нее пришлось добираться, скача по торцам кое-где уцелевших бревен.

Медленно с осторожным опасением усевшись на прогнувшиеся доски, прохожий нагорбил бугром спину — опереться было не обо что; но, уверившись, что они под его телом не подломятся, позволил себе немного расслабиться и застыл, следя за неподвижным жидким стеклом, сереб-

ристо-черной поверхностью и глубиной отражения напоминавшим хорошее старинное зеркало. На ярко-сизом чистом фоне он заметил тогда полупрозрачные летучие точки, сновавшие взад-вперед вслед за поворотом зрачка, и не сразу даже сообразил, что это обман зрения, создаваемый какими-то мелкими пятнышками на глазном яблоке.

Хрустнув суставами, он устроился поудобнее, погрузив взор в небо под ногами, каким играючи прикинулась озерная гладь, и почувствовал, что никуда, ни в какое многолюдное Марфино уходить отсюда не хочет. Убедившись в окончательности созревшей в душе перемены, прохожий вздохнул и стал вынимать из сумы захваченный впрок полдник, состоявший из двух спарившихся начинкой бутербродов, семейки яблок и плоской высокой фляжки коньяка.

Но не успел он разложить съестные припасы перед собой на подстеленном для них платке, оттягивая ради пущего удовольствия начало пикника, как помост зашатался и прохожий, обернувшись, заметил давешнего чудака-сторожа, плавно продвигавшегося к нему по-над озерцом на манер водомерки. Собирать обратно бережно накрытый стол было уже некогда, да и неловко, но молодой человек, не отличавшийся прижимистостью по природе, тужить о том не захотел и с легкостью предложил подошедшему старику разделить с ним трапезу. Тот, углядев возглавлявшую ее бутылку, не долго отнекиваясь согласился. Свернув шею винтовой пробке, они почали по очереди коньяк из единственного походного граненого мерзавчика, а затем согласно заскрипели закуской.

На далекое солнце набежало облако, все кругом них испуганно замерло, и звуки, издаваемые двумя едоками, сразу сделались чересчур громкими.

— А ведь пруд-то вот этот, — отдышавшись, указал окуском хлеба сторож, подобревший и вместе с тем еще более потемневший лицом, — когда-то почитался колдовским, можно даже сказать — чародейским. Рассказывали, что первый Бестужев его заговорил, и при известном старании на глубине кое-кому удавалось, как гласит местная притча, провидеть будущее. Впрочем, сами мы, вполне возможно, эту обязанность волховать ему навязали насильно, причем ваш сегодняшний визави принял в том своеручное участие — когда в детстве с двоюродной сестрою прибегал сюда за полночь гадать довольно-таки причудливым, не знаю кем изобретенным способом... Тогда сии мостки были еще вполне прочны, и вот, выбравшись из окошка

тайком, мы крались по ним в тишине в полнолуние с прозрачной четвертной бутылью, куда заранее клали несколько разожженных до алого каления угольков или головешек из камина; здесь ее плотно закупоривали и, навесив грузило, кидали вниз. Опустившись на дно, она там слабо или ярко светилась, покуда хватало внутри кислорода, а мы, припав мордочками к воде так плотно, что носами пускали в нее бульки, следили за сполохами в подводном царстве, стремясь уловить по их отблескам тени, отбрасываемые грядущим...

Он дожевал свой кус и вопросительно вперился в собеседника. Тот разгадал незамысловатый намек и наполнил ему рюмку вновь.

— Любопытно, как это потом аукнулось, — мимоходом пропустив ее внутрь, повел дальше речь старик. — Году эдак в двадцать пятом либо шестом служил я... скажем, в комендатуре Петропавловской крепости. И вот как-то однажды выпала нам с напарником редкая возможность, сопровождая команду археологов, воочию убедиться, действительно ли пресловутый металлический гроб императора Александра Благословенного стоит пустой...

— И это на самом деле правда?

— Не-ет, оказалось — враки. По правде говоря, весь он дополна был набит бутылками из-под очищенного хлебного вина, по-нынешнему водки, причем вовсе не древнего производства.

— Ну, а в вашей-то церкви что-нибудь внутри сохранилось? — поспешил переменить предмет разговора удивленный сверх ожидания прохожий.

— Вон в той лесной? Навряд ли, хотя, впрочем, я там почти никогда и не бывал, несмотря на соблазнительнейшую близость. Я уж вам говорил, что здесь отродясь не существовало никакого селения — лишь своего рода хутор; дом да храм; но, видите ли, располагались они через дорогу как через границу и редко когда имели сообщение: мы по одну сторону, Никола — по другую. В ту пору во все эти загробные штуки уже мало кто искренне верил.

Он повелительным кивком понудил прохожего выпить, чтобы не задерживать собственную очередь, и лениво осведомился:

— А что, по-вашему, т а м что-нибудь все-таки есть?..

И, не трудясь дожидаться ответного отклика, разрешил все сомнения сам, лукаво косясь на скрытую за рощей церковь:

— По мне, так не то что нет ничего, а и не надо бы вовсе. Послушайте — зачем?! К чему еще начинать новые муки — суету, возню, заботы; даже блаженство — и то какое-то до жути бесконечное... Нет уж, лучше покой, покой насовсем, только чтоб не ворошили и не тащили снова куда-то. Хватит, набегались ножки, намаялись ручки, пора им окончательно утихомириться...

И эта тема, подобно предыдущей, при дальнейшем развитии грозила лишить прохожего удобной роли соглядатая, берущего интервью у истории.

— А дом так-таки два века и не перестраивали? — сочинил он тогда неуклюжий комплимент, пытаясь спасти свое пошатнувшееся положение. — Как же он так здорово сохранился?

— Дом? Два века?? Полноте, голубчик, где ж ваша хваленая осведомленность! Ай-я-яй, как это вы так опростоволосились: следовало бы различать доподлинное барокко от так называемого второго, возникшего как отзвук, посмертный вздох настоящего в середине девятнадцатого столетия.

(«Как будто бы пронесло», — обрадовался про себя пришлец, но тут же осекся, услыхав продолжение.)

— Дом сей сам отец мой, — поведал, подняв голос, оскорбленный старик, — не успели еще купчую на землю скрепить, приказал по собственному рисунку возводить на древнем фундаменте из белого камня, а архитектора и управляющего выписали из Риги, так что...

Он, словно подавившись, оборвал возражение пополам и проглотил обратно высунувшееся было окончание, с опозданием заметив, что коньячок подкузьмил язык и тот нехотя проговорился. Пожевал молча губами, подглядывая искоса в надежде, что, может, оплошность прошла неузнанной — но прохожий оказался внимателен и задний смысл тотчас же уловил.

— Ну, коли так, — кашлянув с хрипотцой, переменил пластинку дед, — то и ладно: пусть я и есть последний Бестужев в этом имении. Довольны?..

— Да нет, что вы, не стоит стесняться... Вы из тех самых? — смущенно забормотал, не зная, как следует отозваться на такое откровение, прохожий.

— Вы имеете в виду писателей и декабристов? Я рассказывал уже, что почти, хоть и не совсем — с того же кедра соседняя шишка. Впрочем, чтобы быть до конца откровенным, гордиться тут особенно нечем: ведь корень-то

фамилии, ежели желаете знать, скорее всего не от басенного беса, но все равно вовсе не так вальяжен, когда пристежнее присмотреться: «студ» по-старому — теперешний «стыд», и в переводе на современную речь все бы мы были «бесстыжие».

А кузина моя, та что подле клумбы в креслах вас встретила, она в Париже в бегах умудрилась сменить фамильное прозвище знаете на какое? На Блудову, хе-хе. «Во браке Блудова, в девичестве Бесстыжая», — я так иногда дразню, а оне изволят обижаться. Вишь, и тронуть их не смей: умирать из Франции на родину прибыли, подвиг совершили, подвижники благочестия, — пустил он по направлению к усадьбе. — Вы бы лучше тут шестьдесят с лихвой годочков провели, чем отсиживаться за бугром, выжидая погоды, вот что я вам скажу, да...

Прохожий постарался незаметно пропустить свой ход в партии с рюмкой, и ему это удалось, — впрочем, скорее всего лишь благодаря тому, что партнер также сыграл в поддавки, притворившись, будто не видит ошибки. Покуда он обтирал щетинистые губы, юношу изводил засвербивший под языком соблазн задать еще один вопрос совсем уже беспардонного свойства. Решив наконец, что старик достаточно выпил, чтобы хотя бы не оскорбиться им смертельно, он не выдержал и ляпнул напропалую:

— Но вы-то сами... все эти десятилетия... если, конечно, не слишком затруднительно...

Бестужев отнял взор от горизонта, где он блуждал в хмельной беспечности, и осторожно погрузил его в омут.

— Знаете ли, здесь у нас — между двумя больницами — была довольно продолжительная пора, когда в доме помещалось, так сказать, исправительно-трудовое учреждение. Его силами по соседству велось строительство второй очереди окружной железной дороги, западного полукольца в полусотне верст от столицы, и тянули его одновременно на разных участках — то там, то сям. Кстати, вы можете по ней для перемены впечатлений возвратиться домой, правда, с пересадкою, зато пользуясь непосредственно плодами трудов моих грешных рук...

— Сложно это было вынести, да? — сочувственно вздохнув, спросил прохожий.

— А вы как думали? Но, как ни странно, когда строительство завершилось и учреждение, изжившее себя, ликвидировали — тогда не легче, а, пожалуй, пуще прежнего тяжко сделалось от тоски и сознания собственной ненуж-

ности. Даже воспоминания о минувшем как-то задним числом потеплели. Ну, да это уже совершенно другая материя... А пока я тут занимался, очертя голову, организацией, снабжением, распределением инвентаря — было еще сносно, терпимо: втянешься — и не замечаешь, как жизнь летит. Увидать бы вам только на миг, какое потрясающее хозяйство кипело и спорилось вокруг — управиться с ним мне одному было ох как непросто... — пустился в околичные пояснения Бестужев, но, поймав недоуменный взор слушателя, остановился и, косо усмехнувшись, вынужденно уточнил: — Э, да вы не поняли главного, вы меня абсолютно неверно поняли! Ведь ваш покорный слуга на самом деле работал управляющим — всем этим обширным производством руководил именно я. Да. Что ж вы считали, из швейцарского банка мне пенсия выплачивается — как бы не так, у нас там сроду ничего не лежало, разве тайком блудная сестрица моя чего завела, и то навряд ли...

— Нет, они тоже вроде вас выпучивали глаза и шипели, — горестно воскликнул он, шлепнув ладонями о колени, будто вызывая на суд «их» тени. — Оскорблялись насмерть: дескать, как же так, приятели детства, вместе в кадетском корпусе учились, вместе начинали поприще мира топтать... Ну и что же, я потом на свою шею за это от трудовой повинности вас должен освобождать, — так, что ли? Или еще побеги устраивать, как в романах Дюма и Жюль-Верна?!

Ну уж дудки! Ежели я взялся за какую бы то ни было службу, то служить буду верно до предела. Это у нас в крови, как и у всякого порядочного дворянина. Для него само слово «служить» есть не сказуемое, но подлежащее, главный член предложения! Мы рождались на свет, чтобы неукоснительно с л у ж и т ь, — голос старика при троекратном произнесении столь полюбившегося ему глагола брякнул благородною трещиной, — а кому — тут уж дело вкуса и убеждений.

Он вдруг безо всякого перехода опять захихикал, оскалив два по-заячьи выдававшиеся вперед резца, и сквозь мелкие смешочки просунул ни к селу ни к городу тарабарский вопрос:

— Скажите, вы умеете двигать ушами? А носом?..

Прохожий оторопело покачал в отрицание головой:

— Эх, молодежь. Хотя при чем тут молодежь: ведь мы-то еще в корпусе друг у друга этому учились; и вот, знаете ли, в двадцатые годы детская шалость негаданно при-

годилась, послужив своего рода тайной перекличкой наподобие пароля. При ее помощи мы легко и неприметно узнавали своих — то есть, конечно, бывших своих. И надо же было потом судьбе так поглумиться, чтобы как раз сюда под мое начало непременно присылали наполовину почти этих... уходвигателей. Постойте-ка, по-моему, сие производилось следующим образом...

Он скривился безуспешно в леденяще-веселой гримасе раз-другой, и затем с невидимым скрипом уши сошли с места, пустившись гулять вверх-вниз за щеками, а вслед за ними, словно клюв, стал сгибаться крючком кончик бугристого, в коричневых крапинах носа.

Прохожий наблюдал эти метаморфозы в полном молчании, тем более что алкоголь по своему исконному свойству произвел внутри его личности качественное разделение: душа как бы немного подвинулась вбок и вместо совпадения с телом теперь лишь частично пересекалась с ним краями, находясь несколько левее, откуда внимательно вглядывалась в двух людей, сошедшихся на низком мостике посреди утлого пруда.

Во фляге оставалось всего на один прием живительного напитка, и прохожий, слегка опамятовавшись, предложил тогда выпить за здоровье хозяина, но только так, чтоб тот сделал это сам. Старик еще раз чирикнул воробушком, изображая легкий смех, и повиновался.

Почти наглядно, одновременно с тем, как конечная доза раскатывалась по его крови, возбуждение в Бестужеве сменялось обидой и отвращением к целому свету, отчетливо проступившим на его расслабившемся сверх пристойной меры лице. Он подозрительно уставился в собеседника недружелюбным оком, мгновенно опустевшим от какого-либо расположения, и хмыкнул с издевкой:

— Приятель дорогой, а зачем вы вообще-то здесь?..

— ??

— Думаете, я сбрендил. Не надейтесь! Более того, вы ведь сюда пришли отнюдь не первый, куда там. Не-ет. И я прекрасно понимаю — почему вы и ваши клевреты устремились в походы по дворянским развалинам, но я вместе с тем не устаю недоумевать: зачем?!

Прохожий, как ни старался подавить подымавшийся в груди испуг, начал неложно догадываться, о чем сейчас пойдет речь; и тут во второй раз за день почувствовал, что краснеет — случай, которого он не помнил за собою с детства. По мере того как постепенно стыдный пламень

разгорался, полыхая языками от лба к мочкам ушей и затылку, он явственно ощущал, что катастрофически непоправимо выпадает из заданной позы наблюдателя. Несправедливо-крайние по внешности обвинения, выплескиваемые ему в глаза, заставляли его как бы наливаться кровью и плотью, из проходного персонажа с безличным именем «прохожий» превращая вновь в действующего героя, обязанного по определению совершать ответственные поступки.

А дед, ярясь и разгорячаясь, перешел меж тем в сиплый крик:

— Какого же вы хотели бы набраться у нас ума, скажите на милость? Не того ли, как еще раз сделать так, чтобы не осталось вновь ни в одном Николо-Бестужеве ни кола, ни стыда и царила лишь мерзость запустения? Вы, которые бредите наяву серебряным веком, пленяясь его книжной прелестью — не желаете ли и кончить точно так же, как он? Вот ведь образуются у вас тоже династии — пусть рабочие, ученые, военные или литературные, а не придворные: ладно, это даже лучше, что всякие, крепче будут. Но за каким чортом, не успев еще отстояться и возмужать духом, нужно тянуться повторять былые, наши просчеты?! Где-то мы пошатнулись в свой век, и не просто, а в самом корне подгнили, ежели страна, лелеявшая и выхаживавшая нас тысячу с лишком лет, взяла вдруг и отказалась носить на себе... А дешево ли ей стоило создать и выпестовать из поколения в поколение десятки сотен родов самого образованного в свое время сословия! Но все-таки она решила, что спастись иначе нельзя — значит, чересчур уже отяготили мы ее навороченными грехами. Тому ли стоит учиться?

Эх, думайте, думайте своей собственной головой, пожалейте хотя бы отечество — в другой раз такой опыт самозаклания Россия еще выдюжит ли —

Каждое слово отпечатывалось на совести безжалостно разгаданного догола пришельца. Он опешил, опустив взор в воду, и тут с омерзением увидел, что отражение, подпертое сзади стариковской тенью, ехидно ему ухмыляется. Не сумев выдержать подлого взгляда, он вне себя сгреб со стола и с размаху швырнул в него пустой флягой...

Бултыхнул мощный всплеск, отзвук которого круговая волна понесла к берегам, орошенным далеко разлетевшимися брызгами, и, когда колебания зеркала наконец улеглись, в нем уже ничего более, кроме неба, не отражалось — только плавала, кивая носом, полузатопленная бутылка.

ТАЙНА ДОМА С ПРИВИДЕНИЯМИ НА СТАРОМ АРБАТЕ

Из недавних воспоминаний

Однажды около полудня в конце февраля, гуляя в обеденный перерыв без особенной цели, я выбрел к самой сердцевине Арбата как раз против устья Калошина переулка и положительно обомлел: на месте глубоких колодцев и рытвин, какие стали уже привычными здесь оку москвича за последние годы при бесконечной замене ветхих грозящих инфарктом труб более свежими, — красовалась стосаженная пешеходная площадь, плотно убитая цветным кирпичом и огражденная частоколом из фонарей.

Была та короткая пленительная пора, которая в наших северных широтах удивительно точно называется «весною света»: на дворе покуда еще морозит вовсю, но небо синеет день ото дня все гуще, и свет с него катится вниз прямо-таки палящий. Он державно сходит на землю и гонит свирепо прочь полусонный скучающий морок; внутри же домов делается совсем по-летнему ярко, и ежели из окна не видать поблизости снега, то и впрямь легко спутаться — какое теперь время года. Особенное пристрастие питают эти творческие лучи к картинам на стенах: золото рам оживляется теплым сиянием, а вся их внутренность, исследуемая уголок за уголком солнечными бликами, попере-

менно загорается, становясь настолько магически объемной, что трудно удержаться от соблазна коснуться близкого чуда голой рукою...

Естественно, что сперва у меня возникло искушение счесть за подобную игру света и это волшебное превращение древней улицы из постылой цепи ям и бугров в опрятный отрезок прошлого, словно бы выскользнувший наружу с открытки в старом альбоме. Хотя подспудно я, конечно, все-таки помнил, что лет эдак с полдюжины назад объявлено было о намерении превратить Арбат в непроезжий заповедник, откуда на его новый двойник выедет вон вся торговля для ежедневного спроса, уступив место музеям, лавкам букинистов, а коли уж трактирам, то непременно для художников и поэтов, — но вплоть до сего дня, следуя обиходному для столичного уроженца правилу подвергать целительному сомнению всякое приятное обещание, склонен был видеть в нем скорее одну лишь благонамеренную мечту.

Теперь же не оставалось ничего иного, кроме как, наградивши собственный сухой рассудок «неверующим Фомою», признаться в ошибке; вслед за чем я немедленно принялся вплотную изучать признаки, наглядно свидетельствовавшие о начале воскрешения совсем уже было запропавшего уголка Москвы, вновь становившегося неким единым живым целым, почти что одушевленным существом. А раз так, то и наскоро опрысканные в две краски из распылителя нечиненые фасады, и безвременного стиля фонари, чуть не подававшие друг другу руку, и все прочие легко заметные «запятые», несомненно, следовало отнести за счет издержек доброго в своей основе рвения. Гораздо любопытнее было то, что сулило в будущем такое необычайное событие, самое начало которого рождало детски удивленное выражение на лицах у тех, кто, выскочив, подобно мне, на полном ходу из-за угла на перекресток, вместо очередного рва прямиком залетал в минувший век — да притом еще вполне каменно-прочный, а вовсе не того скоротечного рода, что встречается изредка в иных закоулках, где нагородившие фанерных прелестей мастера иллюзий снимают очередное кино.

Тут я уже с куда большей отчетливостью припомнил и то, как к нам в Комиссию по истории улиц городского Общества охраны памятников то ли позапрошлой, то ли третьей с конца зимою приходили архитекторы, исподволь готовившие целый поход по возрождению старого Арбата. Ве-

чер тогда выдался с многим шумом и изрядной приподнятостью, но чем выше заносились умы выступавших и внимавших, тем меньше даже самим им верилось в осуществимость затеянного.

Выскребывая из дальних захоронок памяти отдельные подробности предполагаемых изменений, засунутые туда впрок на всякий случай, я двинулся потихоньку по направлению к «Праге» и вскоре пересек ту черту, где серо-бурый брусчатый кирпич сменялся асфальтом, как будто еще вчера проложенным здесь наново, а ныне опять раздолбленным всмятку паровой колотилкою, напоминавшей внешне не то скорпиона, не то разлапистого комара-карамору, чудовищно раскормленного и одетого сталью.

Рядом — как кажется, у пересечения Арбата с Серебряным переулком, вместо привычной «Оптики», чудом сохранившей прежнюю обстановку почти нетронутой, и обращенной в цветочный магазин свечной лавки—создатели проекта наметили устроить пару кафе друг против друга, которые должны были именоваться ни много ни мало — «Мастер» и «Маргарита» (тогда еще некий скалозуб предложил распространить подобную лихость на соседние перекрестки, учредив такие двоицы, как «Отцы» и «Дети», «В лесах» да «На горах», «Преступление» с «Наказанием» и так далее...). Комиссия посоветовала за лучшее предпринять восстановление стоявшей рядом величественной шатровой колокольни храма Николы Явлённого, своего рода арбатского герба; но архитекторы склонялись скорее к постройке вновь по сохранившимся чертежам и обмерам для «музея улицы» находившегося раньше неподалеку ладного ампирного особнячка, из глубины времен влачившего за собою легенду о том, будто внутри его водятся привидения.

Миновав два невысоких флигелька, между которыми один мой знакомый не так давно действительно обнаружил фундамент колокольни, я принялся пытать пространство и на счет этого стертого временем дочиста родового гнезда (другой лукавый голос из задних рядов предлагал, кстати, на том же вечере наняться на должность духа со ставкою старшего научного), но поневоле встал вскоре в пень— ибо обширнейший участок, способный вместить не то что одно, а добрых три подобных строения, зиял порожним, будучи лишь подперт небольшой стенкою в человеческий рост и оканчиваясь еще у трехэтажного доходного здания № 12-й проездом с воротами.

Пустившись вприпрыжку по вздыбившимся метровым

долькам асфальта, будто слоеный пирог или свежеспиленный дуб, воочию повествовавшим о всех возрастах своего бытия, я пересек вставшую на попа улицу и даже взобрался на подоконник «Военной книги», вертя головою заправским воробьем, чтобы исправнее рассмотреть владение за стеною, ан не тут-то и было. Тогда упрямство, живущее у нас в роду, заговорило вдруг с неожиданной силой, понуждая обойти ограду по кольцу: сначала сквозь подворотню доходного дома проникнуть на общий двор, потом направиться вдоль забора за воротами, а там уж, как-нибудь исхитрясь, просочиться внутрь пустыря со стороны новоарбатского проспекта, — но и это все оказалось вотще, ибо там я уткнулся в другую охраняемую часовым калитку под вывескою «Центральный военный госпиталь имени Мандрыка», которому, по всей видимости, и принадлежал заброшенный сад на месте поглощенного летейской волною особняка.

Не сумев даже сомкнуть концы путевого круга, я вернулся обратно к исходной точке у ворот и тут ненароком приметил, что все эти мои неловкие — говоря строевым языком осьмнадцатого столетия — «эволюции» со спокойною хитрецой созерцает благообразный старик в высокой медвежьей шапке, который, опершись на палку с костяным набалдашником, замер подле овощного ларька, заместившего с отступом от красной линии снесенный дом по другую сторону от того его собрата по несчастию, что и привидения не потягнули спасти.

Следует сразу оговориться, что история Арбата не есть мой конек в той области, что несколько неуклюже именуется нынче «москвоведением», и потому все наличные познания мои о доме ограничивались тем, что как будто бы глаголемые страхования нарочно устраивала водворившаяся в его подвале шатья-братия жуликов, дабы замести следы (хотя я и прежде как-то недоумевал — ведь для того, чтобы укромнее схорониться, лучше всего сидеть тихо да помалкивать). Но в продолжение собственных занятий живой стариною я давно вывел золотое двучленное правило о том, что, во-первых, вообще непростительно упускать случай потолковать с никуда не спешащим старожилом после семидесяти лет — ибо возможность эта вполне может оказаться единственной и последней; а во-вторых, хотя уже заранее не стоит верить ему и наполовину в том, что касается до фактов, зато на все сто с хвостиком можно положиться по части местных преданий и поверий—то есть

всего, что составляет общественное мнение околотка.

Так что желание свести знакомство было пожалуй что обоюдным, и посему ничуть не удивительно, что произошло оно легко, как по маслу.

— Вы что-то тут потеряли, молодой человек? — спросил вежливо старик, медленно и с оттяжкою расставив каждое слово в достодолжном порядке.

— Да дом вот один, — несколько бестолково ответствовал я, нарочно напрашиваясь на новое уточнение.

— А чей же вам именно дом потребен, позвольте осведомиться?

— Да такой, знаете ли... — начал я крутить и здесь ради пущей осторожности сделал ошибку, вместо точного указания решив отнестись к обманчивому запасу современных ходячих познаний. — Ну, про который еще Высоцкий поет, что-де «стоял тот дом, всем жителям знакомый...» — и духи у него там ухали.

Старик оскорбленно замолк, и я тотчас же вынужден был сделать себе суровые пени за неуместное амикошонство.

— Вы, наверное, хотели сказать — тот, в отце либо дедушке коего родился, по преданию, Суворов? — наконец с прощающим благородством поправил он (а я чуть было не шлепнул тут себя, как в старых добрых рассказах, кулаком по лбу: ведь верно! про Суворова была у нас тогда на Комиссии особая речь). — Он стоял как раз наискосок от книжного, подле этого вот одноэтажного флигеля.

Указав точное место стальным наконечником палки, он затем в свою очередь полюбопытствовал:

— А что вам в нем, скажите на милость, проку?

Тут уж я рассыпался мелким бесом, многословно поясняя, что вообще-то в свободное от службы время изучаю прошлое тех усадеб Московского уезда, что вошли теперь в черту столицы, а про этот самый дом хочу узнать поподробнее не столько в связи с суеверными сказками о привидениях, сколько из-за того, что его собираются соорудить наново для помещения внутри выставки «Старый Арбат».

— Да, наверное, свидетелей-то, помнящих его воочию, осталось раз-два, и обчёлся? — решил я несколько подольстить старику.

— Пожалуй, что так, — неожиданно скоро согласился он. Затем пожевал свернувшимися от возраста краями внутрь круглыми губами, которые стерегла опрятная белоснежная бородка клином, и на радость мне добавил сле-

дующее: — Ежели сие у вас интерес воистину не вовсе праздный, то я готов был бы рассказать и даже показать коечто примечания достойное, но для этого в случае вашего согласия придется подняться ко мне, хотя тут и совсем неподалеку...

Навряд ли стоит распространяться о том, насколько желанным оказалось подобное приглашение. Высказав искреннюю признательность чередой не очень связных междометий, я двинулся затем вслед за своим вожатым к серому зданию на углу улицы Мясковского; обойдя хвост окружающих его завсегдатаев гнездящегося внутри ломбарда, мы черным ходом прошли во второй дворик и через боковой подъезд попали в длинный коридор первого этажа. Проплутав еще немного в пахучих потемках, старик приблизился к высокой, обитой медью двери с ручным звонком, который, выставив наружу рычажок в виде мышиных ушек, ожидал, чтобы его начали крутить двумя перстами. Хозяин, однако, молча отворил замок собственным ключом, и, покуда он запирал его с обратной стороны, я успел разглядеть надпись на помещенной на дверном челе потускневшей бронзовой табличке — оба слова ее были ради верности подкованы крепкими ерами: «ИНЖЕНЕРЪ АВТОКРАТОВЪ».

Приметивши взор, брошенный на дощечку, хозяин с готовностью пояснил, что — как рассказывал некогда ему с покойными ныне старшими братьями отец — фамилия их была из духовного корня. По его словам выходило, что поповичи поступали обычно в семинарии вообще безо всяких устоявшихся фамильных прозвищ, коих лишены были чуть ли не до последних времен наравне с преобладающей долей бесфамильных земледельцев, — и получали родовые имена от учителей в зависимости от выказанных ими успеваемости и прилежания. Так, «отличники» породнялись с двунадесятыми праздниками, становясь Троицкими, Воскресенскими или Богоявленскими; «хорошисты» довольствовались мудреными латинскими — Экземплярский, Сперанский, Беневоленский — либо топографически-евангельскими прозвищами, как Генисаретский или Фаворский; троечники в вознаграждение за кропотливо высиженный «уд» поступали в птичьи семейства Кречетовых, Куликовых, Селезневых, Лебедевых и так дажее. А уж отсталые обладатели «неудов» влачили за собой в назидание потомству малопривлекательных Недумовых, Облаевых и даже Пентюховых с Дураковыми.

— Зато по матушке мы не поповичи, а самые что ни на есть Гедиминовичи, — продолжал он, вежливо направляя гостя за рукав в небольшую, ладно обжитую кухоньку, — она у нас была доподлинная Г-на, — что, впрочем, для матушки-Москвы отнюдь ведь не «ох». Не так давно на девяносто пятом дне рождения моей двоюродной тетки нас Г-ных собралась вместе с внуками и правнуками чуть ли не полная сотня — и это после всех коловращений судеб, шесть веков разбрасывавших род по лицу бела света. С той поры уже, как говорят, пошла гулять свежая московская легенда, будто сошлось Г-ных на столетье прабабки ровно по штуке на год ее возраста — так сказать, сто на сто; что хотя и не точно, но некий символический смысл, соль несомненно содержит — ведь больше, чем нас, в первопрестольной можно было б набрать разве что Оболенских, которым, кстати сказать, занимающий вас особняк и принадлежал почти что весь отпущенный ему век...

— Ну-с, дабы не толковать как сироты всухомятку, мы с вами наладим сейчас крепкого чаю, — предложил хозяин, возжег огонь на плите под водою и потом вынул из посудного шкапика, источенного талашкинскою резьбой солнышками и звездами в славянском духе, матерый, изжелта-синий заварной чайничек, где чаинки могли плавать в особом садке-решете посреди кипятка, отнюдь с ним не смешиваясь и одновременно выпуская свой сок до последней живительной капли.

— Вот и все мои верительные грамоты; в довершение могу разве что предложить угадать возраст — состоит он покуда еще из двух всего цифр, одна из коих есть вставшая на дыбы бесконечность, а другая — вечно путающий подсчеты перевертыш; верное же сочетание их предлагается узнать по общему состоянию всего наличного моего естества...

Покуда он плел эти завлекательные головоломки, я вглядывался пристальнее в черты лица, сообразивши, конечно, из какого набора нужно сопрягать искомое число, представляющее собою компанию из восьмерки с 9-ю либо 6-ю.

Шафранного отлива кожа на голове старика столь плотно прикипела к породистому черепу, не оставивши совершенно ничего лишнего кругом крупных, глубоко сидящих карих глаз, что облик его являл собою как бы окно, растворенное в целый век, если не сказать вечность. Поэтому 68 и даже 86, пожалуй что, отпадали; скорее всего выбирать следовало между 89 и 98. Последнее число казалось

уже несколько страшноватым, и посему я предпочел остановиться на его предшественнике, — но только лишь собрался с приличными оговорками произнести отгадку, как он остановил меня неспешным утвердительным движением бровей. Жест, хотя и безмолвный, обладал исчерпывающей выразительностью, почти такой же, как и вся его покойная, с достоинством произносимая речь; причем стоило сначала приладиться к неторопливому движению этой беседы, как вскоре уже трудно было представить себе, что о столь ответственных вещах можно болтать по-сорочьи скороговоркою. Подобное течение разговора виною еще и тому, что теперь я могу ручаться чуть ли не за последнее междометие в этой записи, которую бросил начерно на бумагу вечером тотчас по возвращении домой.

— Вот и ладно. А теперь представьтесь немного в свою очередь вы, и не столько фамильным прозвищем — я догадываюсь, что оно должно быть украинское в тесном смысле, то есть род ваш с Левобережья, слободской.

— Угодили в самое яблочко...

— Но сейчас гораздо существеннее другое — кем вы приходитесь Арбату?

Разрешить такое недоумение было, с одной стороны, довольно просто, но как-то все же совестно казалось набиваться в родню ко столь славному имени; и тогда я попытался со всею возможною точностью изложить свои права на то, что здешней стороне состою лишь косвенно близким по четырем скромным причинам. Во-первых, появился на свет рядом, в известном родильном доме на Молчановке, разрезанной нынче новоарбатским проспектом надвое наподобие червяка; потом — бабушка моя самому старику соседка по Большому Афанасьевскому, что теперь Мясковского, но живет на противоположном углу у Сивцева Вражка. Затем, работаю также неподалеку, всего в двух сотнях шагов, на Знаменке, — да вот еще двоюродный брат жены сложил юношей в шестидесятые годы игривую песенку «Арбат мой, Арбат, знакомые лица, шальная гадалка сидит у окна», застрявшую в гитарном обиходе, где, что ни припев, кстати и некстати неопустительно поминаются стариковы материнские Г-ны вкупе с заочно сведшими нас Оболенскими. Так что в итоге я вышел не то чтобы вашему забору троюродный плетень, а скорее чем-то наподобие провинциального племянника, нагрянувшего нечаянно в гости к позабывшему о самом его существовании столичному дядюшке.

Тут, на счастье, поток околичных изъяснений был прерван свистком на плите. Хозяин неожиданно бодро пропел: «Чайник закипает, чашечка блестит...» — заполнил хитрый заварной прибор крутым кипятком и, пожевавши губами короткий серебряный ус, к большому моему облегчению, хмыкнул во вполне удовлетворительном смысле.

Тогда он наведался один в смежную комнату, откуда извлек связку старых открыток с арбатскими видами, на трех или четырех из коих я вскоре же опознал нужное здание и принялся отыскивать среди окружающих его строений «привязки» на местности, сохранившиеся до сего дня.

— Нда, — подождав, покуда я слегка разобрался в картинках, промолвил размышлявший тем часом про себя молча старик и начал свой рассказ так: — А ведь я даже был в свое время хорош с отпрыском последнего из владевших «духами» Оболенских — Андреем, сыном князь Николай Николаевича...

Представили меня им еще безусым мальцом сперва в их подмосковной в Дмитровском уезде, соседствовавшей с нашей, а уж потом я стал навещать и арбатский особняк. Все это досталось старшему князю в наследство от двоюродной тетки Анны Михайловны Хилко́вой, урожденной Оболенской, умершей на рубеже столетий бездетной, не оставивши завещания, в своем имении «Должецкий Ключ» под Каменцем-Подольским. Дом так и сохранился у Николая Николаевича в руках, а подмосковная впоследствии по кассационному решению суда перешла к другой ветви Оболенских, которые наравне с ним тоже состояли в тридцать первом колене прямыми потомками первозванного варяга Рюрика.

В начале века дом Оболенских на Арбате являл собою вид совершеннейшей картинной галереи, будучи увешан полотнами от полу до потолка. Некоторые из них разошлись затем по музеям и частным собраниям в отечестве и за его пределами, а про один портрет кисти самого Брюллова, изображающий владельца дома в середине девятнадцатого столетия именитого археографа князя Михаила Андреевича, следует рассказать особо, но чуть попозже...

Женат был Николай Николаевич, состоявший в годы нашего первого с ним знакомства в чине коллежского советника товарищем прокурора Московского окружного суда, на Ольге Валерьяновне, урожденной графине Тулуз-Лотрек — да-да, той именно фамилии, что ведет род свой с де-

вятого столетия от владетельных графов Тулузы и наиболее известна отнюдь, на мой взгляд, не лучшим из своих членов, писавшим пастели скабрезных сторон парижского быта. Прадед ее в годину французской смуты перешел на русскую службу генерал-майором, а отец был генерал-лейтенант и начальник кавказской кавалерийской дивизии.

В десятых годах Николай Николаевич, доросший уже до достоинства статского советника, перебрался в другой свой дом неподалеку, на угол арбатских переулков Калошина и Сивцева, где высится нынче новая поликлиника, и давал замечательнейшие балы... Кузина моя познакомилась там с одним из молодых Набоковых и вышла за него вскоре замуж, а другой близкий мой родственник, к сожалению, вызвал сгоряча по незначительному поводу брата Столыпина и убил его в поединке. Но, впрочем, речь сейчас отнюдь не о том...

Окончание гражданской войны застало арбатских Оболенских в имении матери на Лазурном берегу; причем их сын, а мой приятель Андрей, родившийся в год с двумя нулями на конце, по пути спроворился подхватить себе жену-турчанку... Потом они с нею расстались, и вот когда он собрался вступить во второй брак с соотечественницей и на сей раз с обоюдного согласия двух семей, то, отправившись как-то с невестою кататься в авто, разбился насмерть... Тут в довершение изгнаннических их несчастий прозвучала еще жутковатая рифма судьбы: молодых хоронили вдвоем и на два эти сопутствующих друг другу гроба рок отозвался чуть погодя страшным эхом — Николай Николаевич некоторое время спустя впал в летаргический сон и лежал целых полгода ни труп ни человек, да так в сумеречном состоянии и отошел; жену же его, ходившую весь этот срок за беспокойным покойником, сразу вслед за его кончиной поразил разрыв сердца — и вновь в родовой склеп Тулуз-Лотреков принесли вместе сразу две домовины, на сей раз родительские... Старшая сестра Андрея была первым браком за исследователем минералов академиком Фёрсманом; про дальнейшую ее жизнь мне ничего не известно.

Но вот что при всем таком щедром обилии подробных околичных сведений — которые я привожу только ради вящей уверенности в том, что не упущены важные — весьма удивительно: хотя я не раз слыхал, начиная еще с няниных сказок и кончая близкими и далекими знакомыми юности, об огоньках, мерцающих по ночам в арбатском гнезде Обо-

ленских, особенно когда оно года напролет пустовало без хозяев, про голоса и музыку, несущиеся за полночь из покинутого обитателями дома, а также оханья и стенания, невзначай раздающиеся в ушах одинокого запоздальца вблизи него темным вечером или пустынным бессолнечным утром, и прочую мистическую дребедень, — никогда при моих посещениях их ни сам Николай Николаевич, ни Андрей ниже́ намека не допускали о том в своих беседах. То ли претило это им, то ли не хотелось будить тяжких воспоминаний: как это теперь разберешь... Но все-таки после переезда их всей семьею на Сивцев дом действительно так никто и не пожелал снять, покуда его не приобрел уже в пятнадцатом году владелец антикварной лавки напротив, занимаемой сейчас «Военкнигою», купец второй гильдии Вульф Хаймович Гоберман.

...Тут он вновь сделал визит в соседнюю комнату с библиотекой, откуда вынес уже небольшую стопу книжек, как видно давно ожидавших своей череды.

— Но еще занятнее то, — продолжил старик свою повесть, — что привидения зауряд с простосердечными обывателями заморочили и вполне здравомыслящих и ни в чох не верующих писателей. Вот позапрошлогодний, почти что свежий, стало быть, путеводитель «Москва в кольце Садовых»; составитель его — судя по фамилии, вашему степенству земляк — пишет, что-де к сохранившемуся трехэтажному зданию под нумером двенадцатым «примыкал забитый, многие годы пустовавший «дом с привидениями», внушавший страх суеверным москвичам. В подвале его обосновались уголовные элементы, отпугивавшие всякого, кто хотел здесь поселиться. Дом подробно описан В. А. Гиляровским». — Ан Гиляровский-то о нем и строки не оставил! У него, правда, есть в «Москве и москвичах» схожая история про воришек, прикидывавшихся духами, но происходила она вовсе не тут, а во дворце Белосельских-Белозерских, что нынче Елисеевский гастроном...

Тридцать лет тому другой человек поосновательней, Петр Васильевич Сытин, послуживший предтечею автору современного Бедекера, Гиляровского в своей книге очерков о московских улицах не называл, однако сочинил нечто подобное и тоже невпопад: «В несуществующем теперь доме с колоннами, принадлежавшем князю А. А. Оболенскому (№ 14), по ночам якобы являлись «привидения», из-за которых в доме никто не хотел жить. Позже выяснилось, что в подвале дома свили себе гнездо грабители и во

ры, пугавшие по ночам жильцов, чтобы они выехали и не мешали их «работе». — Привидением, и отнюдь без кавычек, служит здесь разве что никогда не существовавший наяву «А. А. Оболенский»; а про «грабителей с ворами», доросших позже до «уголовных элементов», как оказывается, никто ничего не «выяснял».

Дело в том, что помимо ходячих россказней, «достоверные» сведения все позднейшие бытописатели черпали в этой вот единственной малой книжице —

Он извлек из среды могучих почтенных корок тоненькую брошюру без переплета размером в почтовую открытку с рисунком нашего особняка с колокольнею на обложке и фото «Лев у подъезда «Проклятого дома» на контртитуле; на самом титульном листе обозначено было следующее: «Общество «Старая Москва». Московские легенды; выпуск 1».

— И последний, к сожалению, — добавил хозяин, проследив, что надпись гостем внимательно прочтена. — Невдолге после ее выхода, в том же 1928 году Общество подверглось перестройке, а затем и вовсе было распущено; легенды же, собиранием коих занимался его деятельнейший сочлен Евгений Захарович Баранов, частью осели в архиве, но в подавляющем своем большинстве вновь пустились свободно гулять по московскому аеру, ожидая следующего воплощения...

И вот здесь-то в предисловии и находится единственный настоящий источник «научной» и самой, пожалуй что, скучной легенды об «оргиях жуликов» — ее поведала безымянная «жена профессора», добавивши, что в доме прежде того еще произошла «выдающаяся по своей обстановке кровавая драма», но соответствует ли это действительности — она «не знает».

Тут и вся недолга, к которой, впрочем, непременный секретарь «Старой Москвы» П. Миллер пристегнул академический комментарий, где возник побочный фантом «А. А. Оболенского», а воры преобразились в «пьяных лакеев». К тому же старанием Миллера в дом близко начала столетия водворен был еще Лев Сергеевич — или, как звали его в том кругу, где мне самому довелось встречаться с этим любопытнейшим деятелем, «Леон» — Голицын, создатель знаменитой крымской винной фактории «Новый свет»; а между тем хотя он и на самом деле живал в первые годы века на Арбате у Оболенских, да только других — у княгини Анны Николаевны, владевшей тремя участками между

Калошиным и Кривоарбатским, где в тринадцатом году вырос самый высокий доныне по улице дом с рыцарями по бокам, облюбованный не так давно ведомством культуры.

А коли на то пошло, лучше уж от ученых сказок оборотиться к самым что ни на есть доподлинным, поелику здесь всегда есть нешуточная надежда, раскрыв их наподобие матрешек одна за другою, найти внутри предпоследней неразъемную сердцевинную правду или, по крайней мере, ту иглу, которой смертельно боится сердце Кощея Бессмертного.

Кстати сказать, собиратель сказаний Баранов сам три голодных года, начиная с девятнадцатого, собственною персоной торчал в подъезде нашего дома, распродавая книги. И последнее обстоятельство, делающее дотошные заметки его попросту единственными: записывал он чужие речи не просто слово в слово, со всеми прибаутками и оговорками, но вдогон к ним присовокуплял еще сведения о том, что́ за человек был сам рассказчик. Благодаря этому, когда читаешь их сейчас, вместо засушенных книжных «фактов» встают со страниц, одеваясь на глазах живой плотью, всамделишные москвичи той поры, вразнобой голосящие свои байки и небылицы, показывая вместе с ними во всей силе нестесненно текущего слова себя самоё.

Вот что говорил, например, старик нищий Алексей Голубев, тверской уроженец, проживший на Москве сорок лет. В молодости он подрабатывал копачом и носильщиком, таская на стройках кирпичи посредством простой наспинной «козы»; потом нанимался в дворники, но так нигде и не смог ужиться благодаря пьянственной склонности. Прилежать ей Голубев начал отроком, но и на старости лет, когда его в двадцать первом году повстречал Баранов, отнюдь не перестал усердствовать в винопитии, довлачившем его до нищеты.

— «Давно знаю этот домина, — насунув на нос очки с круглыми стеклами, принялся читать старик, тотчас как по манию волшебной десницы обратившийся в лукавого пожилого пропойцу, ловко плетущего словеса, заканчивая всякое предложение протяжной надтреснутой попевкою; причем в отличие от недалекого лицедея, непременно попытавшегося бы произвести на собственном облике присущие избранной роли ужимки, почти что все воздействие на слушателя достигалось у него одним только голосом. — Давно, лет тридцать: все пустует, все порожняком стоит. Никто жить в нем не хочет от беспокойства... Покою нет.

Слышал — такое тут дело было: будто, как полночь, музыка и заиграет похоронный марш... настоящая взаправдешная музыка. Ну, играет вовсю... А как дадут свет — нет никого, ни единой души... Погас свет — опять началась музыка... Ну, вот это беспокойство и есть, а прочее все спокойно — никакого скандалу нету. Конечно, какой сон при музыке. Ну, вот по такой оказии и нет квартирантов. Да и кто пойдет в квартиру такую с музыкой? На беса она сдалась.

А музыка эта вот откуда — тут происшествие. Кровь человеческая тут пролилась. Один граф ли, князь ли смерти себя предал. Из полковников был и жил в этом доме. А жена у него — красавица на всю Москву. Вот через нее и пошло: с офицером драгунским сбежала. А полковнику от этого срамота. Вот он и стал скучный. День, другой сумрачный ходит... все молчит... После того созвал офицеров — пир устроил. Вот и сидят эти господа, пьют, едят. И музыка тут играет... Ну, одним словом, бал. А на дворе ночь. Вот полковник говорит:

«Вы на часы смотрите, как будет двенадцать часов, скажете мне».

Ну они не знают к чему это, а все же давай смотреть на часы. Ну, хорошо... Вот смотрят на стрелку. И вот стрелка как раз на двенадцати остановилась... Они и говорят:

«Ровно 12, минута в минуту».

Тут он шампанского стакан выпил... И после этого приказывает солдатам-музыкантам: «Музыка, играй похоронный марш!»

И как музыка заиграла, он и бабахнул себе в висок. И тут ему конец. Ну, сам себя убил — его дело. Чего уж тут. Конечно, нехорошо, грешно...

Он вот виноватит жену: срамоту напустила на него. Да ведь как тут по совести рассудить? Ну, убежала, не она первая, не она последняя. Мало ли таких канареек. Сколько угодно — и что же! Всё в висок себе стрелять за такую пустяковину. Конечно, ему срамота: полковник, а жена беглянка. Ну, не стерпел и сгинул через эту канарейку самую. Только нехорошо и грех большой...

Ну, так вот с той поры в этом дому музыка играет. Ну, какой квартирант станет жить! Жуть возьмет такая... И скажешь: «И даром не надо мне этого дома».

И давно толкуют про это самое; ну, которые и говорят — неправда. Ну, ежели неправда — с чего же никто не нанимает его? Квартиранта и арканом в него не затянешь. Стало быть, правды-то есть сколько-нибудь. Вот и хозяин,

сказывают, давно откачнулся от него. Продавал все... Расхваливал: хороший домик. Только, видно, дураков еще не нашлось, чтобы этакие дома покупать. Вот он и стоит без квартирантов... с одной этой музыкой».

...Закончивши первый отрывок, старик вновь оседлал собственный природный голос и широчайше, всей головой, улыбнулся, пробормотав сквозь смех: — Вот ведь каково отчубучил, прощелыга! Сам, поди, эту «канарейку» изобрел, а потом еще принялся на ее небывалый счет кипятиться и моралите читать. Но все ж таки, хоть и прилгнул романист бесписьменный, крупица истины здесь затесалась — а именно слова́ про случившуюся в доме необычную смерть.

Про нее же инаким образом толкует и другой доморощенный автор, но уже не крестьянского извода, а «неизвестный рабочий из харчевни».

— «Говорят, будто целая семья, семь душ, повесилась в этом доме, — заунывным назидательным тоном повел свое слово изображаемый стариком подмастерье. — Будто жил один человек с женой и пятеро детей было. И вот этот человек фальшивые деньги делал, а дети проболтались — все малютки были. Полиция и дозналась. Пришла арестовывать: двери заперты изнутри. Сколько ни стучались — не отворяют. Взломали, смотрят — висят муж, жена и пятеро детей. Будто в газетах писали об этом...»

Здесь уже за версту слыхать человека иной среды и чужого сознания: заместо чести у него деньги, да еще фальшивые, и доказательство не по нравственному основанию, а «газеты писали». Но и тут есть огрызок правды — про подделку да про петлю...

Подобную же несуразицу сообщили два других наемных работника — укладчик с дровяного склада Андрей Яковлев, пересказавший с чужих слов, будто «по ночам кто-то ходит по комнатам, стонет. Говорят, муж жену зарезал, а сам застрелился. А за что — не знаю»; и водопроводчик Менков, распространившийся в общеизвестном пошибе страшных историй о явлениях духов: «Слышал еще до войны — будто привидение по ночам ходило в дому. И был приказ, чтобы полиция подкараулила. Вот стали караулить; смотрят — идет. Так давай палить в него из револьверов. Зажгли огонь — никого нет, а пули на полу лежат. Ну, может, было что другое, а на привидение повернули, — да мне это ни к чему. Люди говорят, слушаешь — не заткнешь уши».

У них правдиво звучат разве что стон да еще та обиходная мудрость, что от уличных россказней — как сказали бы ваши сородичи — «не заховаешься».

Среди всех такого разбора побасенок наиболее красочны растабары замечательнейшего негодника из ломовых извозчиков по имени Кадушкин. Собственно, подлинная фамилия его была Ларин, а новое более «вместительное» прозвище схлопотал он за то, что занимался некогда доставкою воды в Дорогомилове, где еще не было о ту пору водопровода, причем возил ее не как все прочие в бочке, а огромной, укрепленной на дрогах кадкою. Умер он в двадцать четвертом году восьмидесяти лет от роду и слыл завзятым рассказчиком. Когда не случалось работы, Кадушкин просиживал в харчевне за чаем часа по три, угрюмо насупив густые черные с проседью брови, и выдувал по пять-шесть чайников чаю — то есть нашею мерою стаканов тридцать или тридцать пять; лишь после обильной сей порции принимался он за щи. Выкушавши щей, запивал их объемистой кружкой холодной воды, а потом уже отправлялся на извозчичью биржу.

Кроме того, он беспрестанно нюхал табак, в который ради крепости примешивал золы. Собираясь понюхать, стучал по своему короткому, но очень толстому носу, приговаривая: «Ну-ка, господи благослови, понюхать табачку на доброе здоровьице!» Набив обе ноздри дополна, он принимался громко кряхтеть, а затем приступал непосредственно к чиханию. Чихал же крайне долго и оглушительно, задравши голову кверху и держа в руке грязный красный платок.

Кряхтение его и чих выводили из себя жену харчевника, женщину чрезвычайно нервическую и раздражительную, так что она пускалась выпихивать Кадушкина вон, а тот упирался и продолжал начихивать прежним макаром. Не однажды это противоборство заканчивалось слезами с истерикой, отчего харчевница ненавидела ломовика всей душою — один лишь вид его способен был привести ее в содрогание. Даже прознав про его смерть, она вздохнула с облегчением и, перекрестясь, произнесла с чувством глубокой благодарности: «Слава тебе, господи, слава тебе!» А потом говорила каждому постоянному посетителю: «Слыхали хорошую новость? Кадушкин подох. Убрался-таки наконец, да уж и пора: черти давно его в аду с фонарями искали. Окочурился старый мерин!»

Рассказывали еще, что за несколько дней до смерти Ка-

душкин пожелал исповедаться и во время исповеди сделал выговор священнику за то, что тот исповедовал его «не по правилам».

«Нешто это исповедь?! — говорил он с пренебрежением. — Ты должен сперва изругать меня самыми подлыми, самыми паскудными словами, а потом уже спрашивать о грехах!»

Нюхать же табак перестал только за три часа до смерти. «Не могу, — проговорил наконец он, выпуская из коснеющих рук свою тавлинку. — Видно, Кадушкину каюк... нанюхался...»

— Что же такое мог поведать о таинственном доме сей «сивый мерин»? — вопросил хозяин и тотчас же принялся сам отвечать, перейдя на лающий, проперченный «жуковым зельем» басок.

«Дом этот — проклятый, нечистое место. В нем черти водятся. Ну, как водятся? Не распложаются же, как цыплята из-под курицы, а беснуются. Соберутся, один на гармонике жарит, другой — в тулумбас: бум!.. бум!.. Прочие-то хвосты задерут и пошли отхватывать. Народ так сказывает, а верно ли — не знаю. Будто с двенадцати-то часов ночи начинается. И такого трепака разделывают! Уж они на это мастера... На хорошее-то их не толкнешь, а вот плясать да матерно ругаться — это самое разлюбезное ихнее дело. Очень на то горазды.

И будто в этом доме мать с сыном в блуде жила. Сын взял да и зарезал мать, а после того сам удавился. И вот с этого времени черти и облюбовали этот дом. Пошло по ночам беспокойство. Люди и не хотят в нем жить. Толкуют вот так в народе — а может это и не так...

Какой наш народ! Как примется плести... Особенно — бабы, сороки эти. Они тебе настрекочут, только слушай. И откуда что берется! Сорочья порода — только бы язык чесать...

Ну и не живет никто в этом дому. Да и какая неволя. Деньги заплати да и не спи по ночам, чертовскую музыку слушай. Да сгори он! Черти балы устраивают, а я плати! Дураков нет — уж это оставьте. Да ведь и то сказать: только разговор такой идет, а правда, нет ли — кто знает?!»

— И действительно, тут оставалось бы только чихнуть да крепко-накрепко вычертыхаться, если б в среду всех баек и прибауток, так и сяк склоняя недобрую славу дома, способных лишь подтвердить ее наличие, а не объяснить причину, не затесалась повесть куда более складная и верная—

однако не внешней фактической дотошностью, а сокровенным художественным смыслом, степенно изложенная пятидесятилетним московским картузником Семеном Кондрашовым. Вот она слово в слово:

«Ты об этом доме меня спроси, я тебе все расскажу и разъясню, как и с чего это дело зачалось и чем кончилось.

А что будто в нем черти пляшут, балы устраивают — ты этому не верь: это только белой кобылы сон, и больше ничего. Все это пустое. А что действительно в доме ночью стуковень и громовень идет — так это верно.

Ты вот слушай, я тебе всю историю расскажу, кто этот дом построил, кто жил в нем и как на него нашло проклятие. Все это не зря, а дело серьезное.

Построен он давно, сто с лишком лет будет. Это сейчас же после того, как Наполеон из Москвы ушел. Тогда вся Москва обгорелая была. Нарочно поджигали, чтобы французов выкурить. Всю Москву огню предали. Ну и допекли Наполеона, он и убежал.

Тут вот князь Оболенский и построил на Арбате дом. И раньше его же дом был на этом месте, да он сжег его. Ну, а жил он в новом доме или не жил — не знаю. Одно знаю, что князь Хилков снимал в аренду этот дом, квартировал в нем, и в нем же свою кончину нашел. А князь этот был не простой — ученый человек. Раньше он за границей жил и учился. Все экзамены хорошо сдал, да мало ему этого было. У него, видишь ли, такая зацепка была в голове: хотел вторым Брюсом сделаться. Вот, видишь, какой он рейс взял. Вот какой полет захотел сделать человек!

И была у него старинная книга — Брюсово сочинение, — большие деньги он отдал за него, тысячу или полторы. Ну, понятно, человек хотел наукой навеки прославиться, — вот и не пожалел на книги деньги. А все же напрасно он так возмечтал — не сделался бы вторым Брюсом. Может, чем другим и прославился бы, только до Брюса б не дошел. Это оставьте ваше попечение. И раньше многие добивались попасть в Брюсы, и теперь сколько профессоров и докторов добиваются, да не выходит ихняя затея. Вот и Хилков тоже возмечтал и принялся по Брюсовой книге учиться.

А жил скромно: пиров, балов не задавал и в карты не играл, — не позволял себе этой мошеннической операции: ведь тут только шулерам да жуликам везет, а честный человек всегда в проигрыше. Самое мошенническое занятие, и тот, кто его выдумал, — обязательно был аферист на все руки, жулябия первого сорта.

Ну, а Хилков держал себя в стороне от этих картежников, да и голова у него была не тем забита. Жил потихонечку и прислуги немного держал: лакея да повара. А вот эта прислуга и погубила его. Повар-то, правда, ни при чем, лакей постарался: он отправил князя на тот свет горшки обжигать.

И подлая же тварь был этот лакей! Забрал он в свою дурацкую башку такую вещь: волшебником захотел сделаться. Ну скажи, пожалуйста, ему ли об этом помышлять? Лакейское ли дело заниматься волшебством?! Ведь при месте был человек: и жрал вволю, и жалование хорошее шло, и всегда одет чисто, обут, и работа легкая. Какого еще чорта не хватало!

Так мало этого — захотел еще в волшебники попасть! Разумеется, от сытого житья: закопался у подлеца жир. Понятно, от барина перешло к нему это. Может, барин когда и показывал ему эту книгу Брюсову, может, хвастал, что вот, мол, через эту книгу того-то и того-то можно добиться.

Вот лакей и замыслил украсть у князя книгу. Думал — раскроет ее и сразу волшебством просветится. Хорошо заприметил, какая из себя есть эта книга, и как раз князь пошел на прогулку — он ее и попер. Ну, царапнул он ее великолепно, а не знает, что с ней делать. Раскрыл и глаза вылупил — ничего не понимает. Ни одного слова. Видит — не про него написана эта грамота. Бился, бился — ничего не выходит.

А тут, как на грех, барин скоро с прогулки вернулся. Что делать? Испугался, закрутился, заметался, как бес от ладана, и не знает, как с книгой быть. Метался, метался, помчался на кухню да и сунул книгу под плиту. А повар свое дело делает, ему невдомек.

И тут слышит лакей — подает барин звонки, зовет его. Ну, летит. А князь — сам не свой: хватился книги, а книги нету. «Где, — спрашивает, — книга?» Ну что сказать на это лакею! «Не могу, — говорит, — знать, ваше сиятельство, может, куда завалилась». — «Поищи», — говорит князь. Вот лакей и принялся искать. Сюда заглянул, туда заглянул — нет нигде. Дурака такого валяет, морочит князя. Тут и князь стал помогать ему. Вдвоем принялись они передвигать столы, диваны, шкафы — на весь дом возню подняли. Ну, понятно, не нашли книги, давно уже истлела, дымом пошла.

А князь весь потемнел. Стоял, думал, думал... Выгнал

лакея... Вышел лакей, стоит за дверью, думает: вот-вот барин позовет. Только не зовет его барин. Вот он набрался храбрости, заглянул в кабинет... Смотрит — висит в петле: гвоздь в стену вколотил и на шнурке повесился...

Тут лакей и заорал, гвалту наделал на целый дом. Сбежался народ, пришла полиция. Принялся пристав за лакея, за повара. А лакей говорит: «Ничего не могу знать, ваше благородие. Всё книги читал, а какая причина — не знаю». Ну, понятно, погубил, чортова сволочь, человека — да и «не знаю». А повар и на самом деле ничего не знает. Он на отлете, его дело — кухня.

А как тут правды добьешься, да и кому надо. Повесился и повесился. Значит, смерть такая пришла.

Ну, похоронили князя. После сродственники приехали, забрали имущество, освободили дом. Только не долго стоял этот дом порожняком: снял его один господин семейный. Снял и переехал. Вот живет сутки, живет другие, а на третьи — бежать. «Пускай, — говорит, — чорт в этом дому живет, а не я, православный христианин». — «Что такое?» — спрашивают. «Да в нем, — говорит, — жить нет никакой моготы: как полночь, так тут и пошла по всему дому возня: и столы, и шкафы, и диваны передвигают, и кровати, и кушетки, и стульями гремят. Такой стуковень поднимут — волосы дыбом становятся. А засветишь огонь — нет никого и все в порядке. Все на своем месте. Потушишь огонь — опять пошла возня».

Не поверили ему: думали — колокола льет. Ну, однако, и другие квартиранты больше трех суток не выживали, такое беспокойство. Вот и не стал никто в нем жить. Да будь он проклят, чтобы за свои деньги житья не иметь! А от какой причины эта возня — никто объяснить не мог. Потом-то уж лакеишка этот разъяснил.

А ему плохо пришлось, так плохо, что хуже и некуда: совсем спился, ни за грош пропал. Не прошло ему злодейство его. Затосковал, стал пить. И на местах служил, не без дела был, а вот замучила тоска, он и принялся пить. Ну, как запил, его в шею: кому нужен пьяный лакей? А тут он давай пить и пить. Пропился догола. Оборвался, обтрепался, в опорках — хитрованец настоящий. Все шлялся по кабакам, стрелял. Вот тут он и сделал разъяснение насчет этого шума, возни этой. «Это, — говорит, — покойный барин, князь Хилков, Брюсову книгу ищет. Это он возню подымает!» А сам плачет.

«Я, — говорит, — всему причина, я погубил барина через

свою собственную дурость». И рассказал, как он жил у князя Хилкова, как задумал сделаться волшебником, как книгу Брюсову украл и сжег и как через это князь повесился. «Тут, — говорит, — во всем виновата моя глупость, не соображение. Князь хотел на Брюса экзамен сдать, так он ведь для этого учился, науку проходил. А я, — говорит, — без всякого учения хотел постичь волшебство. Вот, — говорит, — в чем моя ошибка была!» И все плачет... Ну, подносили кто рюмку, кто шкалик... Тоже ведь жаль человека, да уж и стар был... седой весь... Так он и околачивался по кабакам. Что это за житье — хуже собачьего! И подумаешь: ему ли не малина была? Все готовое, жалование хорошее... живи себе, не тужи. А по глупости сунулся не в свое дело, и человека погубил, и сам на мучение пошел... дошатался, на улице и помер. Кто же виноват, как не сам!»

— Вот что, а вернее сказать — кто даст ключ, отворяющий потаенный мысленный ход в самую глубину вещей: закулисный герой последней легенды, потомок шотландских королей и предтеча отечественных любомудров, как черно-, так и белокнижников, — Яков Вилимович Брюс.

Однако имя его и личность — всего лишь начало пути, цель коего отнюдь еще не близка; тем паче что, как ловко заметил однажды некий вития, — всякая почти тайна гораздо величественней и ярче собственной своей разгадки. Впрочем, как кажется, к данному случаю сей трюизм все-таки малоприложим...

Целый сонм крайне распространенных в свое время поверий, не все из коих нашли отражение в письменности, окружает образ петровского генерал-фельдцейхмейстера, мужа науки и вместе с тем по обиходному толкованию колдуна Брюса; и вот одно из них на самом деле называет его обладателем чародейной «Черной книги», в которой-де расписана была вся житейская премудрость как она есть в чистом виде. Книгою пользовался державный строитель ветхозаветного храма царь Соломон; потом ею обладали почитавшие себя соломоновыми наследниками рыцари храмовники — тамплиеры. После того как изуверное их сообщество было разгромлено и остатки его рассеялись по всему белу свету, книгу потопили в море, откуда ее выловил некий кудесник и отдал Брюсу, — Брюс же, вытвердив наизусть, повелел замуровать в стене Сухаревой башни на тьму — то есть десять тысяч — лет. Ан башня не выстояла и трех столетий: один фундамент теперь под землею остался...

Длинные московские языки много еще чего ставили

Якову Вилимовичу в счет, среди прочего даже создание куклы, что ходила и говорила будто живая, коей не хватало до полного воплощения лишь самой малости — души человеческой. Затем другое предание гласило, будто бы на случай собственной смерти Брюс оставил две склянки с мертвой и живою водой, велев поочередно сбрызнуть ими свой хладный труп перед погребением. Сказание повествует далее, что окропленный первым эликсиром старый мертвец во гробе обратился в свежего нежного юношу с румянцем, игравшим на щечках, и пушком над пунцовой губою. Столь кощунственное попирание законов естества ужаснуло присутствовавших, и они, вылив вон другую жидкость, разбили заодно все прочие реторты и поспешили закопать тело-оборотень скорее поглубже в землю.

Легенды Брюсова круга отнюдь не были достоянием одной низовой городской словесности: так, повесть об его алхимических штудиях, вышедшая из-под пера писателя-романтика Владимира Одоевского, издана была в свет в 1841 году — точно тогда, когда занимающий нас дом перешел в род князей Оболенских; но дабы не застревать в околичностях, последнее удобней до поры списать на счет той игры в совпадения, связывающие наподобие эха перекликающиеся в истории события, какой забавляется на досуге скучающая без дела судьба.

Впрочем, стоит также погодить пенять своих предков за нелепые суеверия; чтобы недалеко ходить за примером — не нынче ли возродилось поветрие на живую да мертвую воду, разве что более наукообразно изготовленную... Но и помимо шуток, глядите-ка: чего-чего только ни наломала история за последний век на Москве, а коль скоро собрались что-то восстановить наново, то в первую голову выбраны оказались два здания, как нарочно имеющие то или иное касательство к Брюсу — наш с вами арбатский особняк и Сухарева башня; причем последнюю двигавший все дело важный архитектор норовил зачем-то обязательно поставить в стороне от подлинного основания, начерно раскопанного близ устья Сретенки ревнителями старины!

Но пора наконец оставить легенды побоку — далее нас поведут уже свидетельства положительных очевидцев. Как вспоминали современники, в окнах самого верхнего покоя Сухаревой башни зимними ночами не раз мерцал загадочный огонь — невольно напоминающий преждереченные полуночные свечения в доме на Арбате, спроста приписывавшиеся нечистой силе: говорили, что это в обсерватории

московской адмиралтейской школы Брюс звездочетствует, числит пути светил. Недаром ведь и календарь, не им составленный и только смотрением его почтенный, накрепко застрял в народной памяти под именем Брюсова — ибо в нем помимо святцев и долготы дней содержались еще особые «предсказания действ» по течению луны и планет на ближайшее столетие, которые ученики его затем продлили вплоть до начала третьей тысячи лет.

Тут-то и была зарыта собака: сияния сии имели ближайшее отношение не к астрономии или даже астрологии, а к факелам на радениях «рыцарей храма» — ведь ровно за пять лет до осьмнадцатого века в вышней каморе башни открылись работы ложи «Нептун» под молотком Петрова наставника Лефорта; всего-навсё в нее входило восемь избранных братьев, в том числе родич Лефорта Гордон, сам Брюс, хитроглаголивый змей церкви Феофан Прокопович и — молодой русский царь. Как гласит собственно масонское предание, вторым «мастером стула» после умершего вскоре Лефорта и сделался на долгое время Яков Вилимович, «глубоко и плодотворно проникший в учение ордена».

Так розыск о частной тайне перерос постепенно в вопрос о тайном сообществе, родоначальнике множества прочих, доставивших России немалые хлопоты, — но как скоро успел я добраться до этой меты, сделалось совершенно ясно, что по печатным источникам продвинуться далее в его расследовании будет уже невозможно...

Когда-то еще в трудные времена я передал на хранение в различные архивы, и в первую очередь тот, что помещается в крыле Пашкова дома в полусотне шагов от вашей службы, значительную часть семейных бумаг, выговорив себе при этом на всякий случай право работать в них, ежели в том возникнет нужда. Теперь такая необходимость сделалась наконец насущной — и, надо отдать должное не раз сменившемуся в тех учреждениях начальству, слово свое они сдержали верно. Вот что я сумел благодаря этому выяснить сперва из числа сухих отчетных сведений про владение нумер четырнадцатый по Арбату...

В начале восемнадцатого века тут находился дом ландрихтера Манукова, который отдал его в приданое дочери, сосватанной поручиком гвардии Преображенского полка Василием Суворовым — оттого-то и считается, что именно здесь явился на свет в 1729 году его сын, будущий славный генералиссимус.

В 1793-м домом на этом участке владел губернский прокурор князь Петр Шаховской, причем, судя по сохранившемуся в альбомах архитектора Матвея Казакова рисунку, левая часть здания была переделана из древних, скорее всего еще суворовских, лет палат. В нашествие галлов особняк погорел, после чего наследницы князя Петра Елизавета и Анна выстроили на его месте другой — тот самый, что не дошел до вас последним. В делах остался чертеж этого стройного здания о шести колоннах с девятью окнами на фасаде, справа и слева обрамленного сенями. Хотя было оно деревянным, оштукатуренным и об одном всего этаже, но стояло на высоком подклете с подвалом и оттого казалось столь внушительным, что даже летописец его легенд Баранов ошибкою счел дом за каменный. До него дожил и один из двух бронзовых львов, охранявших дворовое крыльцо: он так понравился ученым из «Старой Москвы», что попал на заставку и титул барановской книги, а кроме того, взят был на музейный учет отделом народного образования.

С 1841 года дом числился за коллежской советницею Александрой Алексеевной Оболенской, происходившей из крупной купеческой семьи Мазуриных — ее-то торопливое тщание поздних историков и превратило в брата собственного мужа «А. А. Оболенского».

Супругом Александры Алексеевны состоял весьма именитый в ученых кругах князь Михаил Андреевич, с 1840 года по самую свою кончину в 1877-м заведовавший московским главным архивом Министерства иностранных дел, где находилось несметное множество древних актов русского государства. Будучи также главою древлехранилища хартий, рукописей и печатей Оружейной палаты; руководителем воссоздания музея-палат бояр Романовых на Знаменке и прочая, прочая, прочая в том же роде, — князь Михаил со временем превратился в крупнейшего археографа, собирателя и издателя памятников российской истории. Вот уж про кого можно не обинуясь сказать словами той притчи о талантах, что все данное ему судьбою их множество он не соблюл под спудом, а приложил пять на пять, ежели еще не больше!

По воспоминаниям его ученика историка Костомарова, Оболенский постоянно проживал в своем арбатском доме подле Николы Явленного и лишь на лето отправлялся в имение Глухово Дмитровского уезда в шестидесяти верстах от Москвы, почти что триста лет принадлежавшее их

роду, где и был впоследствии погребен, — это как раз та соседняя с нашей подмосковная, о которой шла уже речь вначале.

По счастью, даже облик хозяина той поры сохранен на выразительнейшем портрете кисти Брюллова начала 1840-х годов, — он висит посейчас прямо напротив «Явления Христа народу» в Третьяковке. Здесь изображен коротко подстриженный цветущий розовощекий барин на четвертом десятке лет, недавно, как видно, вступивший в супружество — ибо обручальное кольцо нарочно выставлено наперед так, чтобы чуть не кололо глаз зрителя. На нем парчовая, подстегнутая поясом рубаха, поверх которой накинут отороченный норкой халат. Длань оперта около древних книг с металлическими застежками, рядом с которыми видны еще старинный шлем и кубок-наутилус. Позади на обитых бордовым штофом стенах развешано оружие прошлых веков: щит, сабля, кинжал и пистолет, — а из верхнего правого угла тенью грядущих бед тянется рука рыцарского доспеха с перчаткой, занесшая над ничего не подозревающей голою головою длинную секиру...

В декабре 1898 года, как гласит надпись на обороте портрета, картина перешла в собственность моего знакомца Николая Николаевича Оболенского, и это сущая правда: я ее этими вот глазами, что относительно ясно созерцают сейчас вас противу себя, видал в «проклятом дому» на первородном исконном месте.

...Рыцарь, выждав свой час, не промахнулся — в семье Оболенских в 1862 году случилось несчастье с двадцатитрехлетним отпрыском Михаила Андреевича Алексеем; однако достоверный свидетель сообщает о его обстоятельствах крайне глухо, а других сведений для сопоставления и вовсе не сохранилось. «Образ жизни его был уединенным,— пишет в книге, посвященной памяти Михаила Андреевича, Костомаров, — но удаляясь от светского общества, он любил беседу с учеными людьми и очень много читал, проводя иногда ночи за старыми бумагами. Кончина единственного сына потрясла его и с тех пор он стал жить еще уединеннее».

Но какой бы путь ни привел юношу Оболенского к могиле — навряд ли эта, отнюдь не единственная на свете молодая смерть, могла послужить основой для такой могучей зловещей славы. Я все-таки попытался разузнать у поздних потомков той ветви семьи о ее предполагаемой причине, но ежели даже Николай Николаевич ничего не

сообщил мне восемьдесят лет тому назад, то мудрено ли, что нынче память о ней и вовсе изгладилась. Да кроме того, копаться в чужих личных бедах и вообще-то стыд, но главное, что тут явно приключилось нечто неизмеримо страшнейшее и по всей видимости целою третью века позднее...

По смерти Михаила Андреевича в 1873 году дом унаследовала его дочь Анна, некогда фрейлина императрицы, вышедшая затем замуж за князя Григория Дмитриевича Хилкова. Дюжину лет спустя она овдовела и с той поры жила по преимуществу в далеком украинском имении. Вот в девяностых годах, когда дом пустовал, как раз и пошли про него гулять темные сказания...

У самой черты века особняк по кончине Анны Михайловны достался Николаю Николаевичу Оболенскому, внуку младшего брата Михаила Андреевича — Владимира, и принадлежал ему вплоть до пятнадцатого года, хотя, как уже поминалось, и этот новый хозяин предпочел вскоре перебраться в другой свой дом на Сивцевом Вражке. Про него я могу с полной определенностью утверждать, что уж этот-то человек и его домочадцы, сколь разными и любопытными людьми они ни были, никогда не смогли б послужить источником каких бы то ни было поверий о привидениях!

Приобретший за два года до революции особняк «московский купец Гоберман» провладел им также недолго: по воспоминаниям Баранова, уже в девятнадцатом дом стоял пуст и необитаем. Затем его прибрала к рукам закройная мастерская, которая в один ненастный денек была столь исчерпывающим образом обобрана налетчиками, что осталась буквально нищей и принуждена оказалась выехать вон. Позже в здании коротко гостевали друг за другом склад «Главспичка», некая безымянная канцелярия и контора «Винторг», а в конце концов оно было, как известно, совсем снесено.

Таким образом, архивная история «проклятого дома» показала лишь тот промежуток времени, в который следует искать причину зарождения легенды, но ничего не дала знать о ней самой. Впрочем, и на том ей несомненно стоит молвить спасибо.

...Путеводительный случай, не оставлявший пока мой розыск без своего попечения, подсунул тогда в руки тонкую нить, вплетшуюся в клубок прочих, почти что бесчисленных родственных связей Оболенских — она тянулась к семье по-

томственных московских розенкрейцеров Арсеньевых: княжна Варвара Васильевна Оболенская, дальняя родичка Михаила Андреевича, состояла в замужестве за сыном последнего адепта «Теоретического градуса» новиковской традиции Василия Сергеевича Арсеньева — Владимиром Васильевичем. И тут, на мое счастье, как будто ненароком совпало так, что как раз о ту пору в рукописном отделе на Знаменке затеяно было новое описание арсеньевского фонда. Проводил его архивист Алексей Дмитриевич Жуков, к которому я и направился за некоторыми мелкими разъяснениями, довольно-таки неожиданно закончившимися целым рядом пространнейших бесед, почти что вплотную приведших к вратам искомой разгадки...

Брюс, Оболенские и Арсеньевы, как показалось спервоначала, связаны были единою цепью преемства через сообщество вольных каменщиков; тем паче что в недавней книге о нем современный историк Старцев приводит еще одно косвенное тому подтверждение: в десятые годы нынешнего столетия Владимир Андреевич Оболенский, щур — то есть прапрадед — коего был братом прадеда владельца «проклятого дома» Михаила Андреевича, состоял одним из трех главных членов верховного тайного совета, направлявшего работу всего российского масонства. Однако впоследствии прояснилось, что самое важное — не связь, а именно обрыв этой цепи посередине, тщательно скрываемый поборниками ложного преемства, — если можно позволить себе тут игру слов.

Только ни в коем случае не следует пугаться одного имени масона и из-за этого отказываться вообще рассматривать подобного свойства вопросы — легко убедиться на деле, что здесь куда больше человеческого, нежели потустороннего. Недаром же появление ордена в России неизменно связывается с рубежом семнадцатого и осьмнадцатого веков и сопрягается чаще всего с именем царя Петра. К этому приложимы в точности те же два счастливо найденных слова, которыми определена была в свое время вся полоса петровских преобразований: «необходимая ошибка».

Оправившись от Смуты, Россия медленно, но несомненно входила в число великих европейских держав; труд этого вхождения был крайне нелегким, требовал изрядного прилежания и терпения. Между тем пылкая страсть, присущая нашей породе и нраву, не умела обуздать себя и воплотилась она как раз в той самой личности, которая по всем меркам средневековья являла собою живое средото-

чие воли и чаяний нации — в царе. Тогда-то он и принялся очертя голову обрывать корни, связывающие настоящее с прошлым, с подлинной одержимостью сжигая за собой в истории мосты.

Распространяемый на все области государственного хозяйства, жар сей достиг и опалил также науки, главною из коих считалось тогда учение о достижении победы над смертью. И достаточно было нескольким искрам всеобщего пламени мгновенных перемен залететь сюда, как надменная мысль сложила и подожгла костер из вековых преданий; затем она почувствовала себя свободною от всего на свете и, помножившись на гордость, заслуженно почитавшуюся от сотворения мира основанием всех прочих пороков, решила, что отныне сокровенные истины природы могут постигать лишь избранные, причем потаенным путем, начисто отгородившись от закоснелых непросвещенных простолюдинов. Последние должны были обеспечивать «братьям» повсежизненный досуг для производства «работ», окончание коих сулило бы им даровое благоденствие в будущем всемирном государстве под управлением ордена. Эта жажда оделить неразумного ближнего прелестями всеобщей гармонии космополитического союза имела в своей основе уверенность в исконной безличности простеца как такового и тем самым развоплощала его из венца творения в вещество для переработки.

Так или иначе, огромная часть российского дворянства вовлеклась в соблазн поисков тайной премудрости отдельно от своего народа, в особенности получивши к этому склонность и средства полвека спустя, когда тогдашний масонский голова Роман Воронцов добился от Петра Третьего указа о вольности дворянства, то есть освобождения одного лишь собственного сословия от обязательной службы отечеству.

Однако совершенно безрассудно было бы подозревать всех, кто участвовал в этом, в явном желании зла своей стране,— ибо намерения в большинстве оставались все-таки чисты; другое дело, что для их воплощения избраны были отнюдь не безупречные способы. Ведь вопреки каменщическим уставам зачастую ревность к родине побеждала обязанность служить в первую очередь невидимым орденским начальникам. В противном случае не было бы в числе подлинно русских деятелей Карамзина и Пушкина, Суворова и Кутузова и еще нескольких тысяч других, состоявших в ложах скорее умом, нежели духом.

...Любопытство к прошлому и настоящему вольного каменщичества сейчас вновь возбуждено до предела, и потому-то нет особого смысла следить за всеми превращениями его в веках — они более или менее общеизвестны. Зато благодаря этому можно сразу быстро продвинуться к той решающей точке, что я рискнул бы назвать разгадкою — или, точнее, тенью разгадки заклятия, положенного на арбатский особняк со львами...

Наиболее скрытой и поныне остается лишь деятельность масонских сообществ в России середины девятнадцатого столетия; напротив, как это ни удивительно, «просветительское» масонство екатерининской поры и декабристское александровской изучено почти столь же подробно, как и потаенная политическая спайка каменщиками всех сил, недолгим праздником коих послужила февральская революция. Но промежуток между ними доселе покрыт почти полным «силанумом» — к нему-то и следует теперь обратиться.

Тайные общества в России были навсегда официально упразднены императорским рескриптом 1822 года. Еще три года спустя разгром на Сенатской площади положил конец тем деятельным ложам, которые дерзнули не подчиниться запрету, — а оставшиеся адепты противоположного им «ученого» направления, в основном объединявшиеся вокруг розенкрейцерства, будучи людьми чести и слова, оказались связанными обещанием не поддерживать впредь никаких связей с зарубежными «братьями».

Однако спустя небольшой срок в Москве, являвшейся колыбелью розенкрейцерства, возобновил свои работы «Теоретический градус», но теперь это были совершенно иного свойства собрания. Они представляли собою спокойные, почти семейные заседания, на которых сходились люди из числа родовитого дворянства, чиновничества и научного мира, почти поголовно связанные узами крови или по крайней мере стариннейшего дружества. Прервав сообщение с заграничными системами, коих не без основания подозревали теперь в недоброжелательстве, они согласились также прекратить прием каких бы то ни было новых членов опричь собственных детей и ближайших родичей. Настойчивые поиски тех ошибок, которые подтолкнули братство не только на край погибели, но и чуть было не поставили в ряды предателей родины, вместе с искренними чаяниями ей процветания и добра, постепенно привели их к решению о том, что нет к тому лучшего пути, кроме как, остановивши

вовсе тайную деятельность, вернуться к посильному труду на пользу России вместе со всеми прочими соотечественниками.

Это совпало по времени с резким, быть может даже через край меры, осуждением, какому подвергли все вообще петровские преобразования славянофилы — многие из которых, кстати, как раз и выросли в этих самых либо схожих с ними московских домашних кружках. Добросовестные занятия историей и любомудрием закончились в итоге тем, что с начала 1860-х годов работы «Теоретического градуса» совершенно прекратились и все свои последние силы престарелые новиковские розенкрейцеры отдали русской армии, земщине и хозяйству. А вскорости живым из его участников остался один только Василий Сергеевич Арсеньев, занявшийся обработкой и выборочным изданием доставшегося ему огромного архива сообщества, по большей части перекочевавшего затем в Румянцевский музей.

Эпилог этот был неизбежен — неотвратимость его коренится в самой природе масонского учения, которое не является ни самостоятельным, ни самодостаточным. Потому-то оно и не может долго существовать без привязки к чему-то высшему себя, и тогда перед всяким последовательным каменщиком открываются два пути — либо возврат к единству с исторической судьбой собственного народа и отречение от попыток скрытно выцыганить у натуры волшебный эликсир Урим, согласно каббалистическим повериям сообщающий дар исчерпывающего знания; либо сознательный отказ от поисков чистой правды, превращающий сеть лож в мощную боевую организацию, нацеленную на захват власти ради нее самой...

Алексей Дмитриевич Жуков указал также на весьма выразительный символ первого из этих выборов: это ставшая ныне чрезвычайно ходовой среди читающей братии книга философа Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», вышедшая в свет в 1914 году. Недавнее общее поветрие восхвалять ее как средоточие всех наук сменяется сейчас новым и столь же скоропалительным осуждением за якобы нестрогость и всеядность. Между тем наиболее ценно тут совершенно иное — а именно то, что, по верному замечанию Жукова, она представляет собою превосходную картинку к русскому изводу притчи о блудном сыне: отягченный неудобь носимою ношей бесчисленных нужных, полунужных и вовсе безнужных знаний, образованнейший ум эпохи от поисков соблазнительной мудрости на чуждом

«востоке», будь то заоблачный Тибет или союз лож «Великого Востока Франции», приходит к осознанию того, что подлинный-то восток лежит под ногами — земля природного отечества, соль которой — ее предания, заветы и крепость духа. В единстве с ними и состоит истинная премудрость, осеняющая спасительным покровом наше прошедшее, грядущее и нагрянувшее...

Вторая дорога ведет в противоположную сторону, хотя избравшие ее и старались всячески доказать свое непосредственное преемство от «старых мастеров». На похороны Арсеньева в 1915 году явился некто Казначеев, представлявший редакцию журнала «Изида», и возложил ветку акации — одну из главных масонских эмблем: по легенде ордена, дерево это росло на могиле Адонирама, строителя Соломонова храма. Но за покровом новоявленной Изиды пряталось нечто совершенно иное...

Середина минувшего столетия стала переломной в судьбах всего вольного каменщичества; и чрезвычайно знаменательно, что в то время как накануне празднования тысячелетия России в 1862 году окончательно прекратил работы прежний «Теоретический градус» в Москве — лишь тремя годами позднее конвент ведущей системы мира, того самого французского «Великого Востока», постановил изгнать напрочь из своего устава понятие «Великого Архитектора Вселенной», вписавши туда взамен, что отныне главными целями лож становятся «абсолютная свобода совести и человеческая солидарность». И хотя их англосаксонские братья не приняли такого нововведения, передовая сила масонства с тех пор и вплоть до нынешних дней является полностью атеистической — так что тут нет уже никакой мистики кроме разве что тайны того, чтó именно понимают «высокие начальники» под абсолютной свободой. А когда в последние десятилетия прошлого века среди недовольного российского дворянства и купечества зарождалось либеральное «освободительное движение», первые руководители его понесли свои головы на поклон и посвящение в степени именно к парижскому правлению Великого Востока.

В девятьсот пятом при подготовке манифеста о веротерпимости им, впрочем, не удалось все же добиться открытого разрешения на возобновление работы лож — те так и остались вплоть до второй революции под официальным запретом, чему немало поспособствовал ставший вскоре главою совета министров Петр Столыпин. Но с тем бóльшим рвением развернута была в ответ подспудная масон-

ская деятельность, и вот как раз столицею ее, как это ни странно на первый взгляд, стал не правительствующий Петербург, а тихий доселе московский Арбат!

Здесь поначалу в доме Нейдгардта, а затем Толстого поместилась в начале века контора журнала «Ребус», к 1917 году выпустившего до полутора тысяч номеров, целиком посвященных «оккультизму, тайноведению и масонству». В 1908-м издатель его Чистяков предпринял еще и выпуск «Русского франкмасона» — что, как гласило особое предуведомление, призван был сделаться «первым в России журналом историческим, общественным и научно-популярным, посвященным учению, истории и литературе масонского союза С. К. у нас и заграницею, для всех работающих и ищущих в трех степенях истинного и справедливого Иоаннического духовного масонства».

Неподалеку в Третьем Обыденском — как раз против храма Христа Спасителя — появилась редакция их третьего соратника под названием «Спиритуалист». Тот же Чистяков был избран председателем созванного в Москве первого Всероссийского съезда спиритуалистов, где, пользуясь случаем, произнес речь об одном сокровенном союзе азиатских розенкрейцеров. Само по себе учение их, помещенное в «Трудах» съезда, столь же пошлое и по преимуществу заемное, что и все подобного рода писания, — зато чрезвычайно любопытна изложенная во вступлении к речи история, а также главный знак, помещенный в конце. Оказывается, основал орден барон Эккерт, исключенный из венских лож в 1780-е годы за усердное принятие туда представителей чужой веры; тогда-то, по словам Чистякова, он на средства некоего Гиршмана и учредил новую систему, из этих именно лиц и состоящую. Причина усиленного тяготения их к поступлению в масоны осталась для Чистякова лично неясною, однако он располагал сведениями о том, будто вычеркнутый из анналов европейского вольного каменщичества орден азиатских розенкрейцеров имеет своим местопребыванием не то Мадрас, не то тибетскую столицу Лхассу. Последнее, конечно, выходит уже далеко за грань вероятия, зато совсем обратное отношение вызывает сообщение в разделе хроники «Русского франкмасона» о том, что сей орден постановил прекратить работы в Азии и Америке, предложив братьям перенести свою деятельность в иные части света — тут уж долго гадать не приходится, в Африке ли с Австралией они на самом деле расположились или в Европе...

В заключение речи Чистяков зачитал приветственное обращение «с востока далекой Азии», гласившее, что символ надежд азиатских розенкрейцеров есть «священное всеединство вселенской Пентаграммы», она же звезда Соломона. Именно этот знак и был начертан на челе петербургского журнала «Изида», основной костяк сотрудников коего составляли, однако, опять-таки жители первопрестольной. Издание это помещало на своих страницах множество сведений по всем отраслям мистики, причем основным его иноземным корреспондентом состоял великий мастер французских мартинистов небезызвестный Папюс. В числе прочих новостей, за легчайшим покровом оговорки о том, что это-де только курьез и истинный спирит на подобное никогда не пойдет, тут распространялись ни много ни мало материалы о структуре «черной мессы» и «шабаша». В последнем проскочил даже один примечательный огрех, выдающий с головой непосредственность источника сообщения — при изложении самой мрачной части действа, когда присутствующие должны лобызать сзади черного козла, воплощающего Сатану, неожиданно добавлялось, что в миг соприкосновения сие препохабное место вдруг обращается в лицо прекрасного юноши, сладострастно отвечающего на поцелуй!

Но такого свойства дразнящие россказни только прикрывали подлинные заботы о приобретении вполне насущной, а не мистической власти. Причем мечтания «братьев» досягали прямо до тогдашней ее вершины — и вот тот же Папюс, проведавши про склонность нового русского императора к вопросам высших ценностей человеческой жизни, вскоре направляется погостить в Россию с худо спрятанной надеждой закрепиться здесь в звании придворного «духоведа». Когда же намерение это с треском проваливается, он посвящает в пятом году в мастера своего толка розенкрейцерства того самого Казначеева, что появился потом с веткой акации на арсеньевской могиле — и довольно быстро его якобы занятый целиком поисками алхимической премудрости союз становится деятельнейшей противомонархической партией. В отместку за неудачу пущен еще был слух, будто царь и сам состоит в некоей царскосельской ложе «Крест и звезда» — его даже пропечатал впоследствии в своих заграничных воспоминаниях «Москва купеческая» бывший богатый предприниматель Бурышкин, а некоторые современные ревнители без рассуждения принялись, не проверивши, повторять затем на все лады. Между тем, обви-

нение сие всеконечно беспочвенное, — зато вот сам ввернувший его автор как раз документально известен как член верховного орденского правления в предреволюционное десятилетие; не даром же спустя еще ровно полвека в Париже вышла подготовленная им — в ту пору, когда он собственными стараниями оказался не у дел — наиболее полная на сей день библиография по истории отечественного масонства.

Всматриваясь теперь поверх раздутого под грохот первой мировой войны пламени внутренней измены, чуть было не отдавшей страну в руки врага, я пытаюсь разглядеть в мглистой дали времен первые брошенные в него искры — и вижу там не что иное, как блуждающие по ночам огоньки в окнах того самого арбатского особняка... Протокольных, то есть попросту говоря бумажных свидетельств этому еще не найдено: нити подводят почти что прямо к ступенькам с бронзовыми львами — и тут, как нарочно, обрываются все как одна! Но исходная точка их теперь для меня несомненна, и дело даже не в том — через дальнего родича, питерского Оболенского завелись тут масоны, сняли ли они пустовавший в отсутствие хозяйки дом через подставных лиц либо вообще забрались сюда даром; главное, что по всей видимости именно здесь было принято окончательное решение отбросить прочь стесняющие «абсолютную свободу» движений и убеждений обряды, фартуки и молотки вкупе с не нужным более небесным «Архитектором», обезьянничавшим христианского Творца, — и начать всеми средствами подвигаться к подлинным рычагам управления государством.

Решающие показания на суде памяти дают не мертвые вещественные улики, а мощное народное чувство, безоговорочно признавшее место, где это произошло, проклятым. Но ежели вдуматься пристальнее, то становится ясно еще, что даже основания подпольного движения, стремящегося любою ценой достичь верховной власти, все-таки недостаточно для того, чтобы родилась легенда подобной силы отвращения. Что же могло послужить ее изначальной причиной?

...Тут он отхлебнул наконец позабытого вовсе за жаркой речью изрядно остывшего чая и, торопясь удержать слово на достигнутом уровне напряжения, задал новый вопрос, ответа на который не стал, впрочем, дожидаться:

— А как вам кажется, для чего все-таки они столь упорно величались приверженцами «Востока», да еще и «Вели-

кого», будучи заведомо людьми совершенно западными и по происхождению, и по складу ума? Ну, восточная область для обиходного сознания европейца — это далекие бескрайние пространства, почти не исследованные, преисполненные чудесами черной и белой магии; однако нам-то с вами должно быть понятно, что это только приманка для простофиль. Зато синонимы «запада» и «востока» в нашем родном языке: закат и восход — вот что куда точнее передает существо этого противопоставления... Тут налицо лукавая попытка заменить один из них другим, — но коль скоро сие становится явно, мы вступаем уже на последнюю и самую высокую ступень познания разгадки нашей тайны, ибо подходим вплотную к вопросу о природе зла.

Ведь опять-таки само по себе злое начало никак не могло бы вызвать настолько острого отклика в сердцах предков. Взять хотя бы то, как был устроен внутри соседний с «проклятым домом» храм Николы Явленного: на восточной его стене, строго по каноническим правилам, помещались наглядные образы всего светлого, в чем человек от века видел залог спасения; на западной же — как это обычно водилось везде, начиная от сельской церквушки и вплоть до кафедрального собора, — находилась картина «Страшного суда», где темные силы представлены были тоже воочию во всем своем сонмище. Однако никто не шарахался по ночам от церковных стен и уж они-то никогда не порождали столь жутких поверий...

А все оттого, что зло как таковое несамостоятельно и есть лишь в той или иной мере недостаток добра. Чистое зло невозможно, как говорится, по определению — ибо разъедание добра есть его единственная пища. Но что куда страшнее и погубительней отсутствующего в природе кромешного зла — это подмена верных понятий о свете и тьме, первым шагом на пути к которой является признание их равносильности и равноправия. Мир земной, плотский в подобного рода представлениях неминуемо целиком достается злому началу, а добро уносится витать где-то там далеко в поднебесье.

Лжеучение сие из числа наиболее древних и в прежние века звалось обычно манихейством — к нему-то и тянутся подлинные философские корни масонства. Но чтобы не углубляться в бездну тысячелетий, справимся лучше у современника, доктора истории и географии Льва Гумилева — ей-же-ей, по моему разумению, не меньшего размаха художника в науке, нежели оба его знаменитых родителя в поэзии.

Так вот, одною из сквозных тем его трудов, которые вам так или иначе должны быть, конечно, знакомы, и является разработка трагической и всегда в основных вехах сходной биографии манихейских сообществ. Время от времени подобные идеи овладевали иными странами, неотвратимо приводя их сперва ко презрению к «падшей земле»; оно в свой черед влекло уверенность во вседозволенности на ней для себя и рождало чувство черной ненависти к ближнему. Тогда двоеверные системы принимались крушить все вокруг и в итоге подвергались полному уничтожению либо себе подобными, но более сильными, либо здоровыми духом соседями, которым, впрочем, успевали принести бесчисленные страдания, — и на месте их оставались только дымящиеся груды костей и пепла.

Отвращение к природе наталкивается на встречный отклик в самом ее естестве. Не знаю, доводилось ли вам наблюдать, что происходит в час солнечного затмения при пасмурной погоде? Ущербленное солнце скрыто за облаками и уход его как будто бы должен пройти незамеченным — но все, что ни есть на свете живого, вдруг замирает, и кругом ложится смертельная тишина: сердце подсказывает тогда, что в мире стряслось нечто для всякого дыхания беспредельно чуждое и опасное. Сродное этому по глубочайшему смыслу и случилось однажды у нас на Арбате, оставив в душах москвичей больной след на долгие годы...

Поэтому я в конце концов оставил вовсе поиски в архивах — ну, скажите на милость, разве в каком-то затерянном среди дремучего леса «единиц хранения» документике здесь суть? Да и много ли может доказать немое вещественное свидетельство там, где вопрос стоит о коренных ценностях бытия?

...Вот в начале шестнадцатого века был такой случай, что у Василия Третьего жена Соломóния продолжительный срок оставалась бесплодной — и тогда он ради того, чтобы на великокняжеский стол сел непременно собственный сын, решился поломать все нравы и обычаи земли: насильно постриг жену в суздальский монастырь, а за себя взял литовскую выезжанку Елену Глинскую. Однако вскоре из Суздаля поползли слухи, что заключенная княгиня прибыла туда уже непраздной и родила в положенный срок мальчика, который был объявлен умершим для наехавших из Москвы следователей, а на самом-то деле скрыт и сделался впоследствии знаменитым разбойником Кудеяром... Такова именно была народная вера, нашедшая себе еще одно

подтверждение в том, что царствование наследника—Ивана Грозного, насильно выхваченного у судьбы Василием, оказалось несчастным, а через одно колено род Рюриковичей на троне и вовсе пресекся.

Но вдруг в тридцатые годы нашего столетия обнаружилось как будто бы решающее доказательство: вскрыли монастырский склеп и неожиданно нашли лежащую там запеленатую в младенческие одежды куклу! И что же оно дало? Сторонники того, что вся история была вымышлена Соломонией в отместку за нанесенную обиду, видят тут подтверждение именно своего мнения; те, кто склоняются в пользу признания Кудеяра истинным царевичем — своего: дескать, засунули в могилу игрушку, спрятав живого малютку в лесах, — а приверженцы неукоснительной научной точности подвергают сомнению саму находку как таковую.

— Между прочим, двумя подобного свойства косвенными уликами снабдила сей частный розыск пора упадка и исчезновения русского масонства — второе десятилетие века. О первой из них рассказала мне лично непосредственная свидетельница Валерия Дмитриевна, бывшая затем вторым браком за известным писателем П. Как раз в середине двадцатых ее с первым мужем Лебедевым стали усиленно завлекать в ложу, работавшую в подвальном помещении одного из домов в истоке Арбата (но которого точно — она, к сожалению, не пояснила, а я тогда еще не занимался вплотную «проклятым» особняком и поэтому спросить укоснил). — В самый день принятия ее с супругом согласно обряду оставили на некоторое время в обитой сплошь черной материей комнате для новоначальных ради лучшего сосредоточения мысли. По присущему женской природе любопытству моя знакомая, вместо того чтобы сидеть на месте и раздумывать об отвлеченных предметах, пустилась бродить по углам и в одном из них, отдернувши занавесь, наткнулась лицом к лицу на изваяние Мефистофеля!.. Тотчас же оба они бежали прочь, а затем она, не угомонившись, написала еще бывшим приятелям укоризненное письмо, на которое получила чрезвычайно вежливый ответ с извинениями, где помимо того сообщалось, что ложа вообще свои работы прекращает...

Последние ложи в Москве и Питере на самом деле закрылись, но не своей вольной волею, около 1928 года; московская к тому времени перебралась по соседству в Музей изящных искусств. А в начале тридцатых кровный арбатский уроженец писатель Андрей Белый вот что еще занес

в свои воспоминания об одном из зданий по родной улице — дайте-ка мне, будьте любезны, вон тот томик с подоконника, заложенный карточкою ровно на сотой странице.

Я торопливо передал ему требуемое, а старик, вздевши вновь на костистый свой нос окуляры, решительно разогнул книгу и прочел:

— «...В угловом доме, наискось, много годов торговали различными средствами против клопов; когда после, в двадцатом году, развалили тот домик, открылося изображение дьявола: прямо в стене; и болтали: мол, здесь сатанисты года, под шумок, алтарь дьяволу строили, голую женщину еженедельно кладя на алтарь».

Ну, насчет обнаженных красоток заместо престола тут действительно скорее всего «болтали», зато изображение было в точности то, о коем поведала мне в свой черед Валерия Дмитриевна...

С той поры братство франкмасонов покинуло как будто Россию и вернулось обратно на свою исконную западную прародину, — однако урока, данного им, никогда не следует забывать. И коли уж Арбат не на шутку затеяли теперь сделать наглядным пособием нашей исторической памяти, то совсем не новое гнездо для привидений стоило бы возводить, а лучше всего — поставить памятник в честь появления здесь на свет Суворова; и притом не только как славного полководца и выдающегося московского уроженца, но и истинно русского человека, не избежавшего соблазна чужебесия, но сумевшего пережить его и остаться верным сыном своего отечества. Тем паче что сквер на этом месте нынче принадлежит как раз военному госпиталю.

— Имени Мандрыка, — вставил я впервые осторожно собственное крохотное познание.

— Вот-вот... — подтвердил он и замолк, видимо изрядно выдохшись после столь длинной и страстной речи, которую держал один почти что битый час.

Это молчание я естественно воспринял как вежливый знак того, что беседа окончена, пора уходить, дав старику время оправиться от понесенных трудов, — и стал потихонечку собираться.

Уже в прихожей, где он по ветхому обычаю даже попытался сам надеть на меня пальто, хозяин вдруг снова вернулся к главному предмету разговора, сказавши вместо прощания:

— Странно, как это мне раньше не приходило в голову... Опять ведь вовсе не праздное совпадение...

— То есть?

— То-то и есть, что Петра Васильевича Мандрыку я знавал еще земским, а затем и военврачом, — но не слышится ли тут подле его почетной фамилии другая крайне непочтенная, хотя и весьма схожая...

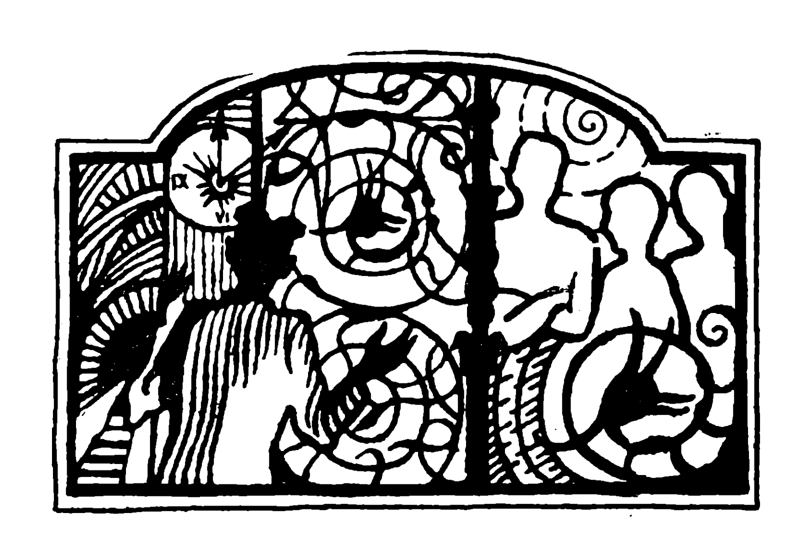
— ?

— Да Мандро же — Мандро, отвратительный герой жутких полубредовых «Масок», последнего романа Белого! Помните, тот инфернальный германский шпион, что по ходу действия оказывается как бы разведчиком самого Зла с прописной буквы, шныряющим именно вокруг Арбата. Ну да это уже другой разговор, если не продолжение первого: про то, как они торопятся все у нас исказить и урезать посвоему...

Когда я, наконец откланявшись, двинулся по длинному щему темному коридору в сторону парадного, все только что услышанное продолжало парить перед мысленным взором, взбудораженно бултыхаясь и не улегшись еще как следует в сознании. Пройдя вперед уже с полсотни шагов, я вдруг почувствовал спиною плотно упертый в нее взгляд и обернулся.

Старик все так же стоял в освещенном изнутри проеме, странно схожем с окном — в первый миг я даже принял его за средокрестие рамы — и молча, не шевелясь смотрел вслед, словно сама душа старого Арбата во плоти. В глазах его ясно читался вопрос, почти что укор: понят ли так, как следует, внутренний смысл рассказанной повести, оценен ли до конца?

— Вопрос этот мучит меня по сей день; он и является главной причиной возникновения настоящих записок.



ЗОЛОТАЯ РЕШЕТКА

На самой границе между ранним и поздним июньским вечером посреди огромного, сплошь унизанного бронзовой паучиной светильников и размеченного по сводам пустыми барочными картушами зала станции метро «Арбатская» — той из двух неродных тезок, что хотя возрастом и помоложе, зато размахом далеко превзошла старшую напарницу, так что среди своих получила в просторечии кличку «глубокого Арбата» — сидел, закинувши нога за ногу, длинноносый человек с алой повязкой дружинника на рукаве ворсистой кофты и кипел.

Звался он Вячеславом Захаровичем Тартаковским, с недавних пор и вплоть до сего дня носил титул старшего научного сотрудника сектора современной западной архитектуры, а кипел негодованием и живейшею ненавистью к судьбе. Старая будто мир истина о том, что счастие долго строить, а разрушиться оно и само способно в чрезвычайно короткий срок, — неожиданно, без приглашения и даже простого уведомления воплотилась в его собственной жизни, приняв многоликий образ целого ряда ничтожнейших по своей сути бездельников. Своим дружным совместным усилием — при том, что как будто бы вовсе не сговариваясь нарочно — они сумели с рассвета до заката в несколько приемов наглухо запрудить могучее течение потока его при-

лежного тщания, стремившегося изо всех сил к уже ясно видневшемуся на горизонте бытия морю заслуженного благоденствия.

А ведь не шутка сказать: три без малого года понадобилось ему, бывшему зауряд-инженеру, чтобы покинуть без особых потерь постылый строительный промысел, пересесть на ниву чистой науки и укорениться в ней со всею возможной надежностью сотнями коротких и дальних связей. Еще почти столько же заняли поиски темы и составление диссертации, которую он прошлой весною наконец благополучно защитил. Предметом описания в ней сделался размашистый градостроительный опыт, затеянный не так давно властями Западного Берлина, которые ради возрождения запущенного еще с самой войны района Крейцберг (что в переводе означало «Крестовая гора») объявили повсесветное состязание на постройку здесь — с посильным сохранением старой разбивки улиц и восстановлением сохранившихся зданий — всего, на что только способно воображение современных зодчих. И вот за несколько лет сей испытательный полигон разноплеменной мысли и инженерных дерзаний заполнился всевозможными плодами ухищрения и изыска откликнувшихся на зов десятков мастеров всех школ и отсутствия оных, сумевших завоевать благосклонность международного суда присяжных ценителей и облачить свои мечты в бетон, зеркала и пластик...

Одержав на защите победу, туда же, к стенам предмета своих изысканий, в ознакомительную ученую поездку отправился и отечественный летописец Крейцберга Вячеслав Захарович; а по возвращении домой — в срок, но отнюдь не краткий — он был в награду за все приложенные последовательно усилия обрадован не только получением надлежаще заверенного ВАКом диплома, но также и избранием на должность «старшего» — пусть горячо чаемым и даже основательно подготовленным, но все равно немножко неожиданным и множко приятным.

Успех, как известно, придерживая веской десницею до поры в стороне обыденного внутреннего поперёку — естественную предосторожность, окрыляет и приносит ненадолго ощущение свободного парения духа; и на самом деле, будущие предприятия почти что воочию зароились в кудрявой, слегка заголившейся посреди лба узкой голове Тартаковского, будто пчелы в теперешнюю душистую пору цветения лип. Кроме того, удача придает уверенности и приносит степенство повадок: из германских пределов Вяче-

слав Захарович, помимо обычного набора даров, какие положено каждому поезжанину выносить из чужого сада — кожаных риз, денег на новый «жигуленок» и множества полезнейших мелочей — вывез в придачу еще пленительную вальяжность поведения и усвоил вдобавок обходительный, резко сокращающий время ежедневных забот светский пошиб в обращении с окружающими. Кроме того, из речи его сами собою напрочь исчезли присловия «старик», «командир», «тачка» и прочая шелуха из разряда, называемого коротко «Вась-Вась», прибрав с собою и замызганные англизированные выраженьица наподобие «лайфа» да «кайфа» вкупе с неряшливыми местечковыми «бебихами» или «хохмами». Взамен она исполнилась изысканно снисходительными «мы непременно сделаемся с вами хороши, сударь мой», «полноте, матушка, нудить себя попусту», причем в само́м будто Малом театре поставленном произношении — «конешно», «коришневый» и так далее. Ехидные сослуживцы, скоро приметившие этот косвенный рост своего товарища, подарили его тогда же заглазным прозвищем «западник-славянофил», — а он, узнавши про то под рукою, вместо обиды великодушно принял к исполнению и стал охотно на него откликаться.

— Но теперь все это бережно взращивавшееся деревце благополучия было вобыден чуть ли не под корень загублено чередою мелких ударов, будто топором отсекших питательные жилы, затолкав обрубок — телесный болван его прямо в это треклятое подземелье ценою в пятак, когда наверху праздно стынет родная шестая модель, соблазняя свежестью своей резины всякого прохожего злоумышленника.

Причем любая чистопородная неудача — как, впрочем, и везение тоже — оказывается, обладает еще неким особенным прологом, зачином, ясно видимым, однако, уже от конца: словно природа, почитая себя за мастера самого высокого уровня, ищет согласия частей в наимельчайшем из всех своих хитросплетений.

Сидючи теперь, страдая от полного бессилия что-либо предпринять, в нелепо вольном заточении на страже порядка, Вячеслав Захарович также сумел разыскать, следуя мыслью вспятную к истоку нынешних суток, тот пропущенный путевой знак у развилки доли с недолею, где он неосторожно сделал неверный поворот и покатил от коварного перекрестка вместо заслуженного субботнего роздыха прямиком в поганый Пандорин ящик...

Отправясь поутру на ритуальную прогулку с молодым, недавно только приобретенным втридорога коккером — коего он из склонности к историческим курьезам нарек в честь тысяча- и столетия первоучителей славянства заковыристым именем Мефодий, — Вячеслав Захарович, заигравшись с юным резвуном, ошибкою нажал в лифте вместо кнопки своего этажа симметричную ей клавишу в правом ряду и, не заметив промашки, вознесся вдруг значительно выше, чем жил. Заученно выйдя из дверей задом, он повернулся налево, выудил из кармана за брелок с Бранденбургскими воротами связку новых финских ключей, напоминавших скорее отмычки — они представляли собою набор рассеченных пополам трубочек из стали, снабженных тайными выемками и зарубками, — и даже принялся было всовывать их в скважину — но тут-то и оторопел, обнаружив, что они «ни за какие коврижки» не хотят туда залезать. Пес сзади возбужденно залаял, а Тартаковский, вконец опешенный, застыл в полном недоумении: дом мой, ключики мои, дверь тоже, ан ходу-то и нет...

В ответ на новое отчаянное впериванье изнутри донесся возмущенный говор, затем створка дверной перемычки отпахнулась на уровне лица и оттуда, как из-за конторки в сберкассе, высунулось совершенно незнакомое женское лицо.

— Вам чего надобно? — спросило оно в раздражении, а Вячеслав Захарович сперва совсем уже было решил, что рехнулся, — и только потом догадался поглядеть вверх на номер квартиры.

— О, простите великодушно, — пробормотал он, покраснев, — я ненароком спутал этажи...

— Ну-ка, ну-ка: вы к кому направлялись? — милицейским голосом осведомилась сердитая жиличка.

— К себе, в семьсот сороковую, — даром признался сбитый с толку всем этим происшествием Вячеслав Захарович и вновь совершил ошибку.

— А, так вот это кто курит в лифте и музыкой внизу гремит по ночам! Да еще с этою вот скотиной мяч по дому гоняет?! — с радостною злостью воскликнула неистовая испытательница, — но Тартаковский уже опомнился и, пробормотавши: «Тоже мне, мальчика нашли! Ступали бы вы, голубушка, восвояси», — пустился что было духу по лестнице вниз.

...Нынешняя пятница в ряд со всеми своими предшественницами считалась его главным присутственным днем —

ибо сообразительный Тартаковский, выбирая себе свободный библиотечный, остановился в отличие от коллег в первую голову не на ней — все равно ведь предпраздничной,— а на понедельнике, что существенно смягчало послевыходную тоску. Правда, с недавних пор у них в институте правила несколько ужесточились, но строгости, по счастью, коснулись только отбытия — дабы оно не случалось ранее положенного распорядком срока, отдел кадров ровно без четверти семь «выкладывал книги», где каждому следовало расписаться лично и лишь тогда можно было безбоязненно управлять стопы «во своя си».

Приход же, в особенности «старших», столь сурово не проверялся, и вот нынче, как обычно — хотя и не с очень давних пор, — Вячеслав Захарович добрался до работы лишь близко полудня, покрутился там часок по комнатам, посудачил в библиотеке с девицами, поточил лясы с приятелем близ директорской комнаты, чтобы его получше приметили, а потом сыскал спутника на обед и отправился трапезовать, ибо имел в заводе обстоятельное обыкновение на службе делами непосредственно не заниматься, предпочитая сочинять свои плановые и вольные статьи дома в безмолвии ночей.

Сегодня разделить с ним отправление приятной пищеварительной потребности согласился недавно поступивший аспирант Миша Цандер, с которым они на пару и достигли минут через семь неспешной прогулки Калашным переулком гриль-бара в здании кинотеатра повторных фильмов под названием «У Никитских ворот». Вошед под своды помещения, которое неведомый художник сплошь залепил сгустками темного цемента и пемзы — так что зал приобрел некое подобие пещеры и действительно как две капли воды стал смахивать на заправскую подворотню, — они уселись в полукабинке за невысокой перегородкою и принялись искать глазами «полового». Тот заставил себя изрядно обождать, и только когда свежие пришельцы задались уже сомнениями в самом его бытии, вдруг вынырнул как будто из-под земли и вежливо предложил им перечислить свои желания.

— По курочке, «Фанту», и сто пятьдесят коньячку,— барственно произнес Вячеслав Захарович.

— Коньяк был, да весь вышел, — заученно возразил тощий официант, всем своим видом вопиявший о неизбывной тоске, и стал смотреть в сторону, ожидая исправления заказа.

— Ну, хозяин, что ж это за еда-то ненашенская... всухомятку и кусок в рот нейдет! Ты уж там как-нибудь промысли, а мы в ответ тоже... поднапряжемся, пособим...

— Газеты надо читать, — обиделся хожалый и прибавил: — А потом, еще просьба: будьте добры, обращайтесь, пожалуйста, на «вы».

— Ну, мил-человек, ты уж не обессудь: раньше-то ведь как — и к царю-батюшке на «ты» адресовались...

— Кушать будем или глазки строить?! — разозлился не на шутку «половой» и сделал движение уходить.

Тартаковский смешался во второй раз на дню — что в иные времена ему и не всякий год единожды случалось замечать за собою: до того неловким вышло попадание впросак перед юным сотрудником по науке, — буркнув потерянно: «Ладно, тащите что есть...»

Снедь, основательно подпорченную неласковым приемом, он поглощал торопливо и, не глядя на спутника, проводил подробное нелестное для казенной птицы сравнение с той, какую всех на свете краше готовит дома жена. Когда же предмет сей исчерпал себя, а молчать стало вовсе неудобно, то, чтобы как-то далее заглушить хруст и цоканье вокруг смачно обсасываемых косточек, Вячеслав Захарович решил выказать любовь к корнесловию и спросил:

— А знаешь ли, друг мой, как твоя фамилия переводится?

— Нет, — с надеждою ответил юноша.

— Судак! — запросто пояснил ему Тартаковский и повторил еще более развернуто: — «Цандер» по-немецки — это судак.

— Очень мило, — пробормотал Миша, и Вячеслав Захарович только теперь сообразил, что невзначай нажил себе нового недоброхота.

Расплачивались они тщательно порознь и у самого порога неприветливого заведеньица расстались: аспирант, по его словам, двинулся к «Дому книги», а «старший» вдоль по улице Герцена — которую не преминул при том назвать совсем по-старомосковски Большою Никитской, хотя сам-то, по правде, родом был с Западной Украины.

Ему предстояло еще, дабы как-нибудь скоротать до вечера время, посетить несколько «предприятий бытового обслуживания» подряд и разом распутать намотавшийся за неделю клубок домашне-хозяйственных задач.

Сперва Тартаковский отыскал мастерскую по починке электронных часов, забравшуюся в один из трех одинако-

вых домов-сундуков, выросших лет десять назад по левой стороне улицы, как он знал по заведенным там знакомствам, для творцов в трех родах искусств — соответственно живописи, литературе и музыке. Спокойно выстояв первый на сегодня получасовой хвост — благо торопиться особенно было некуда, — он сунул, когда подошел его черед, нагнувшись, в окошечко с полуциркульным вырезом поверху свои великолепные «куранты» — японские «Сейко», сказавши запросто, что-де требуется поменять скисшую батарейку — «тут-то и вся недолга».

— Где ж это вы раздобылись такою роскошью? — искательно вопросил молодой часовщик, выпучив очи, одно из которых было прикрыто длинной линзою-лупой — и тем самым походя овеществил известное сравнение про вылупленный глаз.

— Не здесь, понятно — в Берлине, — довольно отозвался польщенный вниманием знатока Вячеслав Захарович.

— Фу-ты ну-ты! А, скажите пожалуйста, вы туда опять не собираетесь ли в скором времени? — перешел на приятельскую ногу разговорчивый мастер.

— Ну, как знать, не исключено: как говорится, от этого никто не застрахован... — важно затуманил ответ Тартаковский и тут же, зазевавшись, получил укол прямиком в незащищенное место.

— Ну, тогда ваши дела не так уж и плохи. Захватывайте с собою часики и там быстренько вашу батарею сменяют.

— То есть как это там? — не тотчас сообразил Тартаковский.

— Там, и только там, — пояснил лукавый человек за стеклом. — Потому как тут подходящего размера не производится.

— Ну, так вы где-нибудь у себя по сусекам пошукайте... А долг, понятно, он платежом...

— На чорта, мне эта головная боль? — по-свойски отрезал мастер. — Сказал же ведь ясно: нету у нас ихних батареек — и хана. Следующий!

— А вот как раз там так себя не ведут, молодой человек! — попробовал пуститься в назидание Вячеслав Захарович, но стоявший за ним гражданин довольно-таки неучтиво потеснил его от амбразуры и тем прервал собравшийся было выкатиться ком нравоучений.

«Ах ты пень стоеросовый!» — выругался про себя Тартаковский, но делать было нечего — он выбрел вон, чувст-

вуя, как душевный небосклон начинают заволакивать грозовые тучи повального недовольства окружающим.

Теперь путь его лежал через мелкие переулки к «Тверской», или по-современному — с герценовской на горьковскую дорогу, где он надеялся как-нибудь да разгулять скопившееся внутри раздражение, вызванное дважды уже приключившейся на этой несчастной «сердечкиной» улице незадачею.

Стараясь выбирать еще нехоженые тропы, Вячеслав Захарович протиснулся дворами в самую середину треугольника меж Малыми Никитской и Бронной, а затем сквозь Палашевский рынок проник прямо к прачечной самообслуживания, притулившейся в домике подле гигантской арки, глядевшей на гармошку нового здания «Известий». Жена, уходя на службу, попросила его получить тут из чистки два ее плаща и брюки.

Внутри новой приемной тоже стояла очередь, не большая, но крайне медленно подвигавшаяся из-за совершенно болезненной заторможенности движений огромадного выдавальщика с русой бородою лопатой, имевшего столь обильное сложение, что всякое резкое перемещение было ему просто-таки противопоказано. Приложив все свое терпение, Тартаковский не стал делать никаких замечаний, попытавшись смириться с судьбою и тем ее как-либо умилостивить — да не тут-то было. Лишь только поспел ему срок подавать накладную, с десного края от детины засвистал телефон, тот поднял трубку, глаза у остолопа плотоядно загорелись, и он нудным басом пустился в подробнейшее обсуждение с невидимым приятелем — которого невольно изображал своими телодвижениями при выслушивании ответов — предстоящей в ближайшие выходные рыбалки.

Тартаковский наконец не выдержал и сказал:

— Послушайте, милейший, прекратите трепаться! Вы ведь как будто на работе сидите, а не в своей избе?

— Оба, — коротко возразил тот совсем иным, тихим и тонким голоском, прикрывши на мгновение микрофон пухлой ладонью, а затем преспокойно продолжил возмутительно частную беседу.

— Что вы хотели выразить своим «оба»? — недоуменно переспросил Вячеслав Захарович и услыхал тогда следующую дерзость:

— Оба мы на работе, только я на своем месте говорю, а вы небось и вовсе прогуливаете...

Вячеслав Захарович вспылил и хотел было призвать на подмогу против хама с другой стороны прилавка общественное мнение очереди — но как-то так странно получилось, что именно на нем она и иссякла: сзади уже не было ни души.

— Чтоб ты провалился! — воскликнул в сердцах ученый архитектор, сунул назад в карман курточки свои квитки и пустился прочь на улицу. Видно, просто не рука было ему сегодня связываться с распустившейся донельзя бытовою обслугою — и он, плюнув на нее окончательно, успокаивая из последних сил ретивое, зашел в соседнюю лавку «Академической книги» покопаться в новых изданиях да отвести среди людей своего разбора душу.

...Из полурастворенной пасти дверей, ведших в отдел истории, глумливо торчал язык ставших гуськом за неким ходовым товаром любителей.

— Чего дают? — осведомился Тартаковский с былою прямотой, забыв ради скорости на минуту про перемену положения на языковой лестнице.

— Без паспорта прямо по шее, — тем же ерническим макаром ответствовал последний в цепочке невежа, но Вячеслав Захарович не успел даже оскорбиться, поскольку в руках у покидавшей через другие створки магазин тетки углядел-таки предмет своего любопытства, тотчас же обратившийся в объект вожделения: справочник «Русское золотое и серебряное дело».

Тогда он, несмотря на негодующий ропот толпы, протиснулся внутрь, оценил взглядом малую величину штабеля всей наличной «выкладки», поправил хохолки над ушами перед большим зеркалом, оставшимся тут от когда-то занимавшего помещение института красоты, и двинулся в обход через двор к заведующей.

— Я старший сотрудник, кандидат, исследователь... — громово представился он всею своей титулатурой, войдя в кабинет, и охотно предъявил служебное удостоверение — но, еще не освоивши как следует обряд показа «корочек», призванных отворять для собственных обладателей стены, отдал их доверчиво прямо в руки сидевшей за просторным столом пожилой женщине. Та только для виду заглянула внутрь на фотокарточку, ибо уже с ходу сообразила, что перед нею вовсе не важная шишка, а так, скорее всего небольшой прыщик, к тому же и новичок,— однако Вячеслав Захарович этого не заметил и, истолковав-

ши в свою пользу установившееся молчание, благородным тенорком молодецки ввернул:

— Что, похож на кого-то знакомого?

— Ага, — легко согласилась заведующая. — Как есть проныра. Просто вылитый.

И вернула остолбеневшему Тартаковскому его «документик».

— Я вам сейчас жалобу за грубость накатаю! — зашипел он, изготовившись к словесному бою.

— Седьмой уже с обеда, — «в публику» заметила собеседница, а потом спокойно и с виду почти доброжелательно посетовала: — Все здесь у меня ученые, а которые и с лихвой. Если вам эта книжка на самом деле нужна — станьте как люди в очередь и не выпендривайтесь: может, на вас еще и хватит.

Тартаковский сообразил, что даже в случае удачи этот только что весьма желанный альбом ничего уже, кроме сонма сегодняшних неприятностей, не будет ему напоминать, и, провожаемый понимающим взглядом в спину, покинул «шарашкину контору», не забыв внятно назвать ее именно так вслух из-за плеча.

...Тут был все-таки со стороны планиды явственный перебор, и, чтобы наперекор ее потугам не дать вывести себя вон настолько, что потом и дорогу обратно не скоро отыщешь, Вячеслав Захарович решил зайти к жившему неподалеку приятелю-книжнику скоротать остатний часок перед окончанием работы и хотя бы там, отрешась от всяких забот, несколько поуспокоиться.

Накрутив нужный номер на автомате, он сунул в прорезь пару копеечных кружочков, на другом конце к его радости скоро подняли трубку — но монеты вдруг напрочь застряли в приемнике.

— Ну, язви твою душу! — раскипятился вконец Тартаковский и что было мочи саданул по неуступчивой машинке кулаком. Металлический ящик под его ударом сдавленно хрястнул; зависнув на миг, копейки нехотя юркнули внутрь его чрева.

...— во вам надо? — донесся обрезок предложения из трубки.

Вячеслав Захарович сразу узнал кроткий глас своего знакомца, неизменно умиротворяюще действовавший на его собственный порывистый дух — тот обладал дивной способностью чихать на все совершенно кругом, предпочитая удаляться от треволнений света в неотмирную сень

своей библиотеки, — и спросил у него позволения ненадолго заглянуть.

— Забредайте, отчего ж бы и нет, — утвердительным вопросом отозвался приятель, а Тартаковский, вновь ожидавший услыхать что-нибудь пакостное, даже развеселился немного от этой первой за весь день удачи и решил маленечко подшутить: памятуя, что недавно все почти что домá по «питерскому тракту» снабдили замками в подъездах, откликающимися каждый на свой особый трехзначный численный код, он спросил нарочито двусмысленно, произнося с глухотцой последнюю согласную:

— А у вас, как слышно, завелся кот?

— Какой еще кот? — клюнул на удочку его собеседник.

— Ну, кот в парадном — как его величать-то?

— ???

К чести книжника, тот вскоре разобрался в закавыке и, оценив по достоинству сочиненную вновь загадку, в свою очередь ответил подобною ей головоломкой:

— Звать его Цэ-Дэ-Эл.

Тут уже настала пора дивиться Вячеславу Захаровичу — ибо ничего иного, кроме Центрального Дома литераторов, он в таком сокращении угадать не мог.

— Ага, попались? — удовлетворенно заметил товарищ.— Ну, а ежели по-латыни?

Тогда Тартаковский тоже докумекал, что означенные этими буквами латинского алфавита цифры составляют 450 — и, размявши мозги в умственном поединке с равным себе докою, поправил несколько свой внутренний настрой и бодрее двинулся вперед.

Кот-код в одном из развесистых «мордвиновских» строений легко ему повиновался, он уже придвинулся вплотную к лифту и даже утопил пупок вызова, — как неожиданно за спрятавшейся под лестницею тумбой ожила сильно траченная временем старушонка с газетой и грубо осведомилась, куда это пришелец держит свой путь.

Быстро оценив ее невзрачную наружность, он, естественно, подумал, что смотрительницы в подобного рода домах никак не могут выглядеть столь запущенно — и потому преспокойно оставил праздный вопрос висеть одиноко на воздухе.

— Куда идете-то, я говорю?! — на сей раз уже громче возопила самочинная сторожиха и придвинулась ближе.

— А у вас что — есть удостоверение на право проверки прохожих? — учительно и не к месту витиевато осведомил-

ся Тартаковский, всегда болезненно относившийся к малейшему нарушению собственных гражданских прав.

— Вот я те покажу удостоверение, — разозлилась сиделица, но тут подоспела кабинка, Вячеслав Захарович резво заскочил внутрь и тотчас же надавил на кнопку этажа. Однако баба-яга тоже оказалась не промах: она намертво вцепилсь обеими руками в лацканы кожаной немецкой куртки архитектора, и тогда тот, не успев даже подумать, автоматически ударил ребром ладони по удерживавшим его перстам. Тетка охнула и отдернула ушибленные конечности; створки лифта, гудевшие от возмущения, что их запнули, не давая запахнуться как следует, с треском сошлись, и клетка с Тартаковским полетела наверх.

Вячеслав Захарович, возмущенный донельзя тем, как его втравили в пошлейшее рукоприкладство, послал мысленно вдогонку старой бестолочи еще сотню дрючков в дырявую кошелку, но не успел он обрадоваться, что все-таки новое столкновение с косной средой опять-таки завершилось в его пользу, как услыхал из небольшого динамика рядом с доской управления пренеприятный разговор, непосредственно касавшийся его личности, который разъяренная бабка завела с невидимым лифтером.

— Толик, останови-ка кабину в третьем подъезде, туда хулиган прорвался! Заклинь ее в шахте, а я пойду милицию позову, — расписывала порядок охоты за ним неугомонная Церберша.

— Сейчас мы его, голубчика! — послышалось в ответ согласное урчание техника, — и Вячеславу Захаровичу на деле грозила совсем нешуточная опасность въехать в отвратную историю прямо в железном капкане, коли бы тот не успел уже достигнуть нужного уровня и раскрыться.

Он выскользнул на свободу, торопливо позвонил и, скоро войдя в отверстые ему приятелем двери, сам замкнул их от греха подалее за собою — а потом, вздохнув от души, погрузился в кресло-качалку и, отрешась от всех сует, пустился в приятные воспоминания о недавно виденном за кордоном царстве повальной вежливости и рассуждения о последних произведениях печати. Однако на прощание не утерпел и в двух словах обиженно пересказал все же только что приключившееся безобразие.

Против ожидания, повесть о сем событии книжника неприятно покоробила.

— Ох, чего же вы натворили-то? — сокрушился он. — Это ведь соседка моя Клавдя Ильинична. Всю жизнь во

вневедомственной охране пробдела й по привычке торчит при входе с утра до ночи...

— А какое имеет право заниматься теперь частным сыском? — возмутился за оскорбленную справедливость Тартаковский.

— Да ясно, что никакого, — но и вам дорого ли стоило сказать, куда идете. А то ведь непременно сюда по следу дойдет и замурыжит потом на кухне попреками.

— Никогда не должно потакать наглости, — наставительно произнес Вячеслав Захарович, но все же немного осекся: приятель как будто не спешил с ним соглашаться в этом столь очевидном вопросе, и Тартаковский даже явственно ощутил, как между ними тут прошмыгнула черная кошка непонимания.

Долу ему пришлось двигаться пешкодралом: Толик-Харон, стало быть, свой паром поставил-таки с опозданием на якорь, да так добросовестно, что вновь не сразу запустишь.

Сбегая по ступенькам из каменной крошки, веером спускавшимся под гору и источенным посреди до тонких долек стопами прилежных пешеходов в течение полустолетия, Вячеслав Захарович еще издали услыхал снизу нестройный хор, в котором по мере приближения с тоскою распознал ведущий голос своей супостатки, излагавшей недавнее происшествие уже совершенно на былинный лад.

— Я и говорю этому змею: только через мой труп! А он, ирод, тут как набросится с кулачищами-то и давай тузить! Всю как есть отутюжил и еще кричит: мало тебе, старая ведьма, сейчас совсем буду решать... Ну, гляжу я, девоньки, конец мой идет...

На этом месте ее сказания Тартаковский действительно возник на верху последнего пролета, в подножии которого добровольная сторожиха исповедовалась сбежавшимся отовсюду товаркам. Увидав его, все они застыли, словно петушиным криком оцепененная навь, и лишь одна бестрепетная их предводительница, не растерявшись, протянула вперед руку с указующим перстом, воскликнувши наподобие Вия:

— Вот он!

Вячеслав Захарович, ускорив шаг, прошмыгнул мимо и на мгновение действительно засомневался — не суждено ли ему быть здесь растерзанным этой бесхвостою нечистью вслед за философом Хомой Брутом в клочки. Но несуразно высокая дверь парадного благополучно затворилась за

его слегка покрывшейся испариною спиной, а потом он случайно взглянул на электрические куранты над входом в Центральный телеграф (да отсохнут руки у дремучего часовщика) и, ахнув, позабыл про все: было уже ровно без четверти семь.

— Чтоб вас подняло да гепнуло! — пожелал он своим запинателям от самого сердца недобра и бросился искать «извозчика». После некоторых усилий ему удалось-таки приостановить ненадолго машину с одиноко мерцавшим на правой стороне лба зеленым зрачком — но табличка рядом как нарочно гласила, что такси направляется в парк к Речному вокзалу.

— Хозяин, немедля надобно на Арбат. Рублевич накину сверху, — пообещал Тартаковский, вдыхая поневоле горячие пары бензина и острый дух разогретого на солнце металла, струившиеся от набегавшейся за день «Волги», как терпкий пот от взмыленного коня.

— Ты его лучше себе на шею накинь. А то и пониже — вернее будет. Я работу закончил, — ответил на это изнутри железной скорлупы на колесах ее невидимый насельник.

— Маму... — сдавленно пролепетал тогда выведенный все-таки из терпения Вячеслав Захарович, вообще-то в обыденной жизни не охотник до родословных обид.

— Какую? — не понял сперва водитель и даже высунулся слегка из отпахнутой дверцы, словно улитка из своей раковины.

— Твою, — охотно пояснил ему архитектор.

— Чего-чего, повтори-ка?! — угрожающе взвопил попавшийся сдуру на немудрящую уловку «живейный», — но Вячеславу Захаровичу недосуг было продолжать бесплодные пререкания и он поспешил в безопасный подземный переход, откуда посредством постылого метрополитена добрался с опозданием в полчаса к себе.

Хотя было уже начало восьмого, почти все сослуживцы, к его удивлению, оставив поручные крепости, не разошлись, а сгрудились в долгом коридоре и тихо, но въедливо обсуждали свежую ведомственную новость: с первого января, согласно только что принятым правилам, доплата за степени отменялась, вместо двух будут введены целых пять званий научных сотрудников и заработок их впредь станет определяться исключительно в зависимости от объема выполненной работы.

Таким образом, не раз уже проклятая сегодня Тартаковским судьба вереницею косвенных неприятностей как

бы подготовила его к тому, чтобы «спустить на тормозах» более существенную — лишение пособий от пущенных на оброк титулов; так что по справедливости теперь впору было бы перед ней извиниться и сказать искреннее «спасибо». Но не той был он породы человек, кто желает кому бы то ни было спасения за свои неудачи!

Начерно обмозговывая необходимые в будущем защитные предприятия, Вячеслав Захарович уединился в уголок с самым доверенным из соработников — земляком Бельским (собственно, урожденный-то тот был Подбельский и только уже на Москве отправил в заштат подлую приставку из фамильного звания, хотя злые языки все-таки продолжали величать его заглазно полным патронимом, произнося это «под» как немецкое — фон). Тут они, разгорячась, опрометчиво задержались несколько более, чем следовало, и в итоге Вячеслав Захарович попался под руку ответственному за посещение народной дружины, давнему своему преследователю. Домогательства же касательно непременного отправления этой, по сути дела, мальчишеской обязанности в особенности стали докучать Тартаковскому после его стремительного подъема по ступеням учено-чиновной пирамиды.

— А вы еще не заступили на дежурство, Вячеслав Захарович? Боюсь, как бы не последовало нареканий со стороны старшего научного сержанта, — с притворным расположением выговорил тот, прекрасно понимая, что Тартаковский, что называется, ни ухом ни рылом не помнил о предстоявшем еще ему отбытии охранительной повинности.

Вячеслав Захарович ошибкою сослался было на худое состояние здоровья, что вызвало дружный хохот вокруг и напрочь лишило его возможности прибегнуть к каким-либо иным, более уважительным отговоркам. Тогда он обратился к совсем уже последнему средству — искренне посетовал, что позабыл дома удостоверение и повязку.

— Ну, это ведь полбеды. Личность вашу и так прекрасно все знают, а заместо второго позаимствуйте у своего клеврета его неповторимый дизайн, — легко нашелся начальник дружинной сотни, и Тартаковский, побитый по всем пунктам, принужден был признать поражение. Надо же было угораздиться позабыть про то, что сверх меры разумного заботливая супруга его совопросника связала тому на досуге из даровой шерсти, настриженной с собственного пуделька, пуховую кофту с узором на правом рука-

ве, совершенно совпадающим с соответствующим знаком члена ДНД, каковое приспособление Бельский, как было хорошо известно его коллегам, постоянно содержал наготове в ящике своего стола библиотеки...

Пришлось Вячеславу Захаровичу при всем честном народе напяливать на свою чистую кожу этот шутовской балахон и понуро брести в арбатскую станцию метро, где располагался их пост, будто пойманный с поличным жулик в обрыдлую каталажку.

Между тем его уже алчно поджидали там новые мелкие невзгоды: сначала ответственный ефрейтор выбранил за неуставно позднее появление, твердо посулив ровно настолько же задержать в карауле, а потом еще послал вместо «мелкого Арбата» — где по обычаю сотрудники их института подменяли на время ужина милицейского у проходной, да только нынче из-за ремонта надобность в том вовсе пропала — прямо вниз в шахту огромного и шумного «большого».

Кстати сказать, всю эту несуразно величественную залу вкупе с расписанным тем же карамельным декором наземным зданием выстроил некто архитектор Поляков — сей ветхозаветный старец еще несколько раз наведывался по своим заботам к ним на ученый совет, неопустительно величая себя «творцом глубокого Арбата». Наиболее забавными в верхней части ее были две высокие, отлитые из бронзы сквозные решетки у пропускных автоматов, срисованные с какого-то средневекового прообраза и никуда совершенно не ведшие. Надеявшийся немного смягчить наглядной унылостью вида своего неподатливого вечернего начальника, Вячеслав Захарович стал бродить кругами поверху, избегая насколько возможно мерзившего ему погружения в душное подземелье, дивился каждый раз нелепой прихоти нацепить на голые стены эти позлащенные финтифлюшки и все пытался — хотя до поры и вотще — припомнить, какому источнику служили они размытою тенью: где-то в недрах его подсознания свербила застрявшая там попусту уверенность, что он «проходил» их уже когда-то в студенческие годы по курсу истории прикладного искусства.

Вращаясь так волчком без особого проку, Тартаковский неожиданно заприметил в дверях метро только что проникшего снаружи пошатывающегося толстяка, издали чрезвычайно напомнившего ему увальня из химчистки. Тут его взор обратился от глухой каменной перегородки, за-

ставленной ложными воротцами, к куда более употребительной низкой изгороди внутри помещения участка — туда вплоть до выяснения сопутствующих обстоятельств неизменно попадали выуженные из тщательно процеживаемой толпы ездоков граждане нетрезвого поведения. На миг в жаждущую порядка и воздаяния голову Вячеслава Захаровича взошла шальная мечта, что и этот оскорбитель заработает сейчас по заслугам прямо у него на глазах. Тут уж они поменяются наконец местами за перегородкой — и это станет вполне достойным завершением сегодняшних испытаний души Тартаковского на прочность!

Он уже двинулся вперед на задержание нарушителя, но при ближайшем рассмотрении жирдяй оказался просто хромым и мало чем напоминал искомый прототип; однако зародившаяся глубинная мысль о необходимости суда совести и примерного наказания всем нерадивым разгильдяям не захотела уже легко отступить.

— Огородились фанерными стенками, как раки-отшельники, шельмы, и думают, что управы на них нету. Вот бы вас скопом сюда к барьеру за ушко да на солнышко! А я бы еще побеседовал на прощание по-свойски в ожидании доставки куда положено...

Покуда он так расходился, последовательно усаживая в воображении в порожний пока закут предварительного заключения весь долгий ряд собственных супостатов, дежурный постовой, наскучив беспрестанным мельканием перед носом этого чудаковатого дружинника, тихохонько подкрался к нему сзади и совсем по-ребячьи закрыл из-за спины оба ока ладонями. Тартаковский, позабывший сыздетства подобного свойства забавы, похолодел не на шутку, но тот скоро отнял прочь руки — сопливый юнец с мокрым носом! — и, смеясь, вместо извинения за неуместность игры повторил приказ опуститься вниз на платформу и бдительно наблюдать там за порядком посадки и высадки, причем отнюдь не косня на одном месте, но прохаживаясь туда-сюда челноком по перрону.

Как это ни было обидно, старший научный со степенью принужден был покорно повиноваться безусому мальцу, едва перевалившему за двадцать, хотя, конечно, не преминул оделить и его подходящим прозванием, двигаясь под уклон на рокочущей лестнице-чудеснице.

... От всего пережитого за день расстройства голова его после получасового слоняния в спертом воздухе подземки среди переменного гула прибывающих и уносящихся в свои

норы справа и слева поездов начала заметно недужить и кружиться, а внутри поднялась зыбь пакостной тошноты. Чтобы как-то обмануть эту подлую хворь, он продолжил обдумывать в подробностях обряд справедливой кары, какой надлежало подвергнуть окопавшихся в рабочих берлогах неуков и простофиль; картины, рождавшиеся перед умственным взором, сделались даже цветными, а действующие лица стали сами произносить покаянные речи, ни к чему, впрочем, иному не ведшие, кроме окончательного признания вин и слезной мольбы о помиловании перед вынесением приговора. Первоприсутствующий всего этого разбирательства — сам Вячеслав Захарович — брал затем в руки тяжкий вершащий возмездие молоток, подсудимые вставали все, как один, перед загородкою и...

Воображаемое зрелище трибунала судьбы сумело по крайней мере поправить стремительно ухудшавшееся самочувствие, остановив подступавшую к горлу дурноту, ушедшую назад в утробу и притаившуюся там до лучшей поры.

— Да что это, заключенный я здесь в этой яме, что ли?! — исполнившись законною гордостью за свое высокое звание человека, почти что вслух произнес Тартаковский и направился вновь наверх. Там он через силу дружески побеседовал с дежурным о невзыскательных, понятных этому простому пареньку вещах и, сочтя, что проявил уже достаточно снисходительного внимания к нуждам ближнего, решил, что и тому пора вспомнить про честь да отпустить его восвояси. Но первое же заявление об этом натолкнулось на резкую перемену отношения и отказ со ссылкою на ожидаемый приход проверяющего.

Пришлось опять погружаться в каменную пазуху, откуда он высунулся вновь на поверхность около девяти, чтобы попроситься уже у начальствующего стража домой — но и тот, помянувши про опасность появления следующего, вышестоящего командира, отпуска Тартаковскому не дал.

«Хохол, лимитá неотесанная, выслуживаешься?!» — процедил про себя Вячеслав Захарович и дополнил цепочку обвиняемых за мысленною переборкой еще и этим остолопом в фуражке.

От поднявшегося изнутри возмущения он почувствовал сильнейшее головокружение, разбудившее чуть прикорнувшую в печенях тошноту. Между тем настырный малоросс продолжал глядеть на него вызывающе, явно ожидая нового покорного нырка, а Тартаковский, налившись нако-

нец бешенством по самые уши, почувствовал, что минута-другая — и оно начнет выплескиваться наружу.

— Где у вас тут... Мне нехорошо... — спросил он упавшим голосом.

— А вон, за решеткою слева дверца. Любой ключ английский вставить да раз повернуть. Только смотрите не прихлопните заодно и решетки — ее потом только слесарь разомкнет...

Архитектор поспешно направился в указанном направлении, но, как ни худо чувствовал себя, успел еще мимоходом, распахивая створку, язвительно отметить: тоже мне, железный занавес для сортира!

Вынул потом, точно так же, как утром, связку на брелке-воротах, сунул в щель ключик от багажника и действительно запросто открыл грубо окрашенную красным калитку в отхожее место. Просунулся торопливо вовнутрь, сразу влетев за нее всем телом — и застыл...

За перегородкою вовсе не оказалось того, что он чаял и жаждал там обрести — это была тесная, лишенная всякой обстановки клетушка, где, сгрудившись и недобро дыша, ожидали его въяве все те, кого он уже битый час запихивал в душе в казенный дом: и половой, и часовщик, и заведующая, и бабка-привратница, и водитель с обоими постовыми в придачу — а на челе их находился тот бородатый мордоворот из прачечной, которого он отчего-то жесточе всех искал прежде наказать.

Дай они ему немного времени очухаться — и Вячеслав Захарович непременно сумел бы сообразить, что это просто-напросто морок, наваждение, зародившееся от недостачи кислорода и угнетенного состояния духа в уставшем донельзя мозгу. Мало того, успей он даже протереть веки тыльной стороною ладони или хотя бы зачураться — как вся эта нежить наверняка исчезла бы гикая с глаз долой. Но ему не предоставили ни малейшей передышки: дебелый болван, оказавшийся вблизи, не будучи отгорожен никакими препятствиями, здоровеннейшим верзилой, подвинулся к Тартаковскому вплотную и, вращая на указательном пальце увесистый амбарный замок, спросил с расстановкою от лица собравшейся братии:

— Так что же такое тебе было нужно от нас ото всех, мистер?

— Мне... я... нет, что вы, ребята... я так только... оправиться зашел... я не думал... — залепетал Вячеслав Захарович и пулею выскочил вон, прихлопнув сперва красную

дверцу, а за ней сразу следом и бронзовую загородь, громко защелкнувшуюся по всей длине

Как только клацнул этот замок, перед ним очутился кусок узора в виде носатого черта с острою несуразною титькой, пришедшейся как раз на уровне глаз, — а в ответ словно отлетел долой с дальней клетки памяти крючок, и она с легкостью выдала вовсе уже как будто некстати сейчас пришедшиеся сведения: «Золотая решетка Верхоспасского собора Теремного дворца в Кремле. Царские мастера, середина семнадцатого столетия».

ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ИЛИ ТРИ ТЬМЫ

Трижды, а еще лучше, на скрежещущем бронею шипящих старославянском — трищи — приходил он с небольшими промежутками по ночам к этому таинственному деревянному особняку с крестообразным верхом в Замоскворечье, подспудно надеясь соединить с ним свою жизнь. Окончилось же все тем, что прежние устоявшиеся понятия о мире и о себе неожиданно встали, что называется, на попа́...

В первый раз Жеку Пивоварова привел сюда его подопечный автор — краевед Андрей Троицкий, с кем они тогда только что удачно протолкнули в журнале материал о московских адресах Аполлона Григорьева. Впрочем, как и всегда, Жекино имя не было указано в заголовке, он остался лишь в чине теневого со-здателя, хотя по своей должности редактора под корень переделал — что в доточном переводе с латыни означает название его занятия — и даже едва ли не на треть дописал эту статью собственноручно.

Оказаться причастным печатному ремеслу Жека мечтал с детства, когда, конечно, еще никакого понятия не имел о хитром многоколенчатом механизме, осуществляющем связь между сочинителем и читателем, но в итоге остающемся как бы незаметным невооруженному глазу. В оп-

ределенном смысле можно было бы утверждать, что наш Евгений состоял природным и потомственным книжником, ибо появился на свет в рыбацкой деревне Тихотка на западном, эстонском берегу Чудского озера, где с семнадцатого столетия осели беглые старообрядцы. В той стороне, лукаво-двусмысленно именуемой по сю пору Причудьем, доныне сохраняется вживе мудрый обычай допетровских времен — с младых ногтей обучать поголовно всех ребятишек домашней грамоте, приохочивая одновременно к почитанию книги как таковой почти что наравне с иконою.

Неподалеку от Тихотки находится Тарту — бывший ее уездный городок Дерпт, а еще ранее, почти тысячу лет тому назад древний славянский Юрьев, что издавна славится своим старинным университетом. Туда, подрастая, и стал все чаще наведываться Жека, покуда не поступил со второй попытки на филологический факультет. Окончив его сравнительно легко, в особенности благодаря счастливому дару так называемой фотографической памяти, удобно накапливавшей впрок тысячи и тысячи разномастных сведений заодно со всеми малейшими приметами содержащих их страниц, он почувствовал затем вскоре, что это местечко также становится ему тесно, и направился прямиком в столицу, где, пока суд да дело, скрывши под полою диплом, нанялся дворником в новом поселке Строгино, а тем часом пустился обивать пороги в поисках более соответствующего занятия.

Наконец с горем пополам ему удалось пристроиться младшим редактором в молодежный журнал — хотя он и тогда не прекратил совмещать красный карандаш с метлою и ломом, не столько даже из опасения утратить не сполна еще выслуженное ведомственное жилище, сколь от своей неотвязной библиофильской страсти, по-видимому тоже наследственной, требовавшей всегда иметь про запас некую толику свободных средств. Контора сия помещалась в высоченной, равно на все четыре стороны ничем не украшенной коробке близ скрещения гремучего потока Дмитровского шоссе с рижской и савеловской железными дорогами. Добираться дотуда каждое утро с тремя пересадками от окраинного полуострова в верхнем течении Москвы-реки, где он обитал, было немалой докукою, и Жека все надеялся как-нибудь угораздиться перевестись в «Старую гвардию», как звался у них в издательстве первоначальный его корпус рядом с метро «Новослободская», где по заселении небогрыза на отшибе воль-

но расположились «благородные» книжные редакции.

Несмотря на усердное прилежание, доходившее до настырности, совершить это последнее перемещение Жеке все никак не удавалось, что в немалой степени его расстраивало, делая постылым и без того пресный журнальный хлеб. Но вот как-то недавно в один ненастный вечер он дал себе труд поглядеть беспристрастно со стороны на весь свой пройденный в пространстве и времени путь — и тогда увидал в беспорядочном внешне круговращении единую скрытую до поры направляющую. Лестница, которою подвигалась его судьба ступень за ступенью в избранном направлении, вела, как выяснялось, отнюдь не кверху, но и не под гору, а, скорее, наискось вбок. Жека не состоял в числе поклонников любой новизны, однако и к почтенной древности во всех ее проявлениях также не испытывал слепой привязанности, хотя она и была ему куда более по нраву. Сильнее прочего желал он независимости: образно выражаясь, решил Жека, наилучшим местом в реке времен является не правый берег и не левый, ни заплыв взапуски по течению, ни упрямое стояние супротив оного — а спокойное созерцание мельтешенья событий с уединенного острова посередине русла. Но внешние обстоятельства упорно норовят столкнуть обратно на стремнину, коль скоро удается подобраться поближе к вожделенному пределу, которого чрезвычайно затруднительно достигнуть вполне; так он, желая всею душой ступить крепкой ногою на поприще именитых печатников, создававших в первопрестольном российском граде нетленные ценности, добился пока что всего лишь комнатки в новостройке да невидимого участия в выпуске одного из самых расхожих повременных изданий. Тут, наверное, сказался и злой прародительский рок — или порок воли? — неприметно превративший предков его, бежавших из родных селений ради сохранения в нетронутой чистоте и единстве исконных, как им казалось, обрядов — в отчаянных реформаторов-протестантов, расколовшихся на десятки толков и сект, на дух не приемлющих друг друга.

Собственно говоря, непосредственная его работа была не так уже неприятна и вовсе не чересчур сложна: сиди себе правь в охотку, спросу мало, да притом и ответственность невелика — над младшим редактором, нижним кирпичиком издательской пирамиды, которую предстоит покорить каждому пишущему для печати, непременно находится старший, а на челе того главный, поверх коего будет и

еще не один чин поголовастее. Если даже и выйдет где промашка, то первым делом нагорает им, а когда, паче чаяния, в редких случаях напрягай докатывался-таки непосредственно до Жеки, то он, вновь следуя полученному от поколений закоренелых скрытников староверскому обычаю прикидываться в опасности беспросветным простецом, строил обиженное выражение на широком своем лице и, сузивши глаза, принимался лепетать с нарочным чоканьем и цоканьем: «Мы цё... мы ничё... Мы-от с Причудья...» Тогда обычно праведный гнев начальства, не встретив никакого видимого сопротивления, помаленьку утихал, переходя в умиление бесхитростной природою деревенского человека.

Между тем мало чем ограниченная воля в переработке чужих рукописаний почти что неминуемо заражала уверенностью в том, что сделаться лично автором всякому по плечу — и на самом-то деле, разве трудно вместо бесконечной правки и переправки сразу сочинить лучше самому? Такое случалось вокруг Жеки сплошь да рядом, вырывая из редакторских рядов даже наиболее устойчивых и заматерелых, которые вдруг из неприступных вершителей издательских судеб обращались в искателей неверного счастья, подчиненных прежним соратникам. Так о них и говорили среди своих жалеючи: глядите-ка, сосед-то наш, бедолага, занедужил. Тоже писать принялся...

Кого-то подобное двойное существование сводило с круга долой; другие, напротив, удваивали успех — тут уж все зависело исключительно от неисповедимой планиды. В отношении Жеки будущее течение болезни — к погибели оно клонится или ко спасению — было вовсе еще не ясно: он лишь совершенно недавно втайне опробовал перо на мелочах, подписываемых выдуманной фамилией «Красновевцев», и только сейчас изготовился засесть вплотную за первую большую летопись из старомосковской жизни — хронику трех поколений могучего клана раскольничьих промышленников и собирателей Хлудовых. Для того-то, кстати сказать, и взялся сам работать с очерком Троицкого, снабженным его же любительскими зарисовками, чтобы поглубже окунуться в предметный мир избранной среды и вдохнуть подлинный запах минувшего. Впрочем, он и тут не преминул изрядно поправить исходный текст так, как почитал потребным — Троицкий, правда, сперва взъерепенился, но после быстро остыл: да куда ж ему еще было деваться?..

Получив гонорар, он заглянул к Жеке с рогатой бутылкою дурного дагестанского коньяку, — но тот, замахав возмущенно обеими руками, решительно отперся, изобразив вдобавок живейшее оскорбление; в ответ на усильные извинения своего неизобретательного даже в благодарности соавтора Пивоваров, хоть и не тотчас, все-таки смилостивился, добродушно позволивши заменить огненную водицу — какой ехидно посоветовал соблазнять дикарей — прогулкою по старинным улицам с непременным о них подробным рассказом.

...Во едину из суббот, проплутавши вместе часа три с небольшим, они и очутились поздним вечером в этом глухом замоскворецком дворике.

Буянный весенний цвет, чуть ли не до порога июня прождавший тепла, распоясался кругом вовсю, торопясь отгулять как следует до летних жаров: вся эта разъяренная залихватской удалью зелень, как видно, и не думала чахнуть, несмотря на близость к торной дороге, откуда беспрестанно доносился горький бензиновый чад — когда-то на заре века, однако же, почитавшийся утонченным благоуханием. Они в усталости пристроились на коротконогой скамейке без спинки подле ветхого флигелька, уютно скособочившись, вросшего по колено в землю; тут-то Троицкий, закатив ради вящей убедительности очи, и поведал Жеке, что в отличие от всех прежде представших его взору исторических достопамятностей, в лучшем случае набальзамированных — или, как это теперь звучит на научный лад, «музеефицированных» — мумий былого величия, неприметное внешне здание напротив, обратившее к ним свой испод, будучи поставлено в восемьсот сороковые годы, сумело обновить свою славу в самую недавнюю пору.

— Видишь ли, — издалека начал он, — эта невеликая усадебка с домом о семи окнах по фасаду представляет собою один из последних частновладельческих участков в центре Москвы — отсюда едва верста до Кремля наберется, утром куранты слыхать. А поелику все это числится на государственной охране в звании памятника гражданской архитектуры, то, пожалуй, положение его попрочнее, нежели у соседнего четырехэтажного каменного доходного дома, к которому особняк скромно притулился бочком: тот в любой день могут запросто смахнуть под фундамент чего-то еще более высокого, а у деревянного-то домишки век долгий, по меньшей мере длиннее нашего...

— И вот, разобравши хорошенько такое дело, — повест-

вовал он далее по порядку, — года эдак с три тому его приобрел малоизвестный, но вполне состоятельный и рукастый скульптор по фамилии Рябинин, урожденный Рабин.

— Разве среди мужского пола такое бывает? — усомнился недостаточно искушенный в городской генеалогии Жека.

— Еще как, — походя подтвердил Троицкий и продолжил свой прерванный посторонним вопросом рассказ. — Он убухал в него всю свою наличность и даже несколько более того, сделав из гнилых руин эту вот свежую конфетку, что красуется сейчас у нас перед глазами. Здесь нынче есть все, что только телу угодно: свет, газ, отопление, горячая вода, страховка, старинная мебель — словом, не знаешь, чего еще пожелать. Но беда заключается в том, что, зарывшись по уши в частную собственность, Рабин-Рябинин забросил вконец работу, назанимал кучу денег да потом, как водится, и разорился вчистую... Ведь ваятельный промысел — это не наши с тобою бумажные марания, для коих довлеет листа с пишущею машинкой впридачу; тут нужны средства, и немалые — на гранит-мрамор, на рабочих каменщиков и шлифовщиков, на перевозку с доставкой без порчи, на встречи да угощения — короче, расходам нету числа. И вот, очутившись в глубокой долговой яме, он вынужден, кусая локти, продавать теперь всю эту готовую к употреблению игрушку — кстати сказать, совсем не так дорого: за тридцать тысяч целковых или, древним русским счетом — три тьмы. Представь себе, каков наглядный урок скороспелой стяжательности...

Жека, тотчас поверивший в правдивость современной сказки — а как было не убедиться в ее подлинности, когда сам главный герой стоял перед ним воочию, можно даже потрогать, — при последних словах попросту онемел. В испуге перед раскрытыми настежь неслыханными возможностями он как-то съежился, меж тем как хищная мысль принялась крутиться в мозгу с бешеной скоростью.

«Вот это да, — свой дом со своею землей посреди Москвы! — вопил внутри восхищенный донельзя голос. — По ней и ходить-то можно во всю ногу, увесисто... А что если?.. Ну?!»

Продать долю родительской избы, которой владел он в Тихотке сообща с сестрою да забыл уже давно навещать, не желая по целым дням торчать на виду многочисленных родичей. Загнать скопом книги. Сколько, бищь, это даст за все про все? Ежели вместе с недавно выкуплен-

ным Брокгаузом — то едва ли не половину требуемой суммы. Ух! Еще четверть перехватить у знакомых, а остаток пообещать врассрочку. Зато!

...Чем день, а точнее, ночь эта завершилась, он и не помнил потом как следует из-за того, что целиком ушел в себя, страшась убедиться в доступности умопомрачительного соблазна. Но ему, как начинающему сочинителю, хотя бы грезить о нем — и то было сладко: кажется, рукою оставалось подать до того, чтобы основать в самом центре столицы такую частную крепость, где можно будет наподобие предков создать уголок неподвластного переменчивым веяниям возвышенного царства духа...

Сколько ни плутай, как известно, по обочинам, стараясь перехитрить судьбу, все равно рано или поздно попадешь-таки на ту стезю, что тебе на роду писана, даже если целью этого путешествия окажется придорожный буерак. Не прошло и недели, как — по видимости, совершенно случайно — Жеке пришлось как-то под вечер катить опять на Ордынку, чтобы согласовать с почтенным престарелым актером окончательный текст его беседы для юношества. Идучи обратно к метро, он, и не помышляя вовсе ни о чем подобном сознательно, а просто повинуясь мимолетной прихоти, нечувствительно повторил крепко засевший в заднем уме путь. От высоченного пятиглавия Климента папы Римского срезал подворотнею петлю улицы, затем мимо пары бордовых строений, на которые алый храм словно бросил свою цветную тень, заворотил резко вбок — и тут нос к носу налетел на давешний заветный дворик.

Наискось, на той стороне переулка виднелось другое новенькое старинное здание: судя по рассказам Троицкого, это был воссозданный дом, где родился Островский, — тут же стоял и его неприметный кумир, как раз на месте церкви, в которой драматург был окрещен. Теперь из-за позднего часа свет в музейчике погасили и мигала только красная лампочка охраны. Вокруг стремительно темнело, и хотя с прошлого посещения протекло совсем немного дней, в этот отрезок успела втиснуться решительная смена времен года: самый дух жаркой июньской ночи, струившийся из полуосвещенных углов, ее мягкие шорохи и пряные запахи явственно говорили о начале краткого беспечного праздника раннего лета.

Жека сгрудился на той же куцей неприметной скамье и замер. Прямо перед ним, внутри небольшого частного садика, огороженного сквозною железной решеткой, росли

две могучих осины и дикая яблоня, бесстыдно сбросившая наземь весь свой бело-розовый цвет. В дальнем угловом окошке теплился маленький огонек, в то время как остальные помещения безмолвствовали в полном мраке. Жека вообразил на миг, что это не кто иной, как он сам сидит там в качалке, листая прохладительное старое издание наподобие «России, настольной и дорожной книги для русских людей» Семенова-Тян-Шанского, чьи картинки он вчера еще долго рассматривал в «Букинисте» на Сретенке. Через распахнутую створку ветер несет шумы сонного города, последние гудки с затихающей Пятницкой, тихое дыхание сумерек или даже звон далекого колокола с Якиманки. Шелестит отвечающая малейшему дуновению нежным трепетом всех сочленений осина, укорененная прочно в своей земле...

Жеке сделалось так вольготно, что просто невмоготу долго вытерпеть, и он попытался тогда как-то прервать это избыточное, плещущее через край блаженство, нарочито грубо вытащив папиросину и тщательно ее прикуривая.

Тем временем в доме произошло некоторое движение: огонек, тронувшись, медленно поплыл издали навстречу, и тут Жека разглядел через приоткрытое окно, как по затемненным комнатам плавно прошествовала неслышной стопой молодая гладко зачесанная женщина со свечою в руке, чуть ли даже не в кринолине. Затем свет быстро запрыгал вверх по ступенькам и скрылся.

На спине у него закипели мурашки. Сразу весь сонм теней из прочитанных когда-то усадебных преданий, от дворянских Бунина с Зайцевым до разночинского рая в конце «Мастера и Маргариты», восстал из памяти, воплотившись почти что наяву, и сердце, сжавшись в восторге, вдруг широко и счастливо вздохнуло...

Тихохонько поднявшись, чтобы как-нибудь ненароком не спугнуть это поистине волшебное чувство, которое, как отчетливо сознавал Жека, запечатлевается сейчас внутри навечно, он, бросив едва дымящуюся цигарку, осторожно, чуть ли не на цыпочках двинулся прочь.

...Мысль сделаться в действительности московским домовладельцем стала у него с той ночи попросту неотвязной, превратившись в жестокую страсть наподобие безнадежной влюбленности, и чтобы предоставить ей хоть какую-нибудь ослабу, выпустить погулять на волю, он взял да поведал всю эту историю у себя на работе, присочинив в заключение, что сделка уже в общих чертах заключена.

— И где же ты мог разжиться такими деньгами?! — не поверили в редакции.

— Загнал книги, а остальное подзанял в разных местах, — ответил он запросто и в довершение крайне ловко прилгнул: — Причем что любопытно: когда просишь взаймы червонец, отказывают и косятся, а коли ищешь тысячу или даже три — сами несут и еще смотрят с уважением.

Эта последняя «живая» подробность окончательно всех убедила, и вскоре Жека почувствовал, что отношение к нему со стороны сослуживцев начинает меняться. Мужская их часть постепенно отдалилась, сочтя его чем-то вроде кулака, за исключением двух наиболее молодых приятелей, предложивших учредить обязательный журфикс — день приемов, например среду, чтобы устраивать еженедельно пиры и забавы. Женская же половина, обсудивши в своей тесной среде все происшествие, пришла к заключению, что на самом-то деле средства Жеке достались, конечно, не иначе как в виде приданого, и пустилась в гадательные предположения о личности окрученной им заморской княжны. Кроме того, впервые явно оказали себя те, кто раньше был в числе тайных недоброжелателей, но до поры до времени считал его за чересчур уж ничтожную величину, чтобы выражать свое нерасположение открыто.

Главное же, что, водя за нос и дурача беззаботно других, Жека не заметил, как и сам понемногу в эту свою мысленную покупку в кредит почти что уверовал... В итоге все уже так перепуталось, что врать далее сделалось невмоготу и настала необходимость сей узел любою ценой немедля размотать либо разрубить; и тогда он решил достигнуть цели одним махом: не обинуясь наведаться прямо в особняк, спросить что почем и, может быть, даже попытаться взять на пушку, затеять блеф — мало ли что, вдруг да получится...

Воскресным августовским вечером Жека сумел преодолеть внутреннюю леность с испугом в ногах и отправился втретье на «Новокузнецкую».

Шла та венчающая треть лета, когда высоко в поднебесье появляются могучие белые облака, в молчаливом согласии грядущие невидимыми воздушными тропами вдаль, а окружающий мир, завороженно следя за их передвижением, неприметно привыкает к мысли о подступающей осени. Наблюдая полыхающий над горизонтом закат, напоминавший яркостью сменяющихся красок целое светопреставление, Жека подошел, понемногу замедляя шаги,

вплотную к ограде дома и тут вдруг вновь предался колебаниям; он искурил чуть ли не полную пачку «Пегаса», бродя вокруг да около и все не отваживаясь переступить опасно-желанной черты.

Возмутившись все-таки собственной робостью, он почти что насильно стронул с места неприятно самовольничающее тело, только когда на небосводе уже проступили первые звезды. Дернул железную ручку калитки — она оказалась отперта, так же как и небольшая дверь в прихожую, возле которой Жека не сумел нашарить звонка и поэтому вынужден был войти внутрь, не подавши о себе наперед никакой вести. Из тесной пустой прихожей постучался он во вторые, сенные створки; сквозь них внятно послышалось басовое «да-да?», Жека кашлянул и, отогнав прочь последнюю стеснительность, бесстрашно двинулся вперед.

Гостиная, куда он теперь проник, была сплошь изукрашена старыми маринами и пейзажами всех размеров и стран, составленными плотно встык, что на ученом музейном языке именуется «шпалерной развеской». Посередине тянулся деливший ее пополам широченный дубовый стол, дальний конец которого, где два края заметно расходились врозь как бы в обратной перспективе, упирался в долговязого тощего человечка с шишкообразно надувшимся лбом над такими ворсистыми бровями вразлет, что волосы их легко можно было принять за перья, а отвисшие лопастями пурпурные уши, полупрозрачные в свете расположенной позади лампы, казались кожаными крыльями нетопыря. Набычившись и не выразив никакого удивления, он дотошно изучал внешность пришельца точечными зрачками, скоро вращавшимися на соловых в кровавых прожилках белках.

— Милости прошу... — сказал затем домовладыка, в ком Жека с ходу признал самого Рабина-Рябинина, фамилия которого напоминала ему нечто вроде Брешко-Брешковского или Миклухо-Маклая. — Чему обязан?

— Я насчет дома, — смело ответствовал Жека и приосанился. — Он ведь еще не продан?

— Нет, — к большому его облегчению подтвердил хозяин. Но не успел еще Жека удовлетворенно перевести дух, как тотчас же был огорошен другим, уже неприятным известием.

— Да он и не продается вовсе, — добавил с расстановкою Рабин-Рябинин.

— То есть как это?! Мне наверное говорили, что особ-

няк ваш можно приобрести, — слегка опешил Жека.

— Верно-верно. Приобрести — но отнюдь не купить за деньги.

— ???

Человек с противоположного торца стола еще раз пристально всмотрелся в вошедшего, которому почудилось на мгновение, что тот хочет пригвоздить его намертво к полу своими выкаченными из орбит глазищами, а потом, удовлетворенно хмыкнув, стремительно хлопнул в ладоши долгих не по росту рук. Жека испуганно вздрогнул, чему собеседник радостно расхохотался — и тут отворилась небольшая, скрытая в стене одинаковой с нею раскраской дверца, откуда выглянула та молодайка, которую он видал мельком в прошлый раз через окно.

— Машенька, соорудите-ка нам наверху чаю, а я покамест проведу молодого человека по комнатам, благо все прочие домочадцы выехали в подмосковную, — велеречиво приказал ей Рабин-Рябинин.

Миловидная девушка в чепце с оборочками, с длинной косою, заплетенной натрое и уложенной на затылке калачом, одетая в строгое серое платье до пят, покрытое спереди туго накрахмаленным передником, подарила Жеку, как тому показалось, взглядом, полным искреннего сочувствия, и, молча кивнув, скрылась обратно на кухню. Пока Жека ею любовался, расщедрившийся чичероне успел выбраться из-за стола, подхватил Пивоварова под локоток и повлек за собою по веренице залов, без умолку стрекоча восторженные пояснения, словно заправский коробейник, нахваливающий вовсю свой товар.

— Ну, гостиная вам уже немного знакома. Живопись, правда, не ахти, так, сбродное собраньице, но зато в пандан, как и полагается в собственном доме средней руки. А вот рекомендую еще библио́теку, — нарочно нажал он голосом на архаическое ударение. — Лучше всего здесь представлена Россика: почти что полный подбор масонского репертуара новиковской компании, прелюбопытнейшая коллекция произведений славного типографа Августа Семена, выпускавшего впервые Пушкина, Гоголя, Вяземского и других, Эйнерлингов Карамзин со строевским к нему «Ключом», удостоившимся особого отзыва самого Александра Сергеевича, альманахи всевозможные, журналы и прочее.

Все это именно того разряда литература, которая должна отвечать вкусу книжника сороковых — восемьсот, ра-

зумеется — годов. Вдобавок смирдинские избранные Державин, Капнист, Сумароков, Дмитриев и даже Тредиаковский, наравне с иными «образцовыми отечественными авторами», тогда еще вовсе не многочисленными. А в качестве путеводителя — все пять частей «Опыта российской библиографии» Василия Сопикова, от заведения книгопечатания на Руси до 1818 лета включительно, первое прижизненное издание. На иноземных шкафах задерживаться сейчас не станем — там всего пятеро языков новых да пара древних, в основном классики.

Столовая — вмещает дважды дюжину персон. Картины здесь, как водится, подблюдного свойства, подражание голландской школе, преимущественно, так сказать, пищеварительные натюрморты. Сервиз... Гарднер, не шутка! Мастерская, спальня-будуар с альковом, музыкальный салон, приемная, еще жилые покои. Гардероб с витражом — говорят, цветные лучи отпугивают мух...

Везде было какое-то избыточное обилие зеркал любых форм и размеров. Жеку поразили также находившиеся в отличном рабочем состоянии часы Мозера и Габю, угловая козетка, инкрустированные черепашиной ширмы, экран перед камином, испещренный сценами воображаемой «китайщины», круглый диван посреди салона рядом с клавесином. По стенам мелькали то бисквиты с профилями известных особ, то гравюры видов послепожарной Москвы и провинциальных городов; на столах и нарочных подставках тут и там попадались изящные бронзы и мраморные головки в античном вкусе. Иногда, в приличных пределах, стиль несколько нарушался: возникал поставец в васнецовских узорах либо лампа модерн с колоколовидным абажуром из многослойного стекла, — но все эти намеренные небольшие огрехи только сильнее оттеняли единство прочей обстановки. В последней комнате внизу он увидал целый арсенал отличного холодного оружия, но не сумел уже отличить сабли от шашки или палаша, а там и вовсе споткнулся на разновидностях редких осветительных приборов. «Канделябр, геридон, жирандоль...» — перемешались вконец некрепкие знания в Жекиной голове, и без того шедшей кругом, и, не рискуя открыто выказывать свое невежество, он удержался от того, чтобы спросить поподробнее.

А хозяин уже торопил гостя наверх, к расположенному в мезонине кабинету.

Они двинулись туда гуськом по благородно заскрипев-

шей на разные лады винтовой лестнице и, сыграв на ее клавишах бравурный марш, вступили в уединенный покой для творческих упражнений. Чуть ли не половину его занимало бюро карельской березы, из которого сейчас выдвинут был один из потайных боковых столиков. Заботливые ручки оставшейся невидимою Маши зажгли в подсвечнике три фитилька и расположили на подносе веером чайные приборы с розетками для варенья и печеньем, что своею воздушной пушистостью настолько же превосходило «курабье», сколь последнее в свой черед разнится с окостеневшим мятным пряником. Посередине красовался пузатый серебряный молочник, пустивший в две струи из-под крышки слюнки густых домашних сливок.

— Присаживайтесь, окажите любезность, — предложил хозяин и, не чинясь, первым опустился в глубокое кресло, крепко вцепившись руками в львиные морды на подлокотниках. Обомлевший от обилия чудес Жека оседлал такой же в точности трон насупротив — и тотчас перед взором его из трехчастного оконца, оказавшегося на уровне глаз, предстал уютный отрезок переулка с одним романтически покачивающимся фонарем. Это было, пожалуй, даже несколько чересчур.

— Ну как, пришлось вам по нраву скромное наше жилище? — вопросил Рабин-Рябинин, выждав великодушно некоторое время в молчании, покуда пораженный в самое сердце прелестями его дворянского гнезда гость немного опамятуется.

— Да, и весьма, — впадая в тот же приподнятый слог, отозвался совершенно покоренный Жека.

— А знали бы только, каких это стоило забот! — довольный произведенным впечатлением, взволнованно выдохнул хозяин нараспев. — Ну да что уж теперь попусту толковать...

Он призадумался, а потом продолжил уже более спокойно:

— Здесь достигнута, кстати, значительно бóльшая цельность, и притом куда скромнейшими средствами, нежели, скажем, у Горького в доме Рябушинского, где все беспрестанно разрывается между двумя противоположными владельцами... Да к тому же тут ведь не музей, а подлинно жилое помещение — кажется, садись да сходу пиши роман...

При последних словах он лукаво и очень колко взглянул на Жеку. Тот кивнул в согласии, однако внутренне поежил-

ся, чувствуя, что сказка каким-то непонятным покуда путем начинает переходить в нечто гораздо более мрачное. Дабы как-нибудь взять в свои руки неверно пошедшее течение беседы, он безо всякой подготовки решительно брякнул главный вопрос, давно крутившийся на языке:

— И сколько же это все стоит? Вернее, простите — чем его можно заслужить, что ли, или как вы там точнее сказали...

Рабин-Рябинин немедленно разразился самым сатанинским смехом, от которого Жеке, и без того расстроенному в своих чувствах всем только что виденным на этом острове невероятного благоденствия посреди расхристанных полуснесенных окрестностей, сделалось довольно-таки жутко. Он к тому же сообразил с опозданием, что не успел даже толком представиться, а хозяин меж тем отчего-то и не думает спрашивать имя. Что же ему тогда за корысть потчевать незнакомого позднего пришлеца? Жека еще сильнее растревожился, только теперь вспомнив, что, должно быть, уже наступила полночь и они здесь остались вдвоем с глазу на глаз — не считать же всерьез за союзника неведомую девицу. Во всем состоявшемся разговоре он разглядел тогда задним числом нечто недолжное, почти бесовское, по крайней мере запредельное — и вслед за тем, припомня какой-то чеховский рассказ про чертей, зыркнул исподтишка: уж не копытцами ли увенчаны снизу рябининские конечности? По чистой, конечно, случайности, ровно за миг до этого Рабин-Рябинин резким движением убрал ноги за глухую переборку стола, и разглядеть толком Жека ничего не поспел. Хозяин же, вмиг помрачневши, откровенно угрожающе обронил:

— Ну что, погуляли, и будет. Нечего у меня за ушами рожки выглядывать — речь вовсе не о том.

Жека не на шутку струхнул и сделался весь внимание.

— Только, пожалуйста, не воображайте себе, что нужно торговать душою или как это теперь иначе называется, — «успокоил» его, еще более на самом деле застращав, лысый Кощей, уставившись в упор своими востренькими зрачками и явно гипнотизируя, как удав оцепеневшего кролика. — Нехай она преспокойно висит у вас на костях. Нужда нынче в ином. А ну-ка, повторяйте за мною отчетливо по складам: «О!»

— Ооо! — взревел лишившийся собственной воли несчастный редактор.

— Гррра!!

— Грррррааа!!

Тут Рабин-Рябинин растворил настежь золотозубую пасть, но третьего члена заклинания не произнес, а вместо того как бабахнет кулачищем по столу! Все, что стояло на нем, подскочило кверху чуть ли не на добрый вершок, но каким-то странным образом благополучно возвратилось по своим местам, не пролив ни единой капли. Жека застыл в ужасе, а собеседник его напоследок-таки выпалил:

— Да!!!

— Да?! — не разобравши смысла, сдуру повторил коварное окончание Пивоваров.

— Да-да-да-да-да! Ограда, ограда — вот что сейчас единое на потребу, — зачастил его безжалостный искуситель,— неужели еще не поняли? Вы должны всем своим существом — телом, духом и сердцем — захотеть отделиться от мира, поставить между собою и остальным светом непроницаемую изгородь, стену, отсекающую напрочь все происходящее вокруг. И коль скоро сумеете этого вполне достичь, то сами — сами, одним лишь усилием воли, ясно? — окажетесь здесь безо всяких дальнейших хлопот. Вот тогда-то дом сей станет вашим по праву. Но только нужно сделать это, не оглядываясь ни на что...

У вас, как я вижу, наличествуют необходимые задатки: остается умножить усилия и приложить труд на труд. А пока разговор наш закончен — я вам условия оговорил полностью. Честь имею!

Он приподнялся и подчеркнуто жестко, показывая, что приему наступил конец, пожал изо всех сил изрядно помягчавшую Жекину руку, тем самым недвусмысленно выпроваживая его за порог. Жеке ничего не оставалось, кроме как покорно повиноваться, и он, торопливо пробормотавши по привычке «до скорого» (в ответ на что услыхал наглый смешок), бросился стремглав вниз. Вдогонку ему донеслось:

— Только потрудитесь теперь хотя бы выйти парадным входом, направо вперед, а заднею дверью забираться сюда позабудьте...

Присмирев от смущения, он опрометью выскочил через главный подъезд и, боязливо прислушиваясь ко враз наставшей за спиною совершенной тишине, словно там немедленно после его ухода погас свет и все живое, как призрак, исчезло, выдохнул с омерзением залетевший из прихожей в ноздри терпкий медицинский запах, подозрительно смахивавший на дымок от горящей серы.

— Наваждение какое-то, — пробормотал, успокаивая себя, Жека и пустился что было мочи прочь, оглянувшись косо на прощание от угла переулка, упиравшегося торцом в пустырь. Память сделала отсюда на всякий случай один из бесчисленных мгновенных снимков, заложив его в свои закрома про запас, но времени изучать вид на месте — как, впрочем, и желания особого тоже, — у Жеки не нашлось.

Он залетел в метро как раз на грани закрытия, сбежал нетерпеливо по медленно текшему эскалатору и нырнул головою вперед в шипевшие змеино двери пустого вагона. Ему предстояло еще чуть ли не часовое путешествие в этой удобной движущейся преисподней, и тут-то, расположившись поудобнее на широкой безлюдной скамье, он принялся уже как следует наново обдумывать все случившееся этим безумным вечером. Поначалу картины его выскакивали перед глазами в полном беспорядке, перемешиваясь и подталкивая, махнув рукою, счесть все происшествие откровенно потусторонним мороком. Такое объяснение, будучи, конечно, далеким от естественного, обладало зато веским достоинством исчерпывающей краткости.

Не трижды тьму рублей, а три ночи беспросветного помраченья сознания заплатил он сполна за чувствительный опыт укрощения собственной алчности, и теперь, пожалуй, пора было ставить на всем этом размашистый крест. Но по мере того как приходил в себя запуганный до полусмерти рассудок, он пустился сердито перечить, изъявляя крайнее недовольство мистическим заключением. Жека вызвал тогда вновь более спокойно перед внутренним взором зрелище, запечатленное в душе напоследок, и стал изучать его подробно уголок за уголком. Он тщательно обследовал отрезок переулка, потухшие окна соседних строений, трепещущую осину подле окрашенного суриком особняка, пару разбитых фонарей и единственный горящий, хотя и одноглазый, освещавший в полумраке табличку слева от входа. Жека пристальнейшим образом вгляделся в серебристую надпись по черному фону.

— ...но след тут псих я ой маниак бред... — разобрал он сначала наиболее яркие буквы и походолел, догадываясь, что наступил на хвост оскорбительно простой разгадке. Вперившись в сохраненный памятью отпечаток до слез, Жека постепенно с содроганием разобрал по слогам всю надпись целиком: «Научно-исследовательский институт психиатрии. Лаборатория экспериментальной терапии ретроманиакальных бредообразований».

— Ретроманиакальных! — выхватил он ключевое слово из цепочки и с помощью нехитрого запаса полугодичного университетского курса латыни проник в его примерный смысл: искажение ощущения времени или навязчивое побуждение уединиться в прошлом.

— Вон что, — догадался Жека. — Так вот почему он меня сперва со двора-то завел — чтобы вывески не было видать. Ну, шутник, нечего сказать...

...На следующий день Жека, правда, на свежую голову засомневался, чтобы зависящий от него целиком автор мог отважиться затеять подобный розыгрыш, которого по совести говоря трудно было б сыскать жесточе, и хотел даже нарочно сходить в библиотеку проверить по «Медицинской энциклопедии»: существует ли в действительности заболевание мозга с таким диковинным наименованием. Но разум, как это ни странно, чрезвычайно упорно воспротивился последнему намерению, убедительно ссылаясь на необходимость в случае его успеха опять мучительно разыскивать другое, быть может, еще более невероятное объяснение кромешно мрачного приключения. И Жека вроде бы в конце концов с ним скрепя сердце согласился — по крайней мере, при встречах с Троицким в издательстве он теперь всячески стремится от приветствия уклониться, а когда ему приходится попадать ненароком в Замоскворечье, переулки меж Малой Ордынкой и Пятницкою обходит стороной за версту.

Мне возвращен «Медный всадник»
с замечаниями Государя. Слово к у м и р
не пропущено Высочайшею ценсурою...
А. С. Пушкин. Дневник 1833 г.

БОЛВАН

— 250-00-49.

— !.. !.. !.. — мажорно запели сразу, против ожидания, длинные свободные гудки, после третьего из которых пятиалтынный отважно нырнул в прореху копилки, а в ответ с той стороны послышался крепкий мужской баритон:

— Телефон доверия.

— Добрый день, — выпалил сходу затверженное приветствие Иван Непейцын, но тотчас же поправился: — Только для меня-то он напротив беспросветно злой.

— А в чем именно загвоздка? — понимающе отозвался незримый доброхот, быстро разобравши по голосу, что говорит с собственным сверстником.

— Запутался совсем, — признался со вздохом Ваня и, спохватившись, что его могут превратно истолковать, пустился в подробные примечания, налезавшие в поспешности друг на друга, как льдины на вскрывшейся реке. — Видите ли, в голове все точно кругом пошло, а я в некотором смысле, пусть краюшком, но художник; и вот от такой неразберихи на душе работа из рук валится, идет вкривь да вкось — прямо хоть брось.

Нечаянная рифма еще более подхлестнула движение заочной исповеди:

— Ну да обстоятельства побоку; вы мне лучше, ежели, конечно, можете, разрешите один только основной вопрос. Вот когда сам что-нибудь создаешь собственноручно, даже ничтожнейшую какую-то малость, со-творишь, так сказать, то поневоле начинаешь замечать по сторонам... ну, что и весь мир окружающий тоже по-своему сделан, но, понятно, гораздо искусней, и даже можно иногда угадать в частностях — как именно, какими приемами.

Я не настаиваю на окончательной точности впечатления, скорее всего, это просто цеховая болезнь свободных профессий, что-то наподобие рака гордости. Но наваждение ли тому причиною или все же тут присутствует некое донельзя искаженное, однако в истоке своем подлинное отражение коренных свойств бытия — не суть важно: ведь когда одно лишь представление об этом начинает носиться в воздухе, то и вся идея не мытьем, так катаньем проникает в действительность хотя бы, как замысловато выражался Гегель, «в форме несуществования».

Я даже готов признать, что у колыбели создания могло стоять именно Слово, в том по крайней мере заключается высокая поэзия и заодно еще основание права на первенство для нашего ремесла. А мне лично понятие о дурной бесконечности и выморочном безличии вселенной совершенно несродно. Вы меня слушаете?

— Пристальнейшим образом, — спокойно ответствовала трубка. Тогда Ваня, все опасавшийся, что его немедля раскусят и примут за праздного проказника — каковым он на деле был всего лишь наполовину, — продолжил бодрее и слаженней:

— Но коль скоро я уже готов был во все это поверить, то есть не отвлеченно, а впритык, опереться плотно спиною, не ожидая сзади подвоха, то неожиданно выплыло такое непреодолимое возражение: ежели тот, кто тут работал, был исчерпывающе полон в своем изначальном единстве, то зачем же понадобилось создавать впридачу все остальное — неужто ему чего-то еще не хватало? Ведь это противоречит самой сути всемогущества; мало того, ему и невозможно было бы совершить подобное, не нарушив закона тождества — ничего большего, чем бесконечность, на свете не бывает, да и не может быть. Но, помимо философических неувязок, непосредственно по-человечески, от сердца — никак не понять: к чему это все затеяно, а?!

— Убедительно излагаете, — проникновенно отметил собеседник. — А теперь попробуйте-ка на минуту отрешиться от любых забот и просто взглянуть вдруг чистым оком, например, прямо перед собою... Как вам оно покажется, если судить непредвзято и насвежо?

Ваня послушно исполнил заданный урок и насильно распялил взор во всю ширь, охватив панораму от дымившегося внизу горячим варом шоссе, через россыпь изб поселка посреди, очертания которых струи воздуха делали неверными и извилистыми — прямиком до облачной страны небес и вдруг, не рассуждая, в два слова выразил то, что в это мгновение ощутил:

— Хорошо весьма.

— Вот вам и первый ответ, — охотно согласился потусторонний голос. — Да такой, что древнее и нарочно не сыщешь.

— Ну да... — потерял ненадолго заранее расчисленный ход описания собственных предрассудков Непейцын, но скоро сумел вновь собраться с духом. — А тогда зачем, скажите на милость, давши владеть на срок, потом рано или поздно отнимать насовсем обратно? Какой может быть смысл в смерти? Нет бы нам взять да поселиться тут навечно...

— Знаете такой способ? — с легкой насмешкою полюбопытствовал душевный доктор.

— Нет, — вынужден был откровенно сознаться Ваня и вторично замолк, уткнувшись мыслью в другой тупик.

— Постойте! — воскликнул он наконец, боясь, как бы не пресеклась вовсе беседа, ибо в испуге ему примерещилось, будто вдали забрезжила-таки последняя возможность выиграть поединок любомудрия. — Хорошо. По ту сторону грани ожидается нечто новое и еще превосходнейшее. Но я заранее убежден, что в любой распрекрасной вечности мне этого здешнего тленного мира будет смертельно недоставать. И ничем его даже там, где нету времени, не заменишь. Так стоит ли вообще стараться?..

— Вон вы куда повернули, — удивились на том конце горячего провода и начисто сменили тон. — А скажите-ка теперь в свой черед — и тоже, разумеется, по совести: вот ежели появится в одночасье возможность зараз получить это всеобъемлющее предельное знание — вы поспешите ли ею воспользоваться?

Ваня задумался; сперва, выбирая, раза два принимался то «да» выговорить, то «нет», но, памятуя об условии не-

пременной искренности, не сумел и вконец недоуменно затих.

— Ладно, — без тени довольства своею победой заключил его совопросник. — Вы об этом на досуге спокойно поразмыслите, опамятуйтесь понемногу — не тот случай, чтобы пороть горячку; а потом, когда придете к определенному решению, опять позвоните сюда. Служба работает круглосуточно.

— До свидания, — разочарованно протянул Ваня. — Спасибо.

— Спасение — наша главная забота, — утвердительно засвидетельствовал на прощание так и не обретший имени голос и выключился.

— !!!!! — мелко затараторил микрофон на одну ноту.

— Тьфу ты, пропасть, объехал-таки кругом! Психолог... — выругался в сердцах Ваня, но тут как раз — состоя наравне со многими своими соотечественниками в пожизненной крепостной зависимости от заднего ума, — нашел с запозданием лукавый обход («хочу попробовать!») и принялся вновь наяривать кружок автомата, держа вторую монету наизготовку. Однако то ли чортов подмосковный канал был забит до упора, то ли «служба доверия» сама была нарасхват у других, чистопородных горемык — в конце каждого набора его неизменно ожидало дробное пищание «занято».

— Ну я тебя переупрямлю, — задиристо решил тогда Ваня, ни за что не желая легко сдаваться, и, чтобы сбить с толку злую недолю, набрал ради перемены свой домашний номер, где, как он знал наперед, уже точно должно было быть свободно: жил он бобылем в однокомнатной квартирке и ключей отродясь никому, выезжая, не препоручал.

— !.. !.. — действительно доложила о порядке пара долгих «до», но затем некто совсем незваный снял трубку и противно пробурчал в нее по-стариковски:

— На проводе...

— Кто это? — обалдело вопросил Ваня.

— Вы-то сами кто будете? — ехидно отозвался незнакомец.

— Ваня.

— А звоните куда? — не унимался тот.

— К себе. А кто у телефона?

— Я.

— Я тоже — я. Но тут никто, кроме меня, не проживает!

— А чего ж тогда и звонить? — логично рассудил хри-

патый захватчик. — Следственно, с самим же собою, мил человек, речь теперь и ведешь. Ну не болван ли ты в эдаком разе?

— Сам болван! — вернул ему обиду Ваня и резко надавил на рычаг, подумав, что случайно попал не туда — тем более что сзади уже доносился настойчивый стук, каким требовали уступить очередь другому.

Он в растерянности обернулся и, оказавшись через стекло глаз в глаз со своим нетерпеливым последователем, оторопел.

«Поймал!» — радостно запело у него в душе, покуда, посторонясь, Ваня давал проход к автомату приземистому долгорукому и крутоголовому мужику в фетровой шляпе грибом набекрень. Широкоскулое костистое лицо его цвета помидора «бычье сердце» с глубоко вкрученными хваткими гляделками под покатым скукоженным лбом и вислыми усами покоем поверх хищного раскатигубого рта вознаградило вдруг сторицею за неудавшуюся забаву с «доверием». Непейцын в возбуждении принялся прохаживаться, дымя простонародным «гвоздиком», обок будки, будто сказочный кот на златой цепи кругом дуба, терпеливо ожидая, покуда подосланный судьбою прототип закончит переговоры с Москвой, и раздумывая, как бы к нему половчей подкатиться.

...За последние десять — двенадцать лет по улицам и дворам множества наших городов и весей незаметно проросли тут и там в превеликом множестве опрятные детские деревянные площадки и даже целые городки, изобретательно украшенные шатровыми хижинами, зáмками в башенках, качелями-каруселями, лесенками, песочницами и прочим необходимым скарбом для игр, в числе которого непременно состоят столбовидные изваяния, изображающие тридцать три витязя при Черноморе, царевну Лебедь, Бабу Ягу со Змеем Горынычем, Емелю, Руслана, Соловья-разбойника и прочих героев сказочной старины. Отставленные от своих исконных языческих божественных должностей и, казалось бы, совершенно уже исчезнувшие въяве с лица земли, они негаданно вновь, как грибы, щедро взошли многолюдными семьями, сделав былые свои капища местом ребячьих забав.

Одним из творцов всего этого бревенчатого резного народца и был Ваня Непейцын, вообще-то числившийся по окончании училища в подмосковном Хотькове реставратором во дворце-музее Останкино; в свободные выходные

дни он, оставя незанимательные должностные обязанности, брался за вольное ваятельное рукомесло. Артель их возглавлял шустрый оборотистый «жук» Сема со вполне подходящей фамилией Богомаз, заключивший сдельный договор с леспромхозом в небольшом поселке Румянцево, что по Рижской дороге — куда они являлись вместе или порознь, когда это позволяло время, и летом прямо на дворе, а зимою в теплом сарае долбили или вырезывали из отходов производства кто что: один споро клал крытые лемехом островерхие домики, другой очищал от коры и сучков грубые чурки, третий умащивал их краской с лаком уже после того, как «ведущий художник» Ваня извлекал из болванок нечто среднее между Галатеею и Буратино, пятый занимался тескою лавочек и скамей с выжженными на спинках солнечными узорами, а Сема тою порой поспевал исправлять как положено накладные, закрывать наряды, обеспечивать перевозку со сбытом, не забывая также выписывать и оплачивать счета.

По мере того как опыт и мастерство Вани росли, он уже не хотел довольствоваться простым переводом билибинских и васнецовских прорисей в тугую древесную плоть; однако был также достаточно совестлив для того, чтобы легкомысленно пустить на волю собственное воображение и лепить что только на ум взбредет. Углубившись в ученые исследования о славянских старожитностях и архаическом искусстве, Непейцын мало-помалу проникся подлинным духом дохристианской культуры далеких предков, и тогда выходящие из-под его рук столпообразные статуи начали постепенно наполняться настоящим хтоническим — то есть земляным, а еще вернее подземным — корневым смыслом, в них стала явственно проступать та исконная мощь, что видна воочию всем, кому доводилось встречать по музеям немногие остатки ветхих кумиров, на деле вкусивших горячей крови жертв, но которую никому еще не удавалось в новое время доподлинно воспроизвесть.

Тут уместно добавить, что потому-то он еще вдвойне и обиделся на невзначай полученного сегодня по проводу «болвана», что тот совершенно, конечно, случайно попал в точку, в самое больное его место. Дело заключалось в том, что сейчас они трудились над оформлением детского сада рядом с Таганкой, напротив бывшей церкви Николы на Болвановке — название коей недвусмысленно указывало на то, что поставлена она была некогда на пепелище языческой кумирни. Сначала Ваня отнесся было к этой

работе как ко простой заурядной задаче, ничем не выдающейся из долгой череды сходных с нею иных. Но однажды проходивший мимо площадки невзрачный старик с клюкой, покачав сокрушенно лобастою головою, громко произнес у него под ухом, разглядывая Ванины произведения: «Господи, ну и болваны стоеросовые...» Ваня чрезвычайно этим оскорбился, а после, поразмысливши хорошенько, понял, что определенная толика правды в словах переброжего охульщика все же была: в соседстве нарядного храма неуклюжие его созданья смотрелись довольно-таки жалко, и, следовательно, дабы не ударить в грязь лицом, нужно было попытаться противопоставить ему нечто гораздо более основательное и величественное.

Тогда-то Непейцын и замыслил дерзновенно воздвигнуть там посреди прочих кумиров в центре круга ни много ни мало — художественное подобие знаменитого Збручского идола, своего рода символа веры древних славян тысячелетней давности, раскопанного в середине прошлого века на стыке земель четырех племен: волынян, бужан, тиверцев и белых хорватов.

Он представлял собою четырехгранный столб, снабженный по сторонам резными изображениями в три яруса. Наверху в лицевой грани находилась Великая мать — Мокóшь, покровительница плодородия, держащая рог изобилия в руке. Одесную ее стояла богиня брака и всяческого произрастания Лада с кольцом, а ошуюю — плотоядный воитель Перун при мече-палаше и боевом коне. Позади же, на четвертой грани, располагался Стрибог, управляющий небом и ветрами.

Средину столба занимали человеческие фигуры, взявшись в хороводе за руки, отображавшие наш дольний мир: двое мужчин и две женщины в согласии с богами верхнего пояса, причем дева под Мокошью имела еще на плече ребенка.

Внизу на коленях покоился древнейший член пантеона, тридцативековый титан Велес, податель благ и богатств, управитель охотников с пастухами, самим именем своим сделавшийся родоначальником волшебства и волхвов. Он влачил на могутных раменах, бережно придерживая руками, вселенную богов и людей и потому представлен был в виде триглава: с основной стороны в фас, а с боков еще и всем телом в профиль, но так, что отовсюду лицо его смотрело в упор на наблюдателя.

Все это венчалось поверху обозначающей крепкую

мужскую плоть скругленной каменной шапкою с ободком, точь-в-точь как на сегодняшнем дядьке, и, будучи первоначально окрашено в цвет охры, в совокупности своей воплощало единое многоликое божество Род-Святовит.

В конце прошлой недели Ваня почти закончил сие новое творенье, выведенное им в два человеческих роста из обрубка громадного, сваленного молнией дуба, и последнее, что ему пока никак не давалось — это оживить, наполнить торжествующей силою лик содержащего на себе весь мир Велеса. Он и сегодня полдня прокорпел над ним, но сколько ни бился, так и не смог двинуть дело с места — «скотий бог» ни за что не желал воплощаться.

Трижды вспотев и остыв, то браня на все корки свою косорукость, то призывая с мольбами удачу, Ваня принужден был все же бросить скульптуру без завершения и в усталости присел покурить с товарищами. Он застал как раз самую середину беседы, когда артельный балагур и затейник Кока Адодуров — фамильные прозвища у них как нарочно подобрались звучные, на это прямо-таки странно везло — пересказывал занимательные истории, поведанные ему двоюродной сестрою; окончив университетский психфак, та устроилась в недавно заведенную у нас по примеру Европы телефонную службу, куда, пользуясь предоставляемой автоматической связью безымянностью, мог в лихую минуту безбоязненно обратиться каждый круто сбитый с панталыку, жестоко затосковавший, а то и близкий к тому, чтобы вовсе наложить на себя руки человек. По Кокиным словам выходило, что как скоро открылся этот свежий источник врачебных услуг, к нему со своими пенями и сетованьем припал целый полк неустойчивых, не сумевших справиться с возросшею сложностью жизни людей, причем, как это ни удивительно, в значительном большинстве своем, особенно по вечерам, это оказались мужчины...

— Лиха беда начало, — подумал, молча внимая сим грустным байкам, Непейцын. — Возьму да звякну — авось коли помочь не помогут, так хоть натешусь вдоволь, отведу душеньку.

Недолго колеблясь, он тогда, вышед со всеми вон, по дороге к электричке неприметно отстал и направился к загородному телефону у почты. Толкового разговора, однако, как видно, не получилось, но потом само несчастие сумело как-то хитро обернуться несомненным успехом: не успокоивши нисколько сердца, он наткнулся зато прямо

носом на живого до жути Велеса, словно вылитого с образца: хватай его под микитки да тащи ваять!..

По здравом размышлении изобрел он тут следующую уловку: только лишь прообраз его высунулся из кабинки, как Ваня вежливо осведомился у него — нельзя ли где-нибудь поблизости выпить усталому человеку бутылку пивка после рабочего дня; причем по выслушании ответа искусно проявил нарочитую непонятливость и попросил проводить до места, пообещавши в награду угостить поводыря даровою парой. Мужик, назвавшийся Чикой — имя было как раз под стать, откровенно языческое — запросто согласился на подобные вольготные условия, тем паче что пройти-то требовалось всего сотни две шагов.

Пенного напитка в придорожной забегаловке, куда он доставил в целости своего подопечного, уже не осталось (тот еще лукаво рассудил про себя, что его, должно быть, спугнула Ванина безалкогольная фамилия), зато они все-таки остановились там закусить; но по пути, за розысками и у стола Непейцын успел вволю изучить Велесова брата вдоль и поперек со всех точек зрения.

Между прочим Чика признался, что работает каменщиком в Новом Иерусалиме — «примечай!» (такова была его неотменная присказка при всяком новом сообщении), — где кладет нынче четырнадцатиэтажные жилые дома. Родовое прозвание у него тоже было соответственное — Обернибесов, причем он утверждал с излишней настойчивостью, будто предки его владели Румянцевом чуть ли не со времен царя Гороха. Ваня после освоения кипы научных трудов о баснях и сказках уже знал достоверно, что этот былинный владыка действительно правил где-то близко десятого века до рождества Христова, — но столь же точно уверен он был и в том, что здесь-то Чика безбожно лжет: поселок, где один из них проживал, а другой творил своих безгласных кумиров, возник только во время последней войны и еще в начале текущего столетия про него не было ни слуху ни духу.

Не в пример правдивее вышла на поверку приправленная обиходной похабщиной и внешне куда более невероятная повесть про то, как нынешним январем прямо на Чикиных глазах мерзлым январским утром с десного края Воскресенского монастыря по-над Истрою сложился наземь гигантский стальной шар, никому не причинивши притом ни малейшего вреда, но по причине совершенно по сю пору загадочной.

Тут беседа их прервалась жуткими криками неведомой плачей, в голос взвывшей неподалеку словно о новопреставленном покойнике. Поскольку трапеза была поглощена полностью, они, не сговариваясь, выбрались наружу и отправились, как на пожар, поглядеть вблизи, что там такое стряслось. У соседнего с леспромхозовским дома билась об пол и горевала средних лет женщина в загвазданном зеленою грязью переднике, а несколько мужиков рядом держали изо всех сил стоймя живую, пузатую сверх меры корову — у двоих было в руках по паре спотыкливых говяжьих конечностей, а третий задрал ей назади хвост, намотавши его вокруг локтя.

— А, объелась, жадюга неуемная, — догадался первым Чика. — Коли она теперь только приляжет, тут ей и каюк. Надо или гонять, покуда не переварит лишнего, или бензину внутрь влить — авось обратно срыгнет.

На шум со всех концов постепенно стеклась изрядная толпа чуть ли не в половину женской части поселка, молча обстав действующих лиц кру́гом, наблюда́вшая сочувственно происходящее.

— Полторы тысячи буренка, не шиш с маслом, — сокрушился в свою очередь за сиротевшую хозяйку и Ванин спутник, но вскоре заторопился: — Ну, я пошел. До свиданьица. Не ровен час и моя тетеха сюда заявится, объясняйся с нею потом...

— Да про что? — не сообразил Ваня.

— А про все скопом. Бабы, вишь, они ведь бывают разные: жидкие и газообразные, — таинственно изрек Чика, послав вдогон свое последнее «примечай!», и скрылся в народной гуще.

Ваня, расчислив оставшиеся возможности, решил возвратиться к своей статуе, потому что у него прямо-таки чесались руки довести тотчас же до завершения заветный труд, пока воспоминания о его живом двойнике еще стоят наяву перед взором.

...На опустевшем дворе не было ни души. Он проворно нацепил коленкоровый фартук, взял в ладони стамеску с деревянным молотком-киянкой и, опустясь на колени перед заготовкой, с головою погрузился в работу. В творческом забытьи Ваня и не приметил, как постепенно наступил душный июльский вечер, а затем под его покровом как бы враз сошла на землю черная, хоть очи коли, ночка. Только когда даже вблизи уже ничего почти не стало видно, он вынужденно оторвался от кумира и, разминая за-

текшие члены, выпрямился вместе с ним — ухвативши под голову с шапкой и взгромоздив из последних сил на попа́.

Потом прилег поблизости, подстеливши вниз грубую рогожку, посреди мягкой пахучей груды свежих опилок у электропилы и стал разглядывать общее очертание всей скульптуры.

Покуда он производил эти несложные преобразования, счастливый порыв ветра растолкал облака, в прорезь между которыми любопытно просунулась полная пятнистая луна. Повинуясь полусознательному побуждению художнического чутья, Ваня вынес со склада пульверизатор с алою краской и начерно сбрызнул ею весь болван с головы до пят. В ответ он тотчас матово засветился отраженным сиянием, и тогда Ваня понял, что нечаянно открыл одну из главных тайн языческого искусства: золотым часом для его лицезрения был вовсе не яркий день, а прозрачная темень, теплая летняя полночь, наполненная неверным лунным блеском. Он в волнении забегал подле собственного творения, размышляя, как бы повыигрышнее в свете нынешнего откровения расположить его на предназначенной для постоянной прописки городской площадке; а затем снова встал на карачки и заглянул Велесу в лицо. Хорошо, ой как здо́рово, прямо краше и не надо! От полного довольства собою он даже похлопал божка по щеке — и тут вдруг наглая морда пребольно цапнула его за мизинец. Ваня в испуге охнул и пробудился.

Он все так же полулежал на пуховой кучке иверней, где, должно быть, мгновенно впал в дрему, измученный усталостью и избытком зрительных впечатлений. А истукан исправно — что во сне, что наяву — мерцал себе посреди дворища свежей окраскою, отменно строен и ладен.

Ваня привстал и, подошед ближе, в действительности принялся охаживать его кругами, оценивая с различных углов пространственное решение.

— Молодец Непейцын, хвалю! — сказал он наконец сам себе. — Спасибо за службу. Теперь уж я им всем докажу... — начал он новый период поздравительной речи, готовясь как следует воспеть свое святое ремесло и золотые руки, но неожиданно со стороны статуи громко послышалось:

— Мастер, ты воистину достиг своей цели. И я, твое лучшее детище, сделаюсь теперь в награду за то одним целым с тобою. Оставь дотлевать в бесславии бренную непрочную оболочку и переходи-ка на жительство сюда

ко мне — отныне я, Род, стану твоей вечной обителью!

Ваня остолбенел не хуже кумира и искоса зыркнул назад. Там на опилочной кипе на самом деле валялось весьма неприглядно его жалкое тельце, смотревшееся взаправду брошенно в скрюченном и неудобном своем положении.

— Ты сам создал себе новый дубовый дом. Добро пожаловать, дорогой гость, в лубяные хоромы, ха-ха-ха-ха! — в злобном довольстве рассмеялся этим подслушанным им мыслям болван, двинувшись всем грузом своим раздавить опустевшую человечью шкурку. Ваня в ужасе бросился ему наперерез к покинутым опрометчиво без охраны останкам — и с криком очнулся.

Кумир опять как ни в чем не бывало мертво высился на старом месте, а Ванин дух, будто сабля в заржавевшие ножны, поспел все же первым со скрипом запихнуться назад в старые милые кости. Но не сумел он как следует отдышаться от перенесенного страха, как вдруг по всей поверхности изваяния зажглась целая дюжина пар хищно горевших пурпурных очей, причем понизу, у трехглавого Велеса, они еще густо сыпали рдяными звездами искр.

Сграбаставши долото, как заправское холодное оружие, Непейцын затравленно бросился вперед на врага и, колотя в него что было мочи, стал стесывать прочь чудовищные глазницы, чтобы никто никогда уже не запутался вслед за ним в неводах коварного соблазна. Он рубил во все лопатки, щедро пачкая пальцы вязкой непросохшею краской, словно живою рудой, и не обращая внимания на раздававшиеся в ответ дикие проклятья и стоны; но, не доколов последнего зрачка, услыхал за незащищенной спиною паляще-смрадное дыхание предательского жара — там вовсю запылали воспламенившиеся от Велесовых огней дровяные поленницы. Только лишь он обернулся, чтобы оценить меру нависшей опасности, как улучивший мгновение кривой одноглазый болван взвился ястребом кверху, лег на бок и, наклонясь вдоль земли, завис в метре над нею на воздухе, заорав: «Ну, ужо я тебя, папаша, отблагодарю за родительску ласку с лихвою, тарарахну-таки по-свойски!»

Ваня пустился было наутек, да застыл: огненное кольцо охватило его отовсюду и выхода из него не было никакого, разве что в небо лететь. А разъяренный кумир, пользуясь вынужденной остановкой обидчика, вонзился в него сзади заточенным концом со всего размаху — и, страшно

взвопив, Ваня, перекрестившись, нырнул очертя голову в самое пекло...

Судорожно передернувши ногами, когда укол достиг мозжечка, он перекатился на другой бок и с третьей попытки окончательно проснулся.

Жестокое раннее солнце жарило прямо в лицо — от чего, по всей видимости, и примстился тот безысходный кольцеобразный пожар. Ваня повернулся на спину и тронулся вставать, но тут же прострел самой несомненной боли, как ножом, пропорол его насквозь, из-под поясницы к плечам: копнув опилки, он без труда обнаружил тогда в основании вороха крепкую суковатую ость, на которую постепенно скатился во сне и отлежал себе конечности так, что передвигаться сейчас мог, лишь согнувшись, как сухая старуха, углом в три погибели и опираясь на подхваченную с полу доску.

Бросив взгляд на плод своих творческих усилий, Ваня и вовсе утратил твердость души: сновидение оказалось в руку, ибо какие-то злоумышленные пролазы, должно быть румянцевские мальчишки, пользуясь кровом тьмы, действительно повалили истукан наземь и растесали вырезанные кропотливо физиономии до безобразия. В беспощадном утреннем освещении весь кумир глядел нынче неким подобием жуткого глубоководного зверя, у которого от быстрого подъема на поверхность напрочь полопались его некогда грозно сиявшие во мраке бездн пучеглазые очи.

Внутри у Вани сделалось уже столь отвратительно, что хоть на самом деле полезай в петлю. Он выбрел, бранясь и причитая, за ворота и тотчас почти споткнулся о холодную тушу павшей-таки коровенки, сильно отдававшую соляркой. Выругав еще и эти не повинные никак останки на чем свет стоит, он в отчаянии поплелся вперед по улице.

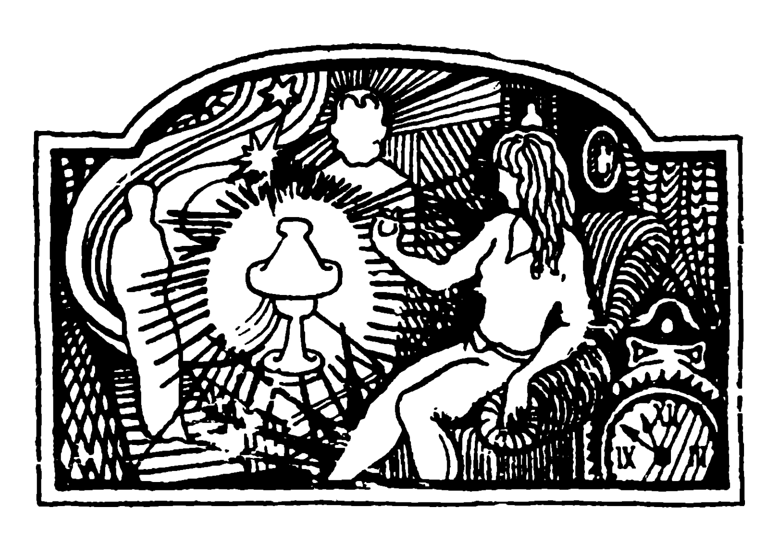
«Вот чем шуточки эти дурацкие кончаются, — правильно, да не ко времени поздно родилось здравое соображение. — Нечего было вчера беду дразнить, с горем в прятки-то забавляться. Нечистый дернул тебя, дубину, звонить в то доверие...»

Тут Ваня справедливо решил еще, что пусть же хотя теперь научит оно его, как безболезненно пережить зрелище рухнувшей навзничь лучшей своей мечты. Подойдя вплотную к почтовому отделению, выудил он ненароком сохранившийся в кармане среди сора да семечек пятиалтынный и вновь опустил его в щель приемника.

По ту сторону, едва успел Непейцын наворотить по-

требное число цифр, сразу откликнулись, будто его уже нарочно пристально там ожидали. Но лишь только Ваня вдохнул поглубже, чтобы высказать разом всю свою тугу, как, случайно оглянувшись, закостенел от изумления. Снаружи к нему лез напролом, дурацки ухмыляясь и делая какие-то невнятные движения бровями, вновь оживший треклятый Велес.

— Ты чего, кореш, не спознаешь с утра-то?! — кричал он Ване, — но тот, совершенно лишенный дара Слова, вцепился обеими руками в дверную щеколду, стремясь не допустить к себе чортову куклу; а выпущенная на волю трубка, раскачиваясь наподобие маятника, одна изливала вовне тонкий увещающий голос: «Кто бы вы ни были, успокойтесь... вернитесь в себя... не теряйте надежды...»



«ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЕТ!»

— весело обронили сегодня в автобусе Наде, наступивши косолапо на ногу, в ответ на ее всполошное ёканье. И при том недотепистый бритый увалень, припечатавший алую итальянскую лодочку увесистым каблучищем, настолько уморительно скорчил извиняючись рожицу, вытараща от усердия очи и поставив усы торчком наподобие стрелок будильника, что она поневоле сменила гнев на милость и рассмеялась.

Помимо прочего, оборотистый невежа явно отпустил ей любезность: несмотря на превосходное внешнее состояние, незамужней Наде нынче как раз в обед стукнуло сорок лет, и насупротив другой пословице — ежели тут ума нет, так и впредь ему не бывать, — трезвый расчетливый разум подсказывал, что мысль о свадьбе, скорее всего, пора уже навсегда оставить.

Чтобы невзначай не испортить вконец бодрое именинное настроение, ловкий Надин рассудок тотчас сделал коленце и, придравшись ко схожести лица комплиментщика с циферблатом, спихнул мысли с торного большака на обочину. Дело в том, что в последние дни накануне пятого десятка, словно со своей стороны готовясь отметить кругленькое число, именно часы затеяли с Надею чехарду, иногда вплотную подступавшую ко грани разумного с чудесным.

Неизменно верный на протяжении долгих лет заморский электронный брелок, кроме учета минут с секундами выполнявший чортову дюжину малопотребных и вовсе даже ненужных действий, вдобавок всякий час издавая испанскую трель «Бесса-ме мучо!» — что преподнесший его «партнер» неизменно перекладывал на российский макар как «Бес меня мучит», — вдруг стал в одночасье, что называется, на прикол и далее уж не откликался ни на тпру, ни на ну.

Тот же самый нечистый или, вернее, послушная его воле нелегкая, которая любит цеплять человека на лакомый крючок очередного подсобного удобства и, как скоро оно настолько войдет в обычай, что бедолага уже без него спокойного существования себе не мыслит, крутит его как только зазлорассудится, — погнала ее в надежде исцеления старого дружка в единственную мастерскую по чинке иноземных часомеров на другой край города, ни много ни мало к «Седьмой улице Соколиной горы». Гора эта, прежде ей незнакомая, оказалась в совсем небольшом отдалении от знаменитой Кудыкиной, но, потратив битых полдня на розыски потребного учреждения, Надя в итоге открыла, что убила их совершенно безвинно: ее механизм был, как снисходительно объяснил томный сиделец со спелыми восточными глазами, рассчитан на разовое употребление, и когда скончает свой ход, то делается уже ни к чему более не пригоден.

От расстройства и безвыходности положения Надя прибегла тогда к помощи старых причудливых часиков, доставшихся ей от матери, далеко не столь уклюжих и ладных, зато как будто по-бывшему надежных и поддающихся в случае чего исправлению. Они являли собою тяжеловатый серебряный трехгранник с тремя одинаковыми циферблатами на каждую сторону, неведомо зачем показывавшими одно и то же время, который обвивала по кругу змея, взявшая в зубы свой собственный хвост — ее следовало крутить посолонь раз на дню для завода пружины. Кольцовая змейка сия обозначала наглядно вечность — как объяснила в свой черед матери, даря гостинец на свадьбу вместе с благословенной иконою, Надина бабка — старая мастерица-швея из подмосковного Воскресенска.

Мать тоже поступила еще до совершеннолетия в ту же рукодельную часть, но только по другому разряду — сделавшись часовщицею на заводе в Москве. Выйдя до сроку на пенсию, как полагалось по вредности ее ремесла,

она сохранила на удивление крепкий глаз и занялась на досуге постижением часового дела уже в охотку, принимала старые образцы на лечение, воскрешая намертво застывшие в саркофажке затихшего корпуса коленчатые тельца, и иногда даже ради забавы рисовала на лицевой стороне точечными мазками милые незатейливые узоры.

Большим подспорьем для ее доморощенной страсти служили различные ученые труды по истории часового дела, среди которых выделялись новейшие произведения человека со вполне подходящей замысловатою фамилией Пипуныров; Надя в девичестве тоже любила разглядывать помещенные в них чертежи и пояснительные картинки, однако преодолеть числовую премудрость не потянула, и все ее усвоение остановилось вчистую у подножия громозвучного наименования «пендельфедер».

Наконец, в третьем поколении добросовестное прилежание предыдущих выпестовало уже истинного художника — саму Надежду, которая, окончив Строгановское училище с дипломом оформителя, резко поменяла направление усилий и самостоятельно, подобно матери, взялась за хитрую, но привлекательнейшую науку глиптики, то есть резьбы по камню. Заведя на дому небольшую бормашину вроде заправского зубного врача-частника, она, в отличие от него, опустилась не в малопривлекательные багрово-белые пещеры челюстей, пастей и полостей, — а, вставя крепчайший бор в крепление патрона, называвшееся цангою, садилась за мелкоскоп и принималась извлекать из недр многослойной раковины или переливчатого сардоникса разные бывшие и не бывшие на свете лица, которые доводились затем до мельчайшей изящности вручную мелким резцом. И если правда, как полагают, что подлинность искусства гравера на камне поверяется тем, что при взгляде с торца на вырезанный профиль он должен в ответ глядеть на вас прямо в упор — то такого уровня Надя достигла довольно-таки быстро. Помимо того, живучи после матери одна, она только через художественный салон на Петровке вырабатывала не меньше трех тысяч в год, не считая заказных работ для частных ценителей, что превратило ее в совершенно особый и независимый остров среди непрестанно волнуемого мертвою зыбью постылых треволнений моря семейных знакомых.

Вздевши вместо упокоившегося чудо-брелка на шейную цепь венецианского плетения, тоже серебряную, трехликие материнские часы — словно назначенные воочию запечат-

леть единство минувшего, наставшего и грядущего — она даже пожалела сперва, что не обратила внимания на эту прелесть раньше, настолько та вдруг пришлась ей по сердцу. Но не успела Надя почувствовать себя вновь спокойною и счастливой, как часики тотчас изрядно ее подкузьмили: собираясь как-то на встречу с заказчиком, известным балетным плясуном, она слепо доверилась их предполагаемой точности, а они, улучивши удобство, отстали ровнехонько на час, что чуть было не вызвало полного крушения сделки с норовистым танцором.

Дальше — пуще. Не успевала Надя забыться или хотя отвернуться, как строптивые стрéлки разве что в обратную сторону не бежали, превратив постепенно ее прежде спокойные отношенья со временем в некое подобие детской игры в казаки-разбойники. Собрав все свое женское упрямство, Надежда как будто сумела перебороть непокорный прибор, задавив его пристальным повседневным надзором; но вскоре он и от него сумел отвертеться — оборотистые ходики теперь усыпительно точно шли днем как ни в чем не бывало, зато середи ночи, когда хозяйский присмотр, повинуясь положенному человеку обыкновению, отключался, они обретали вновь вольность и допрыгивались иногда до того, что ухитрялись скрасть чуть ли не четверть всего дневного срока.

Сперва, правда, это даже доставляло Наде некоторую забаву; затем постепенно стало казатся все менее смешным, а потом уже и оскорбляло до слез — и вправду, легко ли чувствуется, когда при дверях сорокалетия вдруг замечаешь, как в сущий полдень на улице стоит кромешная темнотень, и поневоле начнешь колебаться: часы только не в порядке или уже самая голова. А ведь как будто бы не пришел еще тот срок, когда с женской душою начинается кавардак перестройки на осень — и что ж тогда думать?

Именно опасаясь, что ее прежде времени примут за чокнутую, она не решилась сама вновь пойти в мастерскую, а настоятельно попросила давнего своего милого спутника — или, как он после ехидного замечания язвы-старушонки на даче предпочитал ернически именовать себя, «партнера» — наведаться за нее к опытному часовщику.

Ему бы, казалось, и вся стать была исполнить то немудреное галантное поручение — однако он неожиданно наотрез от него отперся, сказавши, что куда легче привезти очередную безделку из-за бугра; в то время как еще

сыздетства самый вид мастерских или ателье наводит на него род панического ужаса, который немедленно отпечатлевается на лице и выдает его пройдохам-приемщикам с головою, так что ремонт обязательно кончается пустой тратой денег и последующим крахом.

Надя в сердцах обозвала его диким кочевником — тот гордился сверх положенной меры, что род или точней фамилия его занесена была еще в Бархатную книгу, хотя начальником ее почитался переметный ногайский князек; но и вправду сказать, что-то до странности немало завелось в конце двадцатого столетия в их Внешторге вновь Воронцовых, Голицыных да Шереметевых, только уже не в оригинале, а, так сказать, в ксерокопии.

Партнер все же продолжал отбояриваться и поведал замшелый анекдот про то, как человек со сломанными часами, заглянув в заведенье под соответствующей вывескою, вдруг получает от приказчика ответ, что ходиками тут отнюдь не занимаются.

— Что же вы делаете? — следует недоуменный вопрос.

— Да, так сказать... легчим.

— ??? Почему тогда на двери нарисованы стрелки с кружком?

— А что бы вы, милостивый государь, хотели, чтоб там было изображено?!

Побасенка положения не спасла — в ответ вслед за кочевым прошлым в счет была выставлена байка поновей: де, незваный гость в современных условиях уже лучше татарина; следом неизбежно вспыхнула взаимная перепалка, главным исходом которой было то, что сегодняшний юбилей Надя должна была отмечать в одиночестве.

...С неотменною грустью накрыв поздно вечером стол на двоих на всякий случай, хотя и весьма малой вероятности, — она уселась наконец за него после множества мелких хлопот уже близ полуночи; впрочем, темнота из-за летней передвижки времени на дворе была еще совсем свежа. Оглядев пиршественное убранство, Надя мысленно поздравила себя с тем, что как будто все, что хотелось, достала — чтобы быть, что называется, и сыта, и пьяна, и нос в табаке, — а посему, наливши высокую рюмку коньяку, медленно выпила свою здравицу.

Затем придирчивей всмотрелась в привычную гостиную и опять-таки осталась вполне довольна. Кроме великого собора обиходных прелестей, в изголовье краснодеревой

кушетки-рекамье, где она любила почивать после обеда, помещалась индийская картинка с портретом «Светлого» гуру: видимый сперва как будто со спины тонкий мужчина, ежели впериться пристальней, проступал сквозь затылок широкой улыбкою лица-оборотки, излучающего вокруг геометрически прямо наведенное сиянье. Он достался ей в семидесятые годы вместе с согласным уклоном светских умов к восточной стороне, и Надя во времена нахождения сомнений иной раз даже беседовала со своим «Сияющим» наедине, о чем позже доверительно сообщала подругам. Партнер, не желавший вникать в дамские суеверия, когда его все же припирали к стене вопросами о собственном к тому отношении, лукаво звал висячего советчика «Люцифером», огульно утверждая, что именно так переводится на латынь его имя; Надя верить злой насмешке отказывалась, покуда не увидала однажды краем глаза в Елисее вино с этикеткою «Лючифер» — и, осведомившись у продавщицы, узнала, что это всего лишь молдавский двойник «Лучистого».

Справа, насупротив гуру располагалась яркая до цветистости иконка начала века, подаренная ей по случаю отбывавшим в обетованные края соседом по клетке лестницы. Тот залетел однажды на буйное деньрожденье незвано — как вообще-то было заведено в их небольшом урочище по правую руку, едучи из Москвы, от остановки подземки «Аэропорт», которое окружное населенье обзывало завидисто «гетто»: тут помещались кооперативы художников, киношников и письменников.

Узнавши, по какому поводу идет гульба, он мигом смотался к себе за гостинцем и принес этот образ, пояснив, что представлен на нем «русский бог» Никола, которого современный профессор Успенский производит от родового тотема-медведя. Вдогонку поведал еще, будто Никол на Руси целых двое: один зимний, по празднику в декабре в его память, почему он рисуется в митре; другой же вешний, с голой главою, ибо девятого мая по старому стилю — то есть как раз в день Надеждиного появленья на свет — чествуется перенос его мощей из Азии в итальянский Барград: единственный католический праздник, принятый в наших палестинах. «Точнее в ваших теперь», — закончил свои речи сосед, вспомнив о предстоящей пересадке корней.

...Потом Надю навестили часто гостевавшие у нее наедине особые мороки обоняния: сперва распространился по дому сильнейший смрад горелого кофе, так что она, зара-

нее уже зная о его сущей мнимости, все же побежала в кухню убедиться, не забыла ли ненароком джезву на плите. Последовавшее благоухание разлитых духов она, однако, стойко перетерпела в кресле; но когда затем полились невидимые клубы дешевого махорочного духа, струившиеся из-под дверей в прихожей, опять-таки не стерпела и высунулась проверять наружу — конечно, на лестнице не было ни души, ибо какую же душу пропустит сюда за полночь востронюхая охранница, чутко спящая внизу обок парадного входа. Гитара душистых фантомов тем не менее продолжала безмолвно рокотать вокруг нее, и тут Надя невзначай совершенно отчетливо поняла, что сегодня ей до утра не уснуть. А коли на то пошло, помыслилось ей задиристо, то уж сама судьба велит достать строптивые часы и проследить наконец, в которую пору ночи начинают они свою мудреную свистопляску.

Она сняла их с цепочки — времени оказалось близко двух, то есть по подлинному меридиональному счету перворodная истая полночь. Одного этого слова хватило уже для того, чтобы ее без стука посетило воспоминание дальнего детства о «страшных» рассказах, какими потчевали друг дружку девчонки в саду или летнем лагере, как только воспитательница гасила до издевательства рано свет, а спать, конечно, совсем еще не клонило. И вот, сами дрожа гусиною дрожью под одеяльцами, начинали они плести шепотом ужасы про «белую статуэтку» и «желтую руку», оживающую «Венеру Милосскую», диковинного, вовсе не похожего на открытого впоследствии «Шерлокомса» или про то, как «в черной-черной долине спрятан черный-черный дом... в черном-черном доме есть черная-черная комната... в черной-черной комнате стоит черный-черный гроб... в черном-черном гробу лежит черный-пречерный покойник... а черный-преч... ХВАТЬ ТЕБЯ ЗА РУКУ!»

У давно уж отнюдь не чувствительной Надежды отчего-то при воскрешении этой совсем как будто погинувшей в прошлом белиберды наросла и выскользнула прочь едкая одинокая слезка. Смахнувши ее в удивлении перед самою собой, она посмотрела вновь сквозь пелену влаги прямо — и почти что рядом глаз уткнулся в совершенно живого старичка-бодрячка, кланявшегося ей улыбаючись, с каким-то полузнакомым выражением на лобастом лице, изрядно увеличенном тусклой домашнею лысиной, и вежливо помававшего правой рукою с книгоподобным чемоданчиком.

— Зарайский Николай Иванович, мастер часовых дел, — представился он ворсистым баском и, торопясь вправить ее тихое изумление назад в твердое русло покоя, пояснил в ответ на не заданные вопросы: — Изволили спрашивать маменькиных знакомых на предмет починки родовых курант, что похвально вполне, да позабыли справиться об успехе поисков, что, впрочем, тоже простительно, — только вот оставлять дверь незапертою, отключивши звонок, посередь ночи для одинокой дамы уж вовсе неосторожно...

Надя быстро нашлась и даже остановила череду изъяснений, отнюдь не желая сделать происшествие окончательно будничным: это ведь только в книжках люди до последней возможности чураются как огня всякой кудесной небывальщины, покорные дурному авторскому помыслу подвести читателя к самой крайности нетерпения, — а наяву даже в притворном волшебстве существует живейшая, ничем не удовлетворяемая жажда.

Она действительно что-то краешком памяти знала о приглашении мастера на дом, но и это слабосильное веденье поспешила сбить со двора долой: ведь желанней подобного незваного гостя на день рождения был бы разве что... ну, какой-нибудь окончательно заоблачный, ориентально-тибетский молодец.

Зарайский выходец охотно исполнил приглашение удобно расположиться и мигом оседлал разлапистый стул с высоченною спинкой; пожелал и выпил за хозяйкино здоровье, но от повторения обряда отказался, витиевато заметив, что уже как будто достаточно подтвердил свою посюсторонность, — и предпочел непосредственно перейти к ближайшей причине вызова. Надежда, конечно, не прочь была просто покалякать с ним о прелестях редкого рукомесла и вообще про то да про се, но, покоряясь гостевой настойчивости, вздохнув, подняла со стола и передала усердно тикавший треугольник.

— Оп-ца-ца! — восхищенно щелкнул языком пришелец и бережно обернул часики ладонями, будто листья тюльпана Дюймовочку. — А матушка ваша были-таки молодцы!

Надя тотчас поверила знатоцкому восторгу и, не обинуясь более, принесла ему свои пени на досадливые остановки, прибавя еще и вопрос о смысле трех одинаковых циферблатов: может быть, стрелки не так стоят?

— А вы, паче чаяния, не забирались ли, любопытст-

вуя, внутрь? — сторожко осведомился Николай Иванович.

— Ну зачем. Чужое дело следует уважать — это я по своему занятию достаточно убедилась, так что в незнакомый огород с кривыми граблями не хожу. Только, винюсь, посмотрела под мелкоскопом снаружи, но так ничего при всех его мощных кратах и не заметила, кроме великого множества черточек, как будто на что-то смахивающих, но не точно, словно им малости самой недостает, чтобы превратиться в осмысленный узор. Ну и еще, конечно, этой сетки перпендикуляров, которая разбивает каждый циферблат на девятеро одинаковых квадратиков...

— О да! — облегченно воскликнул часовед. — Ну так ведь из часов можно сделать какое угодно употребление: даже компас, коли солнце видать — в настоящий полдень, то есть по-нынешнему в два часа, светило наше указывает в точности юг; а далее до захода, ежели помещать его в биссектрису угла между часовой стрелицею и вторым часом, последний всегда будет направлен опять-таки ровно на полдень. Ясно?

— Ясно, но не очень понятно.

— Впрочем, в данном случае это не суть. Тут мы имеем один из редких нераспечатанных образцов излюбленных на рубеже века так называемых крестиков-ноликов времени, какие были в особенном ходу между разлучаемыми надолго судьбой.

Рассказывая, он незаметно выудил из чемоданчика здоровущее увеличительное стекло с бронзовой ручкой в виде ноги, подвинул ближе настольную лампу и продолжал:

— Вот вы как наносите свои узоры на камень?

— Сперва тонким карандашом; потом покрываю рисунок лачком, чтобы он не стерся при работе, и тогда уже вынимаю — сначала большие плоскости бором, а затем тонкие черты резцами.

— Так и здесь похоже, — пояснил удовлетворенный ответом дед. — Особым грифельком по хитрому лаку тонко-тонко наносились во всех девяти клетках картинки-шарады, по которым двое близких людей должны были точно помнить год загаданного события. Но увидать рисунки можно, только зная тайну их проявления. Затем часомер дарился в дальнюю дорогу с условием приступить к его секрету не ранее года. И делалось это так.

Сперва нужно надавить тихохонько на головку змейке, прервавши обычный счет времени: видите, так колесо вечности размыкается и мы уже можем приступить к оста-

новке мгновений. Кстати слово молвить, вы скорей всего иногда ненароком и расцепляли круг, оттого-то они у вас там и сям отставали.

Ну вот, а предпоследняя премудрость состоит в том, что рисунок проступает вполне лишь под воздействием точно направленного тепла, например собираемого лупою солнечного зайчика. Ну, здесь мы можем попробовать и при искусственном свете, от лампы... видите, вот так? Потому-то мелкоскоп при всем своем электронном могуществе ничего в сем случае не дает и оживить квадратик не в силах.

И наконец, увидавши искомую картинку, следует сдвинуть стрелки: часовой указать десятилетие, а минутною его год, и ежели угадка верна, то легким касанием змейкина хвоста изображение обращает испод, показывая косой андреевский крест — вы выиграли ход. А коли произошла оплошка — крест заменяется нулем. Ну и так далее, как в обыкновенные крестики-нолики, с той лишь добавкою, что каждое из трех полей должно иметь своим предметом одну особую общность. В некотором роде утонченная попытка бочком проникнуть назад за черту свершившегося... Ну что, не боитесь?

— Давайте вашу лупу! — легко склонилась на тонкое подначиванье Надежда, никак не ожидавшая всей основательности, какая стояла за дачей такого как будто вовсе пустячного согласия.

Угнездясь поспособней, она установила стекло во полупути от лампы к часам, положенным одним боком на столике, навела световое пятнышко на верхний левый угол и принялась ждать. Минуту спустя неясная ткань трещинок действительно стала оживать, мало-помалу обретая естественные очертания, покамест не обратилась в замечательный образ городка на холме, увенчанного колокольнями и высокими коньками домов — странно знакомого и вместе ускользающего по имени. Вдруг в печенках ойкнуло, и Надя поняла — что́ это, но опять-таки никак не могла назвать — кто: то ли Задонск, то ли Саров либо Козельск, а быть может, и еще какое-нибудь захолустное княжье поселение, откуда был родом и где безвестно загинул в тридцатые ее отец; рассказывать про это в детстве ей опасались, а потом уже она от привычной беспечности или стеснения и сама не удосужилась спросить. Мать, впрочем, возила ее туда девчонкою всего один раз году эдак... скажем... в котором однако?

Она нерешительно передвинула часовую стрелку на пя-

терку, а минутную, поколебавшись дольше, приставила к трем — старик предупредительно надавил змеиный хвост, и сразу же милый вид обернулся постылым кукишем нуля.

Досадное поражение сходу только прибавило пылу Наде, входившей во вкус состязания, и она без передыху сместила зайчик, ослепительно засиявший в единой точке, на середину циферблата. Там уже куда быстрей проявилась, как на пустой доселе фотобумаге в пунцовой влаге кюветы застольная беседа, достаточно коряво, но вполне явственно схваченная любительским пером матери. Некоторые лица она определила сразу — точно, то было последнее общее собранье двух семей, отцовского с материнским корени, к какому-то там им, старшим, лучше ведомому торжеству... весной шестьдесят... как раз она в Строгановку поступала... Надя смело выставила 66 — и получила второй неуд.

— Ах так! — взвилось ее ретивое, после чего Надежда сразу взялась за квадрат внизу справа. Вопреки ожиданию, на нем вырос скудный кладбищенский пейзаж из крестиков и пирамидок, на которых тонюсенькими черточками нацарапаны были знакомые свои фамилии. Увидав среди них самую свежую, которую домашняя художница, смерти отнюдь не боявшаяся и ее предвидевшая заране, изобразила вперед для самой себя, — Надя с ложной понятливостью поспешила выбрать датою позапрошлый 84-й. И только когда третий уж нуль замкнул косую диагональ, сообразила с опозданием и досадой, что конечно же памятник на этом треклятом Долгопрудном погосте — имя коего скорее происходило от того, что туда безобразно было далеко и «долго переться», и куда мать все же хлопотливо перевозила безгласные останки родичей из стремительно сметаемых по окраинам Москвы бывших уездных сел, — она поставила уже на другой год, после чего туда еще и не наведывалась как следует.

Она хотела еще чего-то промыслить на этом поле, но старичок-часовичок красноречиво указал на размашистую череду нулей, перечеркнувших его снизу вверх начисто: дескать, первая партия сдана.

Надя обернула треугольник другим боком кверху и вперила увеличительное стекло в противность первой игре в нижний левый. Там споро расцвело любезное сердцу видение — чрезвычайно схожая копия карандашного наброска берега Волги близ Сызрани, который принес ей некогда второе место на детской выставке живописи. Год она, ко-

нечно, помнила наизусть: 55. Затем, опять по центру, созрела в долгожданном тепле первая ее инталия — то есть как бы негатив камеи, с коих собственно и зародилась глиптика: вырезывая из твердых камней такие же вот печатки, древние положили начальное основание сегодняшнему высокому искусству. Она сделала первый и последний опыт ее тотчас по окончании Строгановки, и хотя вышел он не довольно удачен, мать выпросила на память — так что и здесь ошибки быть не могло: год создания — 68-й, вдвойне памятный за то, что представление этой работы принесло заказ из Минералогического музея имени Ферсмана, что в Нескучном саду, и тем открыло верный источник настоящих камней для дальнейших занятий.

До победы в верхнем десном углу оставалось только еще раз не промахнуться, и на счастье там возник абрис одной из ее камей в нежной двухслойной раковине. Надя резала преимущественно женские головки — дело в том, что мужское лицо все мускулами наружу, выражение и свойства его проще, а потому работа эта ценилась во всех смыслах ниже, нежели профиль женский, так как особенные черты у прелестниц скрыты под внешним покровом глубже и выявить их значительно замысловатей; зато хитрость эта доставляла в среднем около трех сотен, то есть сторублевой бумажкою больше. Надя поставила было семидесятый год, когда сумела наладить производство и сбыт таких головок надежно и вместе не слишком для жизни обременительно, но тут с догадкой и осеклась, да немудрено было: сколько их — больше дюжины дюжин! — родилось уже под ее рукою...

Она принялась неутомимо гоняться за полуживыми слепками собственных созданий по разным клеткам, то наступая удаче на хвост, то вновь отдаляясь от успеха, — покуда, уловив точный срок рождения лучшей из своих заказных работ, сделанной к шестисотлетию Куликова поля, она с неудовлетворенной страстностью завзятого игрока не остановилась на полдороге к победе за отсутствием свободных пространств, обнаружив на доске глухую ничью.

— Ну, ужо тебе! — чуть не вскрикнула тогда Надя и напустилась на третий бок колдовских часиков.

Теперь она стала опытнее и сделала первый ход в основании среднего ряда, откуда прямо-таки выпрыгнул в живой карикатуре веселый трепач Женька Судак, первая ее любовь и аборт. Ведь вот же планида кривая — всем был парень хорош, даром что бросать пришлось самой

скрепя душу: связь с залихватским таксистом простительна десятикласснице, но нисколько не идет изысканной мастерице камей. Ну уж год такой ни одна женщина не забывает: она его выставила прямо в яблочко, ровно в анкете, в ответ на что покинутый сердцеед как будто вполне разительно подмигнул, превращаясь на глазах в косой крест, вильгельмовским усищем.

Над ним, на перекрестке циферблата она воздвигла из хаоса нынешнего своего партнера-князька, только в еще отменно свежем виде вчерашнего выпускника Института международных отношений. С тех пор их роман или, употребляя его скоморошье определение, повесть в веселых картинках тянулась уже целое десятилетие, благо с ним уж что-что, а на люди выйти было не стыдно: он знал множество около всяких наук лежащих сведений, заскоков особых не имел, да и жадностью не отличался; помимо прочего — то есть того, например, что парень был собою хорош — чего-то там с ним в детстве такое стряслось, что, оставшись мужчиною, он посеял способность продлить род свой в будущее, так что пустых забот о детях с ним нечего было опасаться или там хотя бы как предохраняться голову ломать — он вполне европейски посещал ее в неделю два-три раза, не делая вовсе поползновений завоевать целиком с потрохами. Надя смело отняла из нынешнего года десятку, но недоверчивое лицо дружка, видимо сомневаясь не на шутку в правильности ее вычислений, стало явственно делать ужимки, подсказывая, будто на экзамене, правильный ответ, — тем не менее второй свой плюс она заработала честно.

Удача уже заблестела впереди на кончике луча искусственного солнца... Надя решительно направила сияющее пятно на средину верхней полосы, но вожделенная картинка все никак не желала открыться. Она обиженно взглянула в поисках подмоги на почти позабытого в гонках за собственным прошлым гостя.

— Видите ли... — начал он обиняками, сообразив догадливо ее затруднение, — тут еще есть одна закавыка, о которой я не мог до поры сказать. В общем, верхняя клетка под двенадцатым часом с одной из сторон оставлялась для будущего... И чтобы ее раскрыть, нужно знать какое-то ключевое слово, известное только двоим. Так что сам я при всяком раскладе назвать заклятие, положенное на этот клад, просто не в состоянии. Вы постарайтесь припомнить получше сами...

Надя принялась было послушно шарить впопыхах по застрехам памяти, да что проку — материна душа отлетела в одиночестве, пока они с партнером жировали на Пицунде, да и чего такого могла она загадать особенного? Всего-то и дел, что без умолку твердила про не нужное никому замужество...

— Послушайте, хоть догадку какую-нибудь завалящую... ну первую букву только, — стала клянчить Надя не совсем прилично у старика. — Даром разве говорят, что грядущие события бросают тень впереди себя?

— С-согласен, — откликнулся готовно пришлец. — Но это получается уже, когда солнце светит в глаза и, следовательно, день человека склонился к закату.

— А все-таки больно уж хочется хоть краешком глаза под двери туда заглянуть! — не отставала Надежда.

— Сильно больно? — в рифму посочувствовал Николай.

— Так, что теперь пожалуй и не отпустит, — сгоряча угадала она.

— Ну и полезно, — до свадьбы-то заживет!

— Фу-ты, ну-ты, прямо сговорились, — обронила Надя, припомня утреннего невежду-острослова. — Да какие тут свадьбы, знали бы вы, который мне сегодня стукнул год!

— Слыхал по случаю, — спокойно ответствовал Зарайский, — от вашей матушки. Ну да ведь и ничто вообще до смерти не поздно. Конечно, если понимать это не только как застолье и ночь после законной расписки в сожительстве.

— Знаем, как же: все браки на небесах, — вставила Надя известную, хотя и не вполне ясную поговорку и предприняла движенье в обход. — И что же, без того уж никак и не обойтись?

— Без того, к сожалению, совсем худая получится вещь.

— Какая худая? — взялась она в свой черед рифмовать.

— Толком и не скажешь... Разве вот показать, да и то порядком срамно.

— Ничего. Валяйте напрямки, не первый год замужем... — отшутилась было Надежда устало — и тут ей было незамедлительно выставлено то единственное в своем роде сочетанье перстов, каким некогда в самую душу уязвил Ивана Никифоровича Иван Иваныч.

— Чтооооо?? — недоуменно выкрикнула она от напрасной встряски скорей, нежели от подлинного непонимания знака.

— Разве незнакомы? Извольте любить и жаловать: Шиш Фигович Кукиш!

Из-за полной как будто бы незаслуженности нанесенного бесчестия Надю с головою накрыла волна живейшей обиды, немедля требовавшей отмщения. Она, не думая, замахнулась на оскорбителя, — но взлетевшая наотмашь рука легко просквозила поперек него и изо всех сил грохнула по материнскому дару, а в голове одновременно с треском грянуло не то «Проснись!», не то «Проспись!».

...Она огляделась с толком уже наедине. По-над кроватью скалился через спину «Лучистый», напротив которого грозно насупились седые брови Николы Вешнего. При мысли о разбитых часах Надежду пробрал до костей ежистый колотун, однако его тотчас же поборолo отчетливое тиканье внутри больно ушибленного кулака, подчеркнутое совершенным безмолвием окружающего полуутра.

КОРЬ

Четвертак неподвижно покоился на не прибранной с утра постели. Диковинное согласие раковины двора с раковиною уха, как будто нарочно заставлявшее всякий звук или звяк, даже слабо раздававшийся внизу во дворе, в нетленной чистоте долетать до шестого этажа и наполнять собою комнату, делало ненужным личное участие в общей беседе окружающего мира. Когда-то в детстве мама, первой оценившая чудную особенность этого крыла дома, сумела найти ей вполне обиходное применение: вместо вечерней сказки она предлагала ему «слушать внимательно городской шум», и он действительно постепенно приучился находить в том не повторяющуюся никогда забаву, усугубляемую игрою по стенам сполохов света, доносившихся внутрь через двойное стекло расположенного за спиною окна. Выросши, он конечно же позабыл напрочь тайное детское развлечение, — но потом оно как-то вновь выплыло в некоторый праздный час, и помаленьку Четвертак опять втянулся в посещение этого театра звуковых теней для одинокого зрителя.

Причем, в отличие от прошлых, ночных бдений, теперь его больше привлекали представления утренние, когда подкрепившееся эхо, обретя свежую силу, принималось волхвовать с особенным усердием, притаскивая извне то про-

тяжный вой и дроботный перестук поезда, словно накатывавшего прямо на голову, то привычную перебранку дворника с детворою, перемежаемую грозным набатом железных шпал, немилосердно сгружаемых с высоты наземь, или — как вот сейчас — степенный разговор двух старух, невидимо рассуждавших на скамейке подле парадного в напрасном убеждении, что разговор этот является их исключительным достоянием.

— На Покров и положен быть снег, но еще непременно чтобы при солнце, — уверенно помянула вековую примету первая собеседница; а Четвертак тотчас понял общую причину загадочного танца попрыгучих зайчиков, расскакавшихся по лежащей на коленях книге так, что внимание наконец покинуло вовсе буквы и обратилось целиком к этой мельтешне. Впрочем, точно указать виновника все равно было затруднительно, ибо источник светотени вполне мог быть двояким и даже трояким: либо протекающими за окном облаками, либо зарядами летучего снежного праха, — либо, наконец, попросту колыханием занавески, колеблемой неровным дуновением сквозняка из распахнутой позади форточки.

Во времена óны один из предшественников Четвертака по вниманию к этому редкому виду искусства, а именно Платон, счел позволительным и весь свет наш представить подобием пещеры, куда скрытый вовне огонь бросает через внешние же движущиеся предметы скупое освещение — и лишь отраженные тени подлинных вещей пробегают перед глазами покорных наблюдателей, жаждущих освобождения от связавших их крепче всех видимых пут ограниченных возможностей человеческого восприятия. Однако, в отличие от деятельного любомудра, Четвертак отнюдь не вожделел освободиться из затейливого этого плена — ему, напротив, доставляла редкое удовольствие мимолетная прелесть наглядных намеков.

Их полное воплощение ведь совсем не обязательно сулило увеличение счастья. Однажды, когда они с Леной жили в заброшенном доме в архангелогородских краях, неожиданно появившийся с другого края леса заброжий старатель поведал им повесть именно обратного свойства. Причем, судя по всему, повесть совершенно доподлинную — потому что рассказ происходил из первых уст, да и самовидец был таков, что сходу ясно: уж чего-чего, а сочинять не горазд. Так вот, ночуя как-то на выморочном крестьянском месте в пустопорожней, но еще вполне крепкой избе-шести-

стенке, он вместо отдыха мучился своеобразным обонятельным мороком, поскольку с вечера до восхода единственным, что снилось — был чрезвычайно резкий запах свежей гречневой каши. А когда, пробудившись, уже наяву обнаружил, что рот его доверху набит совершенно посюсторонней крутою гречкой, — то несся оттуда духом десять верст до ближнего жилья, так и не почуявши ровно никакой тяжести двухпудового мешка за плечами...

Тут прихотливый луч памяти ткнулся ненароком в какую-то позабытую полость в душе Четвертака, и рот его сразу, подобно давешнему гречневому горемыке, наполнился вскрай — но только не кашей, а режущей аховой болью, полоснувшей ножом по челюстям. И страх, сразу проснувшийся где-то под ложечкою, по железистому привкусу на зубах, не обинуясь, назвал ее в упор: корь:

Имя это родилось когда-то, вероятней всего, от незаконного брака между «корою» и «хворью»; и Лена взаправду не по возрасту поздно прихворнула детским недугом в ту самую жаркую весеннюю неделю, когда мальчишки надрезают березовую кору, чтобы живодерским обычаем испить из-под нее белой древесной крови. Как-то так выпало, что она еще осталась у себя дома в полной беспомощности совершенно одна, и тогда Четвертак с несколькими подругами принялись ходить к ней по очереди на правах сиделок. Хотя смысла в эдаких бдениях, помимо приноса еды, было, по существу, маловато, ибо от хворости, как выяснилось, лекарство было только одно — переболеть.

Лена как бы наяву переместилась в иное пространство и начисто выпала из текущего здесь, по нашу сторону, времени — она, словно живая тень, застыла и большею частью спала или сидела в полусне на незастланном диване, только изредка, когда было особенно худо или, напротив, напасть как-то ослабевала, совершая некоторое путешествие в соседние покои, но вскоре же вновь возвращалась, улыбнувшись благодарно чередной няньке с некоей, как мерещилось Четвертаку, нездешней радостью.

Его личною неотменной обязанностью был выгул пушистого непоседливого пса, настолько бесповоротно порвавшего со своим звериным прошлым, полным диких врожденных привычек, включая уходящую в бездну вечности родовую месть к кошачьему племени, что сей молодец ухитрялся довольно-таки прилюдно жить с домашнею кошкой исправной супружеской жизнью нерасписанной и бездетной, но вполне довольной своим семейным уютом замужней пары.

...Болтая со сменяющимися сотрудницами, Четвертак постепенно выяснил, что все они уже перенесли еще до школы это одноразовое поветрие, а про себя вспомнил довольно поздно — ведь его-то сие нахождение в безусом возрасте миновало. Однако заболеть он не опасался ничуть, свято уповая на гусарское присловье о том, что зараза к заразе не липнет. И потому главным делом их бдений было, как ни странно, составление географического описания замечательной в некотором отношении страны «Кореи», жители которой поголовно «покорены» тою самой болезнью, читают исключительно роман «Анна Коренина» и частят в ресторан «Якорь», где в окружении мощных «кориатид» беспрестанно поглощают блюда с корицей.

Забавная история чужедальней стороны в куплетах была даже положена на музыку, и ее тут же распевали в сопровождении тыканья пары пальцев по роялю.

Несуразное безвременное веселье скоро аукнулось Четвертаку всей полнотою возмездной меры: он все-таки занедужил, и когда в свой черед перележивал на боках потребный для полного вызревания сыпи срок, то единственное, что способен еще был у себя дома делать — это взгромоздить с утра на проигрыватель какую-нибудь пластинку и включить репетир, возвращающий ее сам к началу, как только иголка добредет кружным путем до середины. Тень же тех выслушанных насильно «кораторий» накрепко засела у него в мозгу, так что выколупнуть ее оттуда было чрезвычайно замысловато, и впоследствии непрошено включалась где ни попадя, оглашая даже тихий подмосковный лес внутренним воем. Беда «коренилась» в том, что, как ему уже позже втолковали врачи, безвредная для ребенка в целом болезнь, запоздниввшись с посещением, взрослому человеку давалась куда дороже, норовя кое-кого и долой с рассудка столкнуть.

С другой стороны, она неожиданно возвратила его в уютный и, казалось, навсегда уже утраченный мир тех детских дней, что запоминаются на всю жизнь особым любовным единением вокруг овеянного всеобщим попеченьем «маленького страдальца», которому принесенные заболеванием неудобства с лихвою возмещаются различнейшими лакомствами и потачками. Притом во всеоружии взрослого опыта Четвертак принялся следить за этим в последний раз навестившим его ощущением изнутри и сквозь пелену подсознания обнаружил некоторые примечания достойные

особенности. Более всего подивила его схожесть инобытия горячки со сном, ибо в ней при довольно коротком родстве со «здоровой» действительностью обнаружилось то же полное лишение чего бы то ни было точного и определенного: у часов отсутствовали вовсе стрелки или же они отказывались идти; буквы так же, как и во сне, никак не желали складываться во что-то хоть мало-мальски членораздельное и вразумительное, рассыпаясь на глазах в головоломную абракадабру. А потом, на самой верхушке бреда, у перевала к лучшему, снившийся наяву мир, как у закемарившего дремуче-пьяного человека, потерял даже наводку на резкость.

Эти постоянные переливы насущности и кажимости, окончательно сплетшихся в тугое мебиусово кольцо полусонка, привели ему на ум то девичье восхищение, с каким Лена когда-то встретила его рассказ о выуженной где-то знаменитой китайской притче про спящего мудреца. Некоему даосу, гласила она, привиделось однажды, что он — счастливая бабочка, радующаяся исполнению всех желаний; внезапно проснувшись, он так и не смог решить удовлетворительно, кем же на деле состоит — мудрецом, которому снилось, будто он бабочка, или же бабочкой, которой теперь мерещится, что она китаец... А ведь между ними, — наставительно заключала притча, — несомненно существует различие. И все это названо было там «превращением вещей».

По мере подъема лествицею познания они год или два спустя читали вместе в журнале полудозволенного тогда еще Кафку — рассказ, так и названный «Превращение», состоящий в чрезвычайно похожем, но вывернутом наизнанку происшествии. Человек внезапно просыпается у себя дома пренеприятным жуком и ползает взаперти, вызывая крайнее омерзение родственников, покуда не подыхает от голода. Правда, «амерусский» писатель Набоков, понимавший толк в окружающей природе и постоянно сетовавший, что главный порок такого разбора «материалистов» — худое знание материи, по одному лишь описанию определил, что изображенное Кафкою насекомое несомненно крылато и потому в любой миг могло вспорхнуть и улететь прочь на вольный воздух...

Связывая все воедино, Четвертак решил тогда, что яснее всего этот переход прообразован обращением кургузой гусеницы в легкокрылую бабочку, запечатленным некогда Державиным в оде на бессмертие души:

Как червь, оставя паутину
И в бабочке взяв новый вид,
В лазурну воздуха равнину
На крыльях блещущих летит...

Но тут же, зачем-то суеверно застеснявшись чрезмерной высокости воспарившего рассуждения, спихнул его под гору скоморошиной, будто сам побаивается в один черный день обернуться прямым денежным «четвертаком», которому навсегда будет уже невдомек, что он некогда ходил на двух ножках и вел род и прозвание от казака, бывшего четвертым сыном в семье.

При «выкорабкивании» его и посетила жуткая тень боли, ученым макаром именуемая «дентит» — то есть «ложный зубняк», что ли. Хотя худые, как, почитай что, у всякого горожанина, зубы Четвертака были почти все уже «депульпированы» и коронованы не по чину царски, у него страшно разболелись в них отсутствующие давно нервы. Пылающая адским огнем боль накатывала волнами и накрывала все существо, почти что лишая разума; потом медленно и ненадолго отступала, чтобы с неумолимостью воротиться скоро вспять, и вонзалась тем злее, чем ясней понимал он, что на самом-то деле болеть попросту нечему...

— Как говорили встарь: батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком! — ответил снизу первому второй голос, и Четвертак только тут догадался, что все воспоминание уложилось в мгновенный промежуток их взаимного молчания. «Ну конечно, а потом как раз под Покров ее и зарезали, самым зверским, дикарским образом, и концы в воду», — сообразил он, следя с замиранием, как удаляется навсегда прочь остатний призрак той полузабытой «коревой» поры.

Между тем со светом позади случилось новое превращение: пятна с бликами растворились в воздухе, а выглянувшее в полную силу за спиной солнце бросило на книгу теневой отблеск креста оконной рамы.

СКАЗАНИЯ ИНЫХ КРАЕВ

У СОЖЖЕННЫХ

— И собираются еще в ночь с пятого на шестое?

— Да кто ж в это теперь верит...

— А разве красота у предания — не убедительная?

— Ну, сейчас одной ее недостаточно. Вы посмотрите лучше серьезные исследования...

— Бог с ними: сколько там глазами ни крути, а коснуться живого хоть раз обнаженной рукой гораздо существеннее.

— Ах, оставьте, пустое это, — девушка наконец оторвалась от солоницы, которую расписывала на досуге хохломой, коротая время между нечастыми посетителями; и затем пристально, со взрослой подозрительностью изучив глаза пришедшего, пояснила: — Вон у нас в музейском шкафу нарочно есть книга всю легенду разоблачающая. Такого, как его... какая-то фамилия еще вроде насекомая... скажи мне — я тебе...

Многоточия после недоконченных ею фраз были почти что видимы, представляясь чем-то наподобие радужных мыльных пузырей, вылетающих с легким придыханием из розовых, светящихся изнутри молодой кровью губ.

— В общем, там он, этот ученый, подробно, со ссылками на источники...

— Все правильно, но только источники-то у него высох-

шие. И фамилия сама, как это вы ненароком удачно определили, вполне насекомая, да и доводы на манер мелких укусов, — ведь имена даром не даются, не зря каждое из них имеет какой-то исходный смысл. Куда забавней другое, и в этом лучший урок всей этой письменности: захотел человек, сверяясь с бумагами, рассеять вековую быль, поверил почему-то именно им во всем безоглядно, увлекся совсем — и довели его эти дотошные справки кружною дорогой до такой уже небылицы, на бледном фоне которой прежняя легенда о пропавшем городе выглядит ярче самой явной действительности... Но вы так на вопрос и не ответили: приходят туда под Владимирскую, за ночь до Ивана Купалы, или же нет?

— Да некому там попросту сходиться, вот и все. Разве что заявится кто не от мира сего...

Последние слова о мире она, раздраженная упрямым спорщиком, как будто нарочито еще выделила, звучно щелкнув каждой согласной и протянув трубно гласные, после чего вернулась вновь к кисти с черною краской, показывая, что толковать больше не о чем.

Ну, это еще сорок раз проверить нужно!

...Автобус, словно заждавшийся прогулки кобель, радостно повизгивая мотором, выскочил из Семенова, а обиженное соображение о полученном едва прикрытом отлучении от всего прочего света продолжало беспокойной мошкой язвить душу. И пока тряская, разболтавшаяся бензиновая коробка, скрежеща всякою железкой, не забывала аккуратно отметить особым грохотом прохождение самомалейшей колдобины сначала передними, потом задними колесами, — в голове среди этого поистине слухового побоища по прихотливой окольности сцепления мыслей и на самом деле появился образ Толстого.

Вот ведь и у него, если верить другому рассказу, как-то уж слишком легко, подозрительно просто что-то внутри сдалось, когда цензор в подлинном названии «Войны и мира» — тогда последнее слово писалось через йоту, если нужно было обозначить человеческую вселенную, а не состояние, противоположное войне, — заменил эту упраздненную теперь букву на привычное для нас сейчас «и», так что вместо исходного «война и космос» имя романа стало читаться как «война и не-война». Хитрая литера скрылась с титульного листа, а позже и вовсе покинула алфавит, еще раз показав двойственность, двуликость, обоюдоострую двусторонность каждого выраженного вовне понятия.

Недаром ведь говорят: мир тонок да долог. Или — міp? Поди разберись...

Чуть-чуть смещается фокус, и уже из людского лица кажет себя козья морда, а в зверином проглядывает осмысленное выражение; оттого-то, наверное, язык и приспособился соответствовать легко переворачивающейся полярной противоречивости естества. А потом, оценив немалые преимущества этого его чудесного качества, мудрец сознательно использовал их в своих целях и заметил, что все мы вообще и не ангелы, и не животные, — но чем усерднее попытки силой сделать нас первыми, тем успешнее обращаемся мы во вторых.

Двуединство окружающего мира, притом не простое, а олицетворенное, и его зеркальная природа с радостью обнаруживают себя на каждом шагу. Взять вот для примера это село при озере — называется ли оно Владимирским по церкви или по забытому почти обычаю в ночь под одноименный праздник выходить на берег воды спорить о вечной истине? Да еще неизвестно какая из церквей Владимирская — та каменная, что стоит недостроенной, без алтаря, у самой дороги, или же деревянная, буквально осуществляя заповедь о хлебе насущном, превратившаяся в склад для сельпо?

И опять — разыгравшаяся наблюдательность, словно потерявшие согласованность единой точки зрения глаза, продолжала все дальше раскалывать видимое напополам, расщепляя и смещая предметы различными ракурсами, — зачем это вдруг тучей налетели к закусочной несколько дюжин колхозных «газиков», за схожесть взбрыкивающей повадки перемещения по буеракам и рытвинам бездорожья с известным басенным зверем называемых в просторечии «козлами»: престольный праздник отмечать в столовой, без престола? А у сбившихся чуть подале в кучу сельскохозяйственных механизмов только совсем ленивое око могло не отметить разительного подобия с обширнейшим пандемониумом самых жутких видов насекомых.

Определенная человекообразность автомобиля, с явственно читающейся парой глаз-стекол на покатом лбу передка, торчащим из него тупым носом мотора и даже железными зубами у крышки радиатора — противостоит грозной зверообразности агрономических чудищ, своими многоколенчатыми ножками с заточенными ножами-землерезами на концах и узкими паучьими тельцами кабинок посреди целого леса конечностей вправду не то лукаво сме-

ющихся над микроскопической живностью, доводя ее внешность гомерическим умножением до пугающей бессмыслицы, не то, наоборот, поверяющих прочность искусства, ставя ночные видения Босха на поток производства; и на чей в конце концов записать это счет, кто тут кому подражает? Пусть лучше разбирается предназначенное для того двуликое слово, наше дело дать имя, а уж оно само потом со своим носителем рассчитается. И вот, по стародавнему обыкновению называть производное по прообразу можно, пожалуй, окрестить — или, если это слово подходит здесь не лучше прежденазванного беспрестольного праздника, то наречь — всю машинную живность, отразившую в кривом обманчивом зеркале своей реальности кишащих обитателей подтравных и подсознательных пространств: кто, вроде трактора, тяготеет по форме к жуку — тех жуковичами, кто, наподобие косилки, к комару — комаровичами (вот он наконец отозвался, упразднитель ключей мертвой и живой воды), а которые, как поливалка или опрыскиватель, ближе всего к богомолу — богомоловичами, и так далее.

Но беспокойное рассуждение все-таки не успевает окончательно одеть в кость и кожу законов живые отражения и нечаянные рифмы мира, паук-концептуалист не спроворился оплести их своею сетью, покуда село еще не осталось позади, — а сразу же за околицей, стоило лишь перебрести по мосточку ручей, открылась оборвавшая все прежние мысленные ухищрения легкая, плавно изгибающаяся вправо аллея, властно направившая взгляд к лежащему на конце ее озеру. Обязательный для каждого приближающегося путь по ней пешком и постепенно неминуемо, хоть ненадолго, приобретаемое ровное дыхание размеренной ходьбы, — необходимая подготовка ко встрече со светлыми водами.

У самого берега стоит небольшая скамья без спинки подле заколоченного накрест деревянного ларька, дальше тропинка скользит мимо пустой вышки для прыжков, всходит на крутояр и теряется, уводя в полускрытую за высоким берегом рощу, от которой видны только верхушки дерев.

С прихолмка озеро представляет собой почти верный овал, — искаженный ровно настолько по сравнению с идеальным, сколько требуется, чтобы не сделаться, подобно ему, отчужденно-холодным. Сама же водяная гладь и окрестности ее сейчас безлюдны — как сцена, начисто выме-

тенная и подготовленная для вечернего представления.

В ложбине за пригорком, словно прохваченные морозом поздние осенние грибы, вяло скучились брошенные потешные домики детского лагеря, оставленные, похоже, всего несколько лет назад. Раньше, в предыдущие годовщины, в них и ночевали редкие любопытные пришельцы, но сейчас внутри поселилась сырость, разбавляющая духом тления скверный отхожий запах, полы вовсе вынуты, потолки просочились гнилью, и делать тут ночлег, конечно, невозможно. С другой стороны, возвращаться назад в село тоже неудобно, а затемно так и совсем, верно, будет неловко. Но вот впереди слышно, как заходится в лае собака — там еще должны быть выселки.

Из четырех образующих их домов два оказываются накрепко забитыми, из третьего наружу несутся клики и всплески подлинно кромешного гулянья, зато в последний, четвертый, как водится в былинной действительности, соглашаются пустить: самого хозяина, правда, нет — он уехал в правление, но веселая дочка его Света, при всей несхожести ее приветливости с хитрой подозрительностью девчонки-художницы из семеновского музея чем-то ее явно напоминающая, легко разрешает зайти и пожить здесь денек. Слово «выселки» она тотчас же поправляет: никакие не выселки, а поселок — поселок Светлояр.

Теперь можно, да и пора поспешить обратно, торопясь застать закат и вечер у самого средоточия путешествия. Местность при озере начинает тем временем потихоньку оживать: кто-то подходит к скамье у дорожки, несколько полностью взаимозаменяемых мальчишек плещутся под купательной вышкой и вот, наконец, видно, как первая фигура молча направляет шаги на заповеданный веками священный путь кругом водяной чаши. Когда-то считалось, что одно полное кольцо с зажженной свечой по его недлинному — всего около версты — периметру, совершенное этой ночью, равно паломничеству в Киев, три оборота почитались как странничество по всем великим святыням Руси, а девять — или двенадцать? — за поклонение местам, видевшим воочию воплощение и крестную смерть Спасителя.

Если осторожно пуститься вслед за фигурой в разведку, то скоро выясняется, что, как и положено всякой живой легенде, при встрече с ней лицом к лицу она представляется несравненно занимательней воображаемого: протоптанная тысячами ног предков тропинка теперь то ширится в поляну, то тянется еле-еле вдоль заболоченных тут и

там берегов, часто пропадая в лужах и высокой траве; кое-где она перегорожена плетнем, а в двух-трех случаях и вовсе приходится снимать башмаки и брести чуть не по колено в воде через студенистые ручьи, с замирающим ожиданием боли погружая боязливую стопу в нежно-склизкий ил. Зато к сáмому уже завершению отвлекающего на себя все внимание кружения делается вдруг заметно, что то внутреннее чувство, которое сменою ощущений движет и отмеряет время, освободилось от привычки тотчас обнимать мыслью все, что ни попадается в поле зрения, и бескорыстно рассматриваемый мир, очерчиваемый собственными ногами в круг, получает тогда образ цельности, превращаясь в чистую данность, сплошную длительность и даже лучше, — в единство неподвижности и круговорота, совершаемого одновременно в такт человеком и белым светом коловращения естества.

Кольцо замыкается как раз у скамьи, где теперь поместился длинный худой старик, безмолвно сидящий, уставя взор поверх вод куда-то в поле на той стороне берега. Можно присесть рядом, что после небольшого пути неожиданно кажется совершенно необходимым; к тому же тут легко, вовсе не стесняясь молчания, тихо побыть, не разговаривая со случайным соседом про что-нибудь про любое — только бы не дать повода думать, что это демонстрация невежливости; напротив, гораздо уважительнее не мешать, не докучая попусту ближнему. Тишина тогда выступает своеобразным доводом в доказательство благородства мироздания, которое по самой природе своей не болтливо, а вглядчиво, сокровенно-скромно и не желает — по крайней мере в наших полуночных странах — навязывать беседу тому, кто в ней не нуждается. Поэтому-то скорые на слово люди тишины часто боятся и — подобно обыкновению читать за едой, постепенно доводящему до полной неспособности есть, когда при этом некуда окунуть алчущий заботы глаз — неотвратимо привыкают вставать, жить и засыпать, рождаться, быть и умирать «под музыку».

Здесь же такого рода музыка была бы чем-то вроде самоубийственно назойливых комаров, мелкого досадителя-гнуса, которых сидевший в спокойствии старик время от времени стирал с высокого лба и птичьей шеи не глядя и не отвлекаясь, безмятежно продолжая всем своим существом пребывать в заозерных пространствах.

Прерывисто проклокотал мотоцикл, привезший из села новую компанию купальщиков; в обратную сторону по ал-

лее прошла кивнувшая на ходу Света с какой-то подругой. Чуть-чуть не коснувшись скамейки, завернула на третий круг заканчивавшая свой обход женщина и, совершив некий оптический фокус, как будто насквозь просочилась через бойкую кучку приезжан, оживленно разоблачавшихся у самого берега.

Приветствуя закат скрытого за облаками солнца, воздух все быстрее менял оттенки синего цвета, скрадывавшего тени, место которых заступало в полусумраке мерцание, исходившее от самой земли, воды и деревьев. Невдалеке кто-то почти бесшумно погрузился в озеро.

— Ныряют... — сосед неожиданно прервал немоту непонятно кого и как определяющим безличным указанием; подобно невидимо протянутой руке, слово его прозвучало сдержанным приглашением к безымянному знакомству.

— И неужели никто так и не добрался до дна — проверить, есть ли что внутри на самом-то деле? Хотя бы из одного любопытства?

— А чему там быть? Только дно-то, видать, чересчур глы́боко...

Он подождал, покуда уложились в порядок части следующего предложения.

— Лазали когда-то водолазы с трубками, три льда прошли, а потом и бросили — холодно слишком.

— Какие три льда?

— Да такие: сначала идет вода с илом, под ними лед; продолбить его — снова вода, за ней опять лед, — и так дальше.

— Чудно́ что-то.

— Коли чудно, то и ладно; а вот если старушечьи сказки все слушать — так ни одного живого-то города на земле не останется.

Тут дед еще в подтверждение добавил распространяемую ими свежую историю про то, как недавно кто-то, приезжавший сюда рыбу ловить «из района», вытащил на крючке со дна вместо сома здоровенный церковный крест. Находку эту будто бы так до темноты и продержали в воде, а ночью увезли на грузовике куда подалее, чтобы слухов лишних не множить.

— А сами-то не видали это?

— Кого «это»?

— Ну, крест тот?

— Да нет же, не видел. Я говорю, что бабкам нечего

доверять — плетут почем зря языками. Ну откудова там городу под водой взяться?..

— И что, теперь летом ночью тоже не приходит никто сюда со свечами?

Старик опять немного обождал, внимательнее собирая продолжение.

— Раньше-то, правда, рассказывают, целым миром собирались, но еще перед войной это все схлынуло. А сейчас уже и подавно не ходят.

— Как, — не заметили разве, вон женщина-то кружила?!

— Ну, это что, это бывает. Оборачиваются.

Он с неожиданной радостью шлепнул комара, по самые уши залезшего в сизую вену под бородой; выпитая покойным кровь брызнула вниз маленькой струйкой и окрасила несколько звеньев шейной «чепи» — гайтана древней чеканной работы.

Дед передвинулся на скамье, подпер ляжки руками и повел дальше речь уже немного по-другому:

— Стихи духовные бабы пели сердечные, это точно. По них долго еще после приезжали собиратели. Вот, к примеру, об Аввакуме, был там один про то, как идет он с его протопопицей, — слово это прозвучало у него чем-то вроде «горлицы», — по Сибири лютой зимой, и она уже, бедная, еле-еле ноги тащит, «и бранит его украдкой, и бредет за ним опять:

— Протопоп мой горемычный, долго ль нам еще страдать?

— Видно, Марковна, до смерти!

А она ему на том:

— Что ж, Петрович, — отвечает, — значит, дале побредем...»

И опять задача: чьи это строчки — настоящие староверские, пусть даже конца или начала нашего века, или, скажем, кого-то наподобие Мережковского?.. Мысль не поспевает решить, оставляя на потóм соображение-заготовку, что по крайней мере сама эта близость тоже довольно красноречивая, а старик снова сворачивает на любимую, как видно, дорожку мечтаний о миродержателях века:

— А скажи-ка мне, что там у вас в Москве — в Москве?

— В Москве.

— А меня Михаил Михайлович зовут. Так что ж там у вас на Москве-то . . . . ?

Тут можно разве что ответить загадкой на загадку, да,

наверное, пока час искренний не промелькнул, взять да попытаться сразу задать самую главную.

— Хорошо, Михаил Михалыч, сдаюсь. А теперь вы мне ответьте, — ведь коли про Китеж речь завели и тем более не верите в это, то хоть, по крайней мере, должны были слышать или даже видеть эти повести. Так вот, а не заметили ли, какая в них везде повторяется несообразность — и удивительно, кстати, почему ее никто не желает разобрать: всюду пишется, будто Батый этот Китеж большой взял, князя убил, людей и дома уничтожил, пожег, погубил да и ушел восвояси — и потом уже только город сделался невидимым, каким он должен простоять до скончания веков. То есть пропал он еще до исчезновения — как это понимать?

— Повтори-ка разок?

— Я говорю: если он скрылся от глаз таким, как рассказано в летописце, разоренным и выжженным, то чего же там откроется людям в обещанные «последние времена» — одни головешки, что ли?!

Старик склонил набок голову, промычал что-то про себя, после чего снова изменил посадку, вынув руки из-под колен. Изучил пристально носок своего сапога, прочертил им кривую борозду на песке и наконец буркнул: «Не от мира сего сомнения, не понимаю я в том ничего. Опять ересь какая-то...»

На скамью уверенно вернулось потесненное до поры молчание. Невольно взгляд вновь обратился к воде: ежели внимательно присмотреться, то становилось видно, как там в середине, ближе к самому сердцу озера, то появлялись, то исчезали узкие полосы морщи и ряби, хотя ветра вроде бы и не было слышно.

Теперь, когда темнота окончательно пересилила свет, незаметно как-то обезлюдели, оголились от человеческого присутствия берега. Будто в старинной рифмованной пьесе, все прочие персонажи, старательно пятясь и укрываясь за декорациями, ускользнули тишком за кулисы, оставив героя наедине с природой произностить поначалу еле шепчущий, но постепенно все более восклицательный монолог о чем-то желанном столь страстно и тайно, что поведать об этом можно лишь одушевленному некоей высшей правдой пространству, воображаемому на месте тысячи тщательно незамечаемых зрителей. Зеркальная разница с прототипом состояла, однако, в том, что действующим лицом сейчас был именно неподвижный и беззвучный космос, а

зрительный зал помещался на одной деревянной доске.

Оглядевшись напоследок по сторонам, точно проверяя, все ли устроено так, как полагается, старик, по-видимому, остался доволен: так. Вздохнув от души, он поднялся и, не очень-то настаивая на приглашении пойти ночевать с собою в село, подтвердил на прощанье еще раз свое предсказание:

— Не надейся даром и зря не жди: говорю тебе — ни одного человека здесь сегодня не будет.

Затем он необычно быстро скрылся за ближайшими деревьями, и оставшийся седок оказался с ночным Светлояром один на один. С другого конца аллеи, где не угомонившиеся за ночь мальчишки жгли костер, долетали отдельные ноты радиомузыки и блестки живого, колышущегося пламени, — но все это только подчеркивало впечатление того, что покойная масса воды будто втягивает в себя всякое движение, производя взамен накопленную за века тишину.

Озеро совершенно успокоилось, поверхность стала ровно и повсеместно гладкой и, словно оправдывая собственное имя, оно чуть-чуть светилось. А имя тоже, как нарочно, подобно монете двухстороннее: если считать его природно-русским, то оно должно означать нечто вроде горящего ока земли, светлого и яркого, потому что «яр» по-славянски — это жар, пыл, сияние. Но есть еще и татарский яр — на их языке так зовется круча, обрыв над рекой или прудом.

Приблизилась торжественная заповедная полночь, однако никто так, точно испугавшись старикова заклятия, и не появился.

Пора было зажигать свечу и пытаться пройти в обход, пусть всего лишь раз, чтобы после, по обычаю, изостривши слух, прикоснуться к земле и ждать, не послышится ли звон китежских колоколов. Ведь в чем еще был безусловно прав этот скептический дед: город на самом деле не утонул, — по старым книгам он, скрывшись из виду, ушел в холмы, стоящие по-над водой, а в озере в эту ночь мудрый или просто счастливый человек может заметить только отражение его золотых маковок.

Свеча никак не загоралась, — искусственный стеарин не принимался в привычном к чистому воску воздухе. Пустив один расщепленный радужный лучик, фитиль тыкался в пальцы и гас, не успев осветить и десятка шагов. В итоге кропотливых и неловких стараний выяснилось с отчаянной достоверностью, что с этим опрометчиво взятым

ненадежным светильником и круга обойти не удастся; но и без него пути не было никакого — тропку, петлявшую по ямам с остывшей водой, заводившую в неприветливые к людскому племени во тьме дерева и перехваченную по низу полями хищных крапив и папоротников, вслепую не одолеть. Что ж, значит, так все и останется; не пускает озеро единственного своего ночевщика совершить стародавний обряд, следовательно — ему не судьба: то ли не достоин, то ли совсем сделался чужой, то ли еще что. У множества гадательных причин было одинаковое, но очень обидное завершение.

Оставалось лишь бездельно сидеть на холме у границы леса и луга, вглядываясь в укутавшуюся паром воду. Потом, спустя незаметно минувший час, ухо приникло к траве. Гудеть под ней, конечно, не гудело, однако и тишины не было слышно; наиболее близким подобием этого чувства было совершенно противоположное безмолвию ощущение непосредственной близости некоторой силы, словно бы начинавшей втекать снизу внутрь, когда удавалось найти с ней какое-то соединение. Что-то там в недрах ворочалось явственно живое.

...До́ма в поселке, несмотря на далеко уже заполуночный час, всё еще не спали: отец так и не вернулся из районного правления и резвая дочка позвала ближних друзей на нечаянный праздник. Из парней, впрочем, тут был только молоденький коротышка-милиционер Вова, — как выяснилось, нарочно присланный в село следить за порядком в дни бывших гуляний. Около него кругами хо́дила хозяйкина подруга, норовя постоянно то за шею обнять, то по руке погадать, а нет, так попытаться ткнуть кулаченком или ущипнуть тело под форменною тужуркой; но сам кавалер лишь отмахивался от нее, как от докучливой мухи, стараясь в свою очередь завести полезный разговор с заезжим «историком». К сожалению, поддерживать эту затейливую светскую беседу уже не хватало сил, и пришлось, нарушая приличия, вслух при всех попроситься у Светы пустить куда-нибудь поскорее лечь спать, хоть в сени или в сено на поветь.

Она безропотно поднялась, затеплила свечку в бумажном стаканчике и повела в дальнюю комнату за печкой, где для гостя был загодя постелен обширный отцовский диван. Вежливо пожелав тихой ночи, девушка ушла обратно за занавеску, но почти тотчас же бесшумно вернулась, придвинулась совсем близко и вдруг стала шепчущей ско-

роговоркой просить прощения за подружку, с которой, как она рассказала, они теперь вместе заканчивают восьмилетку. Извиняясь за ее грубые через меру речи, смех и открытое приставанье к военному, она объяснила:

— Это вовсе не из-за погон, у ней судьба несчастливая: парень, который с ней был, взял да женился вместо Ольки на ее случайно, вдруг овдовевшей матери, а саму ее теперь из дому гонит...

Она легко погасила на прощанье огонь двумя пальцами и вышла вновь.

— Света!..

— Да? — девушка в третий раз выглянула из-за порога.

— Будьте добры... Можно оставить свечу гореть? Я вам утром свои все отдам, у меня там целая пачка из города.

...Посреди ночи прервался какой-то стремительный сон с приключениями, и неожиданно без всякого перехода представилось, что прямо сюда позвонила мать, поздоровалась в трубку и потом зловеще замолкла. Иллюзия правды была настолько полной, что совершенно точно поверилось, будто сейчас она на самом деле что-то сообщит, к тому же, по всей видимости, крайне неприятное, — потому-то сначала для усиления страшного действия и молчит. Чтобы прекратить тягостное томление, оставалось лишь громко кричать ей в телефон, не слыша собственного голоса: «Что? Что? О чем ты хочешь сказать?!» Но там, на другом конце линии, все было ватно-глухо.

...Против ожидания, с утра за окошком вместо сырого тумана, обычного для поставленного посреди заболоченных лугов поселка, оказалось сияющее прозрачное июльское утро, и только потом часы поправили радостное удивление: проспал, было уже за полдень. В отсутствие старших молодая хозяйка тоже позволила себе вольно вздремнуть; сквозь щель в полупрозрачном от солнца холщевом пологе видна была пухлая молочная ладошка, высунувшаяся, должно быть, чтобы угреть щеку, но, так и не найдя своей цели — голова вся целиком спряталась от света под подушки, — улегшаяся посреди пестрого лоскнутного одеяла в сиротливом одиночестве.

Еще от крыльца стало слышно, как ревет над озером «народную русскую музыку» репродуктор, и сразу же перед глазами составилась из слишком знакомых кусков мысленная картинка идущего там теперь веселья: безбожно распахнувшийся настежь дощатый ларек, комки сброшенной одежды на давешней скамье, стада вздымающих со

дна муть купальщиков, мотоциклы, «Спидолы», грузинский портвейн в бутылках-«пушках», потребляемый за кусточком вдали от законного взора милицейского Вовы...

Но стоило подойти немного поближе, как вскоре выяснилось, что никого почти у воды нет, не видно было и радиоточки, а звуки, разносившиеся необычно звонкой лесной акустикой, принадлежат расположившейся на среднем из трех прибрежных холмов небольшой семейке женщин, которые, встав полукругом перед высоким ступенчатым пнем, увешанным принесенными с собой меднолитыми образками, под руководством вчерашнего деда выводили резкими гортанными голосами совсем иные напевы.

Они ничего не возразили против того, чтобы присоединиться к ним молча сзади, и, покуда солнце припекало все крепче, добираясь до потеющих макушек сквозь плотную древесную листву, мерно продолжали читать и одноголосо петь, иногда останавливаясь, чтобы деловито рассудить, куда дальше вести свою службу. Раза три или четыре прозвучали застрявшие даже в современной словесности древние стихи о воскресении из мертвых, лишь как-то по-чудному измененные в конце: вместо «смертию смерть поправ» говорилось «смертью на смерть наступи». Употребив известное усилие к символизации, можно было бы, наверное, и весь вообще дух недвусмысленного их староверия вывести из одного этого упрямого настояния на наглядности, вещности выражения вести о победе над всеобщим уничтожением.

Кончили часов около двух, а зачин делу был положен стариком, пришедшим ранее других, как он потом признался, еще на рассвете. Искусив чужое любопытство длительностью терпения и внимательным наблюдением, взяли теперь с собою на обход ближних поклонных мест.

— Вон там в холме, где ты ночью сидел, — Благовещенская церковь, а под нею сорок младенчиков русских убиенных схоронены, — спокойно повествовал Михаил Михайлович, бывший, видимо, кем-то вроде наставника. — Здесь под нами в середке — Успенский собор, а правей — Троицкий.

У Троицкого место над главным крестом было обозначено наверху останком громадного дерева, из-под корня которого взяли землю на память; затем еще раз обошли все озеро кругом.

При этом на одном из поворотов наткнулись прямо на приезжих, полоскавших в воде обросшие глиной сапоги.

Однако они не вызвали не то что упрека, но даже и взгляда осуждающего в свою сторону: как и вчерашняя безымянная фигура, старик с женщинами (а за ними, неуверенно, и присоединившийся попутчик), казалось, протекли между праздных чужаков, проникли прямо сквозь них так, что оба малых сообщества одно другого не заметили. Миры их действительно существовали как бы совершенно раздельно, и не было линии, по которой они могли пересечься. Раньше старику нашлось бы о чем поспорить с ненавистным «никонианином», имевшим хотя и вовсе обратную точку зрения, но на единые основополагающие догматы, — тут же история как будто нарочно позаботилась обеспечить чистоту опыта безоглядного отрыва, попытки выживания мысли в бесповоротной инаковости с окружающим. Две различных культуры оказались не противо-, а внеположенными, отстоя более чем на один порядок в иерархии вселенной, — так что исполненное достоинства поведение при встрече открытого святотатства скорее следовало отнести не на счет общего благородства чувств, а прямо связать с окончательной потерей почвы для соперничества.

...Потом выбрали полянку на склоне Успенского холма и сели полдничать. Из сумок появились на свет помидоры, хлеб, селедка с луком и редька. Предложили, нисколько не чинясь, потрапезовать вместе, — но куда привлекательней была разрешенная тут же, хотя и с меньшим расположением, пища книжная: три певчих свитка и пудовый кожаный томище, по которым они недавно правили утреню.

В последнем из них сразу после «Часов» и «Устава» современным тетрадно-ученическим почерком с наклоном вписана была длиннейшая «беседа трех святителей» в вопросах-ответах такого рода: «Василий рече: что есть — стоит дерево цвету полно, под ним корыты, а на дереве сидит голубь и, цвету урвавши, в корыты мещет; цвету же не умаляется, а корыто не наполнится? Григорий отвеща: древо — земля, цвет — людие, а корыто — могила, голубь же — смерть».

Наконец, вслед за беседою, шла и известная китежская летопись — повесть о том, как Батый сначала добрался до Малого Китежа, нынешнего Городца на Волге, а великий князь Георгий Всеволодович с небольшим оставшимся войском ушел от него тайною тропой через керженецкие леса сюда, к Китежу Большому. Тогда разъяренные ордынцы «нача мучити человека единого Гришку по прозвищу Кутерьма, и, не могий мук терпети, поведа им путь».

«В силе тяжце» примчались по следам коней татары «и взя той град Болший Китеж, что на берегу озера Светлояра, и уби благоверного князя Георгия, месяца февраля 4 день, и поеха из града того нечестивый царь Батый, а людий всех градцких посече и пожже... И после разорения того запустеша грады те Малый Китеж на брегу Волги, Болший же что на езере на Светлояре. И не видим будет Болший Китеж даже до пришествия Христова, како же и в прежняя времена бысть сие, яко свидетелствуют жития святых отец».

— Ну так как же, Михаил Михайлович, чему тут все-таки было скрываться, коли все напрочь пришлецы спалили и уничтожили? Кто незримо нас ждет на берегах последнего часа?

— А ты дальше, на обороте прочти.

— Где на обороте? Вот это, что ли — «...и сей град Болший Китеж невидим бысть и покровен дланию вышнею на конец века сего многомятежна и слез достойна по молению и прошению тех, иже не узрят скорби и печати от зверя, токмо о нас плачут день и нощь и о отступлении нашем и всего государства московскаго яко Антихрист царствует в нем и вся заповеди его нечистыя...»

На следующей странице шла уже какая-то не связанная с прошлым изложением несуразица; видимо, целый лист или, может, больше — потому что нумерация отсутствовала — был выдран. И пока пальцы лихорадочно искали продолжение, над самым ухом кто-то так громко охнул, что книга невольно с деревянным стуком захлопнулась, внимательно следившие за чтением женщины принялись причитать и истово креститься, а дед за всех них заключил: «Оно и верно, сказано ведь — «не оживет, аще не умрет»!»

Они вдруг поднялись как по команде, зычно во весь рот возгласили благодарение за насущный хлеб и сразу стали деловито собираться уходить.

— Пойдем, что ли, и ты с нами?

— Далеко?

— И неблизко, да не до края леса, — к колодцу Георгия Всеволóдовича, — резко ударив голосом на другое «о», ответил старик.

...По дороге две спутницы отстали: одна еще у озера повернула, торопясь по каким-то своим обязанностям назад в Семенов, другая из-за больных ног осталась ждать возвращения остальных в самом Светлояре.

Вблизи знаменитые заволжские дебри оказались не так густы, как сыры; единственный возможный путь через них лежал по наполовину заросшей просеке, часто перегороженной глубокими зацветшими лужами, так что вскоре пришлось высоко закатать штаны, снова разуться и постоянно прилежно следить, куда шагаешь, чтобы не уязвить ненароком отвыкшие от сырой земли ступни.

Прошли большой заболоченный овраг, о котором было сообщено, что называется он Садовеньками, и тут будто бы покидано еще при татарах русское оружие, в том числе и меч самого князя Егория, — а после него ведший всех Михаил, перестав теперь удерживаться и забыв даже, к кому собственно обращается, пустился бранить «еретиков» во всю силу давно заготовленных, долго не находивших выхода обвинений и обид.

В первую голову, конечно, по традиции попало троеперстию, с подчеркнутым ёканьем обзываемому «щёпотью», затем курящим попам, пьющим и шатающимся без толку по свету людям, свихнувшейся на закате времен с пути истинного вере и так далее; а под занавес он опять, словно это у них была такая нарочно приготовленная клятва наподобие пароля, чуть не трижды отлучил собеседника от надежды на спасение, поставив его вне «мира сего». В конце концов получилось такое необычное положение, когда для того лишь, чтобы не оставить его в оскорбленной тишине без ответа и тем еще пуще не обидеть, пришлось отступить на один мир назад в истории и возражать от лица того давно уже минувшего, но для него все еще «нового» века в так и не договоренной распре его с предыдущим и тоже, как выяснилось, в своем постоянном умирании неистребимо живым.

По мере того как все яростнее прекавшийся дед Иваном Сусаниным заводил всех одному его знакомой дорогой глубже и глубже в сумрачный, представлявшийся босому путнику бесконечным бор, спор тоже откатывался дальше во тьму столетий, становясь вместе с тем, как это быстро сделалось ясно еще тогда, при первом его начале, безнадежно неразрешимым для человеческого разумения. И можно почитать за счастье или прямую помощь само́го уставшего бесконечно кружить в порочном кольце языка, что как-то незаметно удалось вызволить разговор из тупика прений и обличений вновь к подлинно живому вопросу об уничтоженном, не воскресшем и все же навеки запечатленном граде. Тут уж старик, уверенно торивший

тропу круто упертым вперед лбом — потому что глаза неизменно оставались опущенными глубоко вниз и с чужим взором намеренно не встречались — перешел на речь высокую, почти книжно-торжественную:

— При сотворении земли, еще до рождения света уже было предсказано, что в заповеданные и заранее расчисленные сроки появятся невидимые обители, — не одна или три, но много весьма, и великое множество там праведников яко звезды небесные просияют, и как песок морской невозможно исчесть, так и о всех о них нельзя по ряду сказать или на письме передать.

— И что же, туда так никогда и не закрывалась дорога?

— А если ты все, как считаешь, читал про него, то разве не встречал посланий, оттуда пришедших?

— Это что вы имеете в виду — «Письмо от сына к отцу из оного сокровенного города, дабы о нем сокрушения не имели и в мертвы не вменяли скрывшегося от мира» и так далее? Так оно вон еще когда сочинено-то было!

— Ну и что с того, что давно, — во всякий день человек, правильно вставший утром и не оборачивающийся вспять, глядя туда да сюда, как там и учится, выйдет на дорогу свою и по ней ноги сами его поведут к нужную сторону. Или извещение, или письмо из града того или из монастыря придет, от тех, кто живут там чисто, или еще как-то иначе, — но путь он узнает...

— Хорошо, конечно, звучит, но только вы тоже все по книжкам судите...

— Зачем же по книгам — они тут как раз совсем лишние. Чего не запомнилось, что в голове своей, раз прочитавши, не унести — то, значит, и не требуется для нашего устроения.

Он осторожно отвел в сторону ветку, приходившуюся идущим на уровне лица, преграждая узкий перешеек между двух ям, обождал, покуда все невредимо проследуют мимо, и, отпустив ее рукой, бегом нагнал ушедших вперед, снова устроившись в голове шествия.

— Так почему же тогда перестали собираться со свечами на Владимирскую у озера? Может, завершилось его время?

— Как сказать — для кого исполнилось оно, а кому и нет. Этот год и прошлый, действительно, никого не было, а третьего лета, когда впервой не приехали дети в лагерь, приходила слепая юродивая с алтайскими людьми, из самой горной Азии, из-за Казахстана. Пешком привела их,

ничего не зная, как по звезде, — и прямо ко Благовещенской горке, где ты вчера ночью еще огня своего не смог завести. А как стали подыматься, то начала она вроде здороваться, кланяться низко и будто чего-то на руки принимать. Те, которые с ней были, и спрашивают: чего это ты, мать, с кем разговариваешь? А она им в ответ: как же, мол, неужто не заметили: весь город как есть нас встречать вышел, чернецы и миряне, всем собором честным хлеб-соль вынесли, подают... Поклонитесь им по-русски в пояс — да внутрь и пойдем.

— Вот то-то же, — заключил дед Михаил и обидно, явно несправедливо прибавил: — А ты говоришь — слепая, юродивая!..

Тысяче на седьмой шагов ноги все-таки привыкли, приноровились безбоязненно и споро перебирать необычную для них дорогу, но тут-то она, как водится, и кончилась: просека неожиданно оборвалась, упершись в обширное травяное болото у запрудившегося ручья по имени Кибелёк. Старик тогда выломал шест подлиннее и, шепча что-то еле слышно себе под нос, по одному ему ведомым приметам повел далее петлистыми заворотами по кочкам и островкам твердой почвы с пышными приземистыми кустами, пока впереди наконец не показалась обнаженная от деревьев густо-зеленая поляна, посреди которой возвышались два деревянных креста — один побольше, другой пониже, а за ними виднелся невысокий опрятный сруб. Это и был колодец князя Георгия.

Близ самого уже источника, в котором тихо журчал невидимый ключ, у всех, кроме новопришедшего, откуда ни возьмись появились в руках разного объема склянки для воды. Заметив, что он начинает вместо того подозрительно возиться с фотоаппаратом, висевшим до поры без дела за спиной, дед предупредительно отчитал: вот этого-де и не следует в ход пускать. «Свой глаз дороже, он тебе и запомнит больше».

Стали по очереди подходить пить к опрятному, недавно, должно быть, чиненному колодцу, верхние бревна стенок которого белели теплой, еще не отсыревшей гладко струганной древесиной.

Вкус воды из студенца, набиравшейся при помощи заботливо приговоренного тут навечно висеть железного ковшика, был не то чтобы очень уж сладок или приятен — от долгого ожидания он мог даже показаться и совсем прост, — но весь мерный обряд безмолвного причащения в

самом сердце среднерусских лесов из кладезя, открытого семь с половиной веков назад на месте мученической гибели одного человека, вольно или невольно обращал этот вкус в убедительное чувство невидимого присутствия здесь могучей общины предков-сородичей; как, в обратном, зеркальном отражении, никакие совершенно наглядно-вещественные стены другого города, на иных водах поставленного, не удержали в свое время Достоевского от страшного предвидения того, что весь он однажды, когда окончится срок, унесется вместе с желтым болотным туманом, и только лишь памятник на медью дышащем коне останется напоминать о минувшем наваждении.

— Нравится водичка? — ласково справилась хлопотливая старушка, единственная из всех не возражавшая против того, чтобы сделать тут фото на память.

— Вода хороша, а место и того лучше, вправду святое.

— Место, конечно, что свято, но есть посвятей, — вдруг откликнулась высокая, с сухим крупным лицом в оспинах, всю дорогу сжав губы промолчавшая женщина.

— Како тако еще святей? — удивился теперь и старик.

— А ты, что ль, не знаешь, — туда вон, сквозь топь вперед верст за пять, — она указала березовой палкой в сторону, противоположную той, откуда пришли; а потом докончила, выговорив последнее слово с особым, мягким каким-то упором и подчеркнутым «е» вместе «ё». — Там другой наш колодец выкопан, называется — «У сожженных».

«Здравствуй, милый наш летошний гость!

С горячим дружеским приветом к тебе Света. Жаль только, что ты так и не сказал тогда, торопясь по делам, свое имя, а я постеснялась спросить, подумала еще — неужто теперь в столице обычай такой, не называться. Хорошо, на конверте с фотографиями был обратный адрес, так что пусть безымянно, а могу тебя поблагодарить.

Письмо пишу из общежития г. Городца, 2 августа сдаем в училище сочинение, а 8-го историю, — но я вряд ли поступлю, сейчас уже десять человек на место, так что все напрасно. Был бы ты, вот бы за меня пятерки получал, но... попробую, что будет: как говорят — попытка не пытка. От всего сердца спасибо за снимки, оказывается, ты не только историк, но и фотограф; всем, кто видел их, они очень понравились. Твои рассказы я тоже слушала с боль-

шим интересом, ты очень трудолюбивый человек, так, можно сказать, мало еще прожил, а так многого добился, все-то знаешь, даже позавидовать хочется.

Ну, вот чего я в силах взаимно ответить. Про книги спрашивала, но у одних нет, а другие просто не хотят расстаться: конечно, у молодых нет, а старые — это люди не такого поколения, чтобы на них могли повлиять какие-нибудь слова. Извини, но книг я так и не добилась, а потом вот уехала и не знаю еще, когда-то назад буду. Здесь ведь тоже долго прожить не удастся, хотя тут и не плохо, но все-таки не сравнить.

На этом писать кончаю, еще раз спасибо за фотографии, буду очень рада снова услышать от тебя что-нибудь, а то порою даже и не верится, что вы там у себя и мы в поселке на одном свете живем. Правда, не смейся, задумаешься иногда, и кажется, будто кто-то из нас не от мира сего, хотя если это и так, то уж скорее, конечно, что мы. Ты уже, наверное, догадался, что по этим словам нас и можно найти. Ну, до свидания, приезжай, приходи к нам еще, буду рада и ответному письму. Если забыл адрес, то вот он опять: Воскресенский район, село Владимирское, пос. Светлояр, Тихоновой Свете».

БАБОЧКА

С жильем на юге в этот отпуск рыжей Вике с первого шага не повезло: у тех хозяев в невеликом приморском кавказском местечке, где она уже два года сряду снимала отдельную клетушку в мандариновом саду, нечто столь несуразное стряслось со старшим отпрыском, что она застала все семейство и куст обставших его кругом родичей театральною хваткой взявшимися за головы и в бессловесном мычании бродящими по двору. Даже по праву старой жилички ей ничего не стали разъяснять и лишь, разведя как можно шире из вежливости руками, решительно отказали от дома: дескать, в такие времена чужим людям толкаться у нас не в обычай.

Опешенная неожиданным отворотповоротным приемом, она понуро побрела с подгорка вниз к набережной — где ей на прощание присоветовал поискать счастья «дядя Мамука», — одною рукою таща за собой беспрестанно порывавшуюся ушмыгнуть на волю пятилетнюю дочку Стеллу, а другою волоча торчком тяжеленный чемодан на колесиках. Собственно, уж его-то полагалось нести не ей, а Стеллиному отцу и ее мужу, который ничем иным, кроме своей широкой лапищи, не должен бы обременять жениной шуйцы, — но увы и ох! Лучше здесь надеть на воспоминания узду и повернуть соображение на иную тропу: мы приехали

на отдых вовсе не ради того, чтобы ворошить попусту все, чему обязаны отсутствием старшего члена семейной троицы, и раз навсегда, по крайней мере в ближайшие двадцать дней, уговоримся даже в мыслях к этой докуке не возвращаться...

Отвечая ее сбитому с толку настроению, небо раннего мая, только что беспечно-пустое, покрылось невесть откуда наскочившими породистыми серыми облаками, свет примерк, и все вокруг вдруг на миг прикинулось кривой сестрой весны, сырой осенью — самой, пожалуй, ненавистной в ее глазах порой, — так что развеваемый ветром тополиный пух показался доподлинным снегом, а полуодетые дерева не еще, а уже жидколистными...

Узкая полоска заселенной суши, спертая с правого боку шоссе и рельсами, а с левого водой, была плотно уставлена в линеечку частными участками, на воротах железных оград которых гордо значились фамилии землевладельцев — армянские, мегрельские, абхазские, русские и грузинские. С трудом отыскав щелку-лаз между заборами, Вика протиснулась мимо оглушительно терпко смердевшей помойки к убитым камнем берегам вздувшейся больною жилой речушки, в которую ненадолго превратился буйно упившийся подтаявшими горными снегами ручей, и вдоль них споро проникла на выведенную совсем недавно — всего, как говорили, лет восемь назад — цементную тропу поверх залитой бетоном набережной, ограничившей окраинные земли поселка от морского подлизыванья.

Теперь впереди нее прозрачные до дна волны играли между собою в кости крупною галькой пляжа, а позади бесстыже заголился испод бесчисленных куцых времянок и квадратных домовых строений, хотя нередко и о трех этажах, но вполне «шанхайского» пошиба — лишь на конце их вдали виднелся нарядный белый жестяной купол вокзала, напоминавший по форме колониальный шлем.

Среди всех этих каменных хибар внимание Вики покорила совершенно неожиданная здесь постройка наподобие простой русской избы у самого почти дальнего края дамбы, с таким обыкновенным — да только не для тутошних широт — просторным открытым крыльцом, с которого привольный вид должен был растворяться вовсе не на владимирские чащобы и не в курскую степь, а прямиком погружался в Черное море. Сверху избу заботливо укрывал от дождя и солнечного вара мощный суковатый дуб, оказавшийся при ближайшем рассмотрении грецким орехом.

...Вика толкнула калитку — та по заведенному здесь обыкновению была незаключена — и вступила в палисадник; но, сколько ни усиливалась, зовя во всю глотку жителей, никто на ее выкликанье так и не вышел. Наконец соседям надокучило внимать ее одинокому кукареканью, и женский голос из-за забора с картавым клектаньем посоветовал ей смело забираться на веранду да разбудить самой хозяйку, добавив, что «Марья Сергевна спит там себе как-нибудь».

Взойдя по скучным молчаливым кирпичным ступеням, Вика и вправду, отворив всхлипнувшую петлями дверь, нашла за нею на железной солдатской койке, покрытой голым матрацем, древнюю, сухую и легкую, как выточенная ветром кость, старуху, которую произведенный шум пробудил-таки от полуденной дремы: ноги ее в толстых чулках находились как раз на полупути от одра к полу, но завершения этому движению пришлось бы еще порядочно подождать, не пособи Вика своим скорым вмешательством.

Приметя гостью, старая хозяйка первым делом ее размашисто перекрестила, испугав этим вошедшую не на шутку. Потом, рассмотрев спрятавшуюся у ней за подолом оробевшую Стеллу, заметно успокоилась, улыбнулась одними глазами, подтянув паутину морщин к векам, и первая пожелала обеим здоровья. Теперь, когда она встала в рост, держась только длиннющими коричневыми пальцами за шишку спинки, Вика сумела разглядеть ее всю и подивилась, насколько та, явно живучи на свете по девятому десятку, была еще крепка: хотя сквозь изветшавшее тело везде, от огромных ладоней до лысоватого затылка, проглядывали суставы и сухожилия, выявляя будто воочию весь опорный остов естества, почти до пояса она держалась прямо и начинала гнуться плавной дугою лишь от крестца к голове. «Вот что значит жизнь на своих харчах у морской воды, — отметила пришелица про себя с завистливым удовлетворением. — Бабке этой, ежели ей не мешать, и еще новый век сносу не будет...»

Формальные переговоры о снятии комнаты прошли гладко: Вика оказалась первой приезжей и могла выбирать в доме, где вообще никто, кроме старой Марьи, не жил, любое помещение на свой вкус. Впрочем, она уже давно сообразила, чего именно хочет, и только ради соблюдения порядка удостоив прочие покои кратким обходом, остановилась на той светелке, что выходила окнами тотчас в море.

Относительно платы за постой Вике было сообщено, что она может дать «сколь ей не жалко». Непривычная такая расценка заставила ее вновь насторожиться — работая уже не первый год продавщицей в универмаге небольшого подленинградного городка Всеволожска, Вика навыкла с ходу незнакомым не доверять, а паче всех тем, что отличаются каким-либо чудачеством; она заглянула испытующе в глаза старухе еще разок повнимательней, для чего пришлось несколько принагнуться и отбросить голову назад, но тут же обильный опыт ее на лица, согласившись с первым сердечным расположением, подсказал оставить всякое попечение о возможном подвохе.

Тогда Вика покидала в углу кучей надоевшие вусмерть поноски и, чуть ли не наперегонки с давно нудившей «купацца» Стеллой, прянула на пляж, докуда буквально оказалось десять шагов.

...В первую свою здесь полночь они не собственной волею пробудились, испуганные громкими хлопками, несшимися откуда-то снизу. Вика высунулась на крыльцо и обомлела: в отраженном свете, излучавшемся уходившей в море звездной дорожкой от Млечного Пути, видно было, как из-под здоровенного лысого пня, подпирающего лестницу, на прогулку в безопасное для них время выкатились толстющая ежиха с полудюжиною щенков-ежат, которых она, звучно фыркая, приохочивала к самостоятельной добыче пропитания. Успокоенная мирным зрелищем дикой школы, Вика поспешила быстрей обратно в кровать и тотчас опять заснула, успев только счастливо вышептать одно-единственное слово «сказка»; и только впоследствии, вспомнив об этой ночи, сама подивилась тому, насколько точным вышло случайно оброненное пророчество...

Оглядевшись и разобравшись на местности, она вскоре убедилась, что обиход здесь был до смешного легкий: вода под боком, еда — пучок кафешек и забегаловок — в ста метрах далее, да тут же рядом базар, вокзал и автобусная остановка. Впрочем, готовить Вика предпочитала сама, следуя завету своей матери, выражавшейся образно в том смысле, что дома можно в охотку «есть», тогда как в столовой непременно приходится «питаться». Так что оставалось лишь при подобном изобилии простоты постараться не заскучать.

Дабы избежать этой напасти и проявить в своем досуге определенную основательность, Вика набрала с собою целых три книжки: учебник политэкономии, чтобы покой-

но начать подготовку к экзамену на заочном факультете Института торговли; журнал в голубой обложке с романом Штемлера «Универмаг» — она его, правда, уже раз прочла, но захотелось перечесть и по второму, ведь как-никак про родную профессию написано, да еще «почти как в жизни», — а в довершение, так сказать, на третье, ради экзотического кавказского духа она еще прихватила у родителей толстенный — даже гулкий, коли стукнуть по нему пальцем — том «всего Лермонтова в одной корке», какие в изобилии выпекались в годы их юности и составили основу семейной библиотеки.

С обладательницей своего маленького рая Марьей Сергеевной, убегая жаров, выходившей на двор только с утра да под вечер, сношения у Вики сложились самые непритязательные, так что она даже отважилась разок-другой незаметно произвести у той на хозяйской половине чистку и уборку, тяготясь излишней вольготностью, в которой ощущала некий непонятный для себя укор. Только единожды полюбовная эта связь чуть было пошатнулась, когда на третий день загулявшиеся после заката вдоль берега постояльцы наткнулись на запертую ржавой цепью калитку: видно, ложась поранее спать, старуха ненароком запамятовала про существование гостей и, перекрестив замок — что она неопустительно совершала над всяким почти предметом, с которым вступала в ближайшее сообщение, — навесила его на забор да и защелкнула. Вика со Стеллою перелезли с грехом пополам при помощи припозднившихся, как и они сами, прохожих, — а утром недоразумение легко разъяснилось: бабушка Марья даже земно кланялась, кляня запавшую в пропасть забытья память, чем заставила Стеллу ложиться совсем навзничь и подыматься уже крепко обнявшись с нею, — и далее бытие их потекло просто разлюли-малина, не предвещая как будто ни малейших заторов или осложнений.

Спозаранку, похлебав растворенного в мутном здешнем кипятке кофе с печеньем, молодая мама с дочкой спускались от крыльца по железной лестничке к воде, и тут начинался собственно «отдых». Чтобы девчонка не слишком скучала и имела о чем помечтать, Вика сочиняла в день по истории про «Нептушечку», что укрывался днем в камнях под волнорезом, а в сумерки летел кутить-гулять за горизонт в Турцию; обсуждения одной новой повести о его похождениях там вместе с вольным, совсем почти не ограниченным — только чуть-чуть для острастки, лишь бы

не успело оно надоесть раньше времени — купанием сполна хватало для угомона впервые попавшей на юг Стеллы.

Сама же мать ее взялась было угрызать экономическую премудрость, но уже вскоре внимание ее отвлеклось от черных значков букв к прихотливо разбегавшимся между ними дорожкам пробелов, хитрым и как будто даже нарочно рассчитанным узором шедшим поперек строчек вверх, вниз и наискось наподобие крестословицы. Помучившись над ними час-другой, она наконец вовсе оставила попытки одолеть на пляже столь замысловатый для не искушенного формальной логикой женского ума предмет.

Но не более счастливая участь постигла и прихваченного взамен науки на следующий раз развлекательного Штемлера. Он еще с утра изрядно подмок в холщовой сумке, встретившись там нечаянно на свою беду с не просохшим за ночь купальником, да и внутри оказался изрядно сыр, будто утратил от этого смешного недоразумения первую свежесть — по второму кругу, когда конец был заранее известен, читать его стало вовсе не занимательно. «Все как в натуре» вновь было налицо, да только не впору, как-то скучно и мелкотравчато; а ежели вдуматься по правде, то и в жизни-то на самом деле что-то совсем не так происходит — страшнее, но лучше. Вика только самой себе почудилась: и чего ей тут спервоначала примерещилось замечательного?..

Она опять, по видимости, бесцельно с точки зрения самообразования промаяла целый длиннющий весенний день, сочиняя Нептушечке семейный быт; причем настолько этим увлеклась, уперев взгляд в зубчатый от далекого шторма небозем, что чуть было не изложила все так, как хотелось бы у себя дома, да не сбылось — и тем едва не привела самое сочинительницу в доподлинное расстройство.

Народу на гальке меж тем что ни день прибывало, но все еще от одного до другого купальщика расстояние оставалось в добрый швырок увесистой каменюки. Ища и среди этой относительной скудости рынка посильной корысти, среди них туда-сюда разгуливали одетые в черное торговки домашним вином «Изабелла», наливавшимся попросту из чайника, продавцы горячей, струившей сытный пар кукурузы или сладких сосисок из виноградной патоки, застывшей кругом нашпигованных на суровую нитку орехов; изредка подруливал на моторной лодке удалой ловец ставриды «утреннего копчения». Хищно высматривая добычу, сверху на набережной парил фотограф в трех

широкополых разноцветных сомбреро с кисточками на голове зараз, тащивший вдобавок под мышкою надувного гуся — все это ссужалось напрокат портретируемым, которых он завлекал громкими восклицаниями о том, что «одна поза» стоит у него «всего три пятьдесят». В обратную сторону наперехват ему двигался конкурент с живою ручной макакой на железном поводке; он гордо молчал и брал на полтинник дороже, а его Чита при каждой встрече кривила отчаянную моську трехшляпному сопернику, на что тот находчиво отвечал ей такой же, до крайности схожею рожей.

Однажды пробежал, воровато кося голубиный глаз, подросток с диковинным допотопным профилем, где увесистый нос непосредственно продолжал покатую линию черепа, предлагавший из-под полы самопальные календари с «картинками». Вика взяла его товар на пробу из чисто профессионального интереса — дома она как раз в канцелярском отделе продавала нечто подобное: треть доморощенных черно-белых «фоток» изображала гитарного барда с женою-француженкой в мини-юбке; другая треть между таблицами чисел перемежалась видами узколобого вождя — усы щеткой и, наконец, последняя часть подпольного содержимого посвящалась непосредственно «картинкам» — жалко-голым закордонным теткам, раскоряченным в блудливых положениях. Она, конечно, ничего не взяла, гнушаясь купить подобное даже подругам на посмех, и лишь, вернув все обратно пострелу-разносчику, держа его имущество, как жабу, кончиками растопыренных пальцев, подивилась про себя: что за своеобразную компанию свели в своих рублевых отпечатках сошедшиеся по велению моды названные персонажи.

...Как-то возле полудня, когда нестерпимо раскочегаренное пекло вытолкнуло их в тень, Вика с дочкой сидели без дела на своем замечательном приморском крыльце и пялились молча в праздные, гладкие как стол голубые пространства снизу и сверху, сходившиеся вдалеке углом, будто две плоскости в стереометрической задачке. Незаметно выбравшись из кустов, перед ними вдруг возникла старуха Марья; шкандыбая баретками, изготовленными из калош со срезанными задниками, она поднялась и уселась на приступке подле Викиных колен.

— Полюбуйся вот, что с ногами-то сделалось, — сказала она и, не чинясь, скинула в два толчка одну резиновую чуню вместе со сбившимся в комок носком. Вика как гля-

нула вниз, так тотчас же издала задушенное «ох!» и почувствовала, как к горлу подкатывает дурнота: вместо ногтей пальцы старухи оканчивались хрящеватыми, волнистыми, как сталактиты, наростами вроде рогов толщиною в добрый мизинец. Вика сразу же перевела взгляд на собственные розовые от загара пятки и только потом, отойдя немного от пережитого испуга, отчаянно-смело воззрилась еще раз на жутковатые когти.

— И все, бабочка, оттого, что забросила их стричь, а они и рады, дураки, расти без хозяина — вона куды вымахали! И в кипятке их отпаривала, и в Сухум к врачу возила, и чего-чего ни пробовала — никак теперь не поправить, разве что с пальцами вон отсечь. Беда как ходить-то больно, да ведь без пальцев-то совсем уляжешься, а тут и корочун.

Покуда Вика приучала пугливую свою душу бестрепетно переносить вид птичьих конечностей бабки, она успела еще про себя мимоходом отметить, до чего все-таки последовательна в прозвищах написанная ей на роду судьба: стоило хоть куда-то впервые появиться, как уже вскоре ее, тридцатилетнюю с невеликим хвостиком ловкую тихую женщину, непременно норовили взамен непривычного для родного уха имени перекрестить попроще — что́ все, как один, находили наиболее подходящим; но тут впервые за много лет прозвучала вновь ее девичья прокличка, на которую она уже добрый десяток годков позабыла оборачиваться — та самая уменьшительно-двусмысленная «бабочка», в которой была часть и от пестрого летуна-насекомого, и от бабы-яги разом.

А старая Марья, словно чтобы не дать ей передохнуть и освоиться окончательно, пересела на доску помягче и завела новую речь:

— Сон мне про тебя сегодня был...

— ?

— Слышала вроде голос, и говорил, что вот добрая ты, бабочка, душа, а только суетишься лишнее и доли-то своей не замечаешь...

Этого вовсе не следовало разбирать подробнее, чтобы не разреветься, и Вика, горько кивнув, ничего, однако, вслух в ответ не сказала. Марье же Сергеевне будто того и было надобно, и она спустя несколько междометий перешла уже к третьему необычному предмету, сообщив запросто, что в той светелке, где они теперь спали со Стеллой на сдвинутых «панцырных» кроватях, прошлою осенью

останавливался тот, после произнесения фамилии которого глаза у Вики полезли на лоб и она принялась беспомощно озираться по сторонам. Но кругом ничего вроде не изменилось, как следовало бы ожидать, и она, успокоившись немного, решила, что старуха от ветхости малость подвинулась разумом, коли за здорово живешь плетет незнамо какие замысловатые небылицы.

Потом разговор сам собою сошел на пустяки и заглох, однако Вика с той поры стала присматривать потихоньку, чтобы хозяйка наедине долго со Стеллой не оставалась: мало ли что взбредет ей в бедовую голову, с которой и спросу-то никакого — сделать, конечно, она ничего худого не сделает, а только нагородит благодарной слушательнице с три короба такого, что потом год хлопот не оберешься объяснять да распутывать. Тут уж Нептушечкой не отделаешься!.. Ведь как раз ребенок сейчас в том самом возрасте, когда, как пишет заокеанский мудрец Спок, мечты с фантазиями ему куда ближе и дороже скучной подручной действительности.

Но их собственные взрослые беседы на завалинке у синя моря между тем продолжались теперъ беспрерывно, и раз за разом Вике все приходилось менять о хозяйке мнение. Она сообразила, что та нисколько не лжет, а излагает ей своеобразнейшие легенды, в правдивость которых истово верит. Причем побасенки эти и сказки были по большей части добрые, но отличались от обычных отсутствием счастливого конца — завершения они часто и вообще не имели — и совершенно доподлинной трагичностью. В них Марья Сергеевна легко и занятно общалась, ссорилась или ладила с древними героями и царями, равно как и свои отношения к современным знаменитостям воплощала в личные и даже закадычные. «В былые времена ее, должно быть, прозвали бы колдуньей или шутихой-скоморошницей», — подумала было Вика, но тут же себя поправила: нет, не то, здесь было существенно больше чего-то еще иного, имени которому она никак не могла прибрать.

Дело в том, что, отмахиваясь поначалу от скрытого существа небывальщин, излагавшихся Марьей Сергеевной бесконечной, по видимости, чередой, Вика не сразу спохватилась, но потом все-таки поняла, что внутри них заложен последовательный, лукавый и очень по-своему мудрый смысл, который она научилась покуда схватывать в частностях, но его ни за что не получалось еще уловить сразу весь.

Она схитрила, решив проверить проскочившую догадку, и незаметно навела однажды свою собеседницу на необходимость повторить одно из ее ключевых преданий, легкомысленно пропущенное в самом начале мимо ушей — и была решительно поражена, услыхав вновь в точности то же самое, да еще убранное цветистыми подробностями.

Создавалось такое впечатление, что для старухи вокруг как будто и вовсе не существовало ничего мертвого; мало того, не было и «дальних» — все на свете состояло ей ближним и родным, оттого-то она и спешила лишний раз осенить его спасительным знамением.

В первую голову это касалось соседних гор, где, по ее сказу, вплоть до ледяных вершин гнездился необычайный народец из самых разношерстных жителей, включавший в себя наряду со старцами и подвижницами известных деятелей прошлого и настоящего и даже злодеев иностранного извода, присланных сюда на покаяние: никто из них вовсе еще не помер окончательно, как опрометчиво полагали легковерные слушатели последних новостей, а все в свой срок переселялись туда продолжать век в отшельническом одиночестве «в пещерках», — посещая, впрочем, время от времени незамеченными побережье и останавливаясь у нее в доме, ибо она одна обладала даром узнавать их подлинные имена и прозревать души, глубоко укутанные под обыденными личинами ничем не выдающих себя внешне заурядных прохожих.

У них, как водится, имелась и своя отдельная столица на особенный лад, стоявшая в полусотне верст к северу среди горных хребтов и ущелий и не совсем понятно называвшаяся словом-междометием «Псху»; но добираться туда нужно было не один день сплошь по крутым перевалам обрывистыми тропками, начинавшимися в «златоустом» местечке Команы, или же на самолете-кукурузнике местного сообщения, — «а в воздухе всех нас, грешников, ужас как трясет!..». Раньше она неоднократно хаживала туда и даже летала, но теперь уже годы стали не те и только едва раз-другой в году к ней заглядывает оттуда вестник, чтобы вовсе не оставить без привета и помощи свою далеко спустившуюся в долинный мир сестру.

Вика также сообразила, что во всем этом было некое подобие тем непристойным календарикам с пляжа, но только в перевернутом с головы на ноги достойном и истинном виде: отзвук, какой рождали в простой, но отнюдь не бестолковой старухиной душе большие исторические события

и люди, знакомые ей по книгам да бесконечным пересудам о них разных постояльцев, произвел наконец в ее сознании под влиянием южного бесснежного климата и еще чего-то, счастливо пришедшегося впору, чудодейственное преображение. В нем стали тогда рождаться живые, наглядные до изумления картины, не лишенные также и поучительности, в которых сильные мира сего словно в возмездие за свои чрезвычайные по сравнению с прочими людьми размеры все, как один, отправлялись отбывать — смотря по заслугам при первой жизни: наказание либо отдых, — прямиком в сказку, обреченные жить там безвыездно, покуда не насытится тоска по справедливости в сердце одинокой русской старухи.

— Вот ентот-то, — заводила она, например, издалека про знаменитого генералиссимуса, известного Вике по рассказам родителей — срок смерти его пришелся как раз на год ее рождения, но в пору зрелости отца с матерью новостями о его делах частенько пестрели газеты чуть ли не полумира. — Так, думаешь, он там у себя и лежит?

— Да где ж ему еще лежать? — переспрашивала для поддержания беседы Вика и вдруг, спохватившись, вспоминала, что и точно не может с ходу сказать наверное — где находится эта могила. Но разве места покоя всех мертвых удержишь в уме, когда и про живых-то за недосугом зачастую все из головы вылетает...

— Э-э, так, да не так. Немного погодя, его взяли опять вынули, на поезде перевезли и к нам тут в одно озеро наверху ночью опустили. Там он, болезный, еще и о сю пору дышит, а когда и голос подает, особенно в осень, под утро. И знаешь еще что, он-то и на самом деле настоящего царского племени был отрасль, только боковая, незаконная — с тем всю жизнь и промаялся...

— А вот те-то страдальцы, — забредала она еще далее вспять в историю и заводила речь о порядком-таки позабытом семействе, славившемся в самом начале века и с грехом пополам знакомом ее молодой собеседнице только по слухам, — ведь они у меня все тут не раз бывали. Сам-то в пятьдесят пятом в Тифлисе отошел, там и схоронен, а она его достаточно еще пережила, работала в Сухуме сестричкой в больнице, стирала, полы мыла. И деток их всех-всех помню!.. Младшая Настя еще и по сих жива, летошный год приходила, рассказывала — в Лыхнах векует у людей, совсем сделалась маленькая старушечка; а сын, тот вперед еще отца погиб, в последнюю войну...

Да как сам-то помирал, батюшка, то «всё!» — сказал своим, «боле уже никого в прямом мужском потомстве в моем роду не остается, и будет теперь вам на́большим президент Петя-странник». Не видала ты его еще?

— Нет как будто, — едва успевала вставить Вика.

— Придет. Он, если почует, что человек хороший появился, то обязательно приходит. Только ты его не пугайся зараз, он маленько блажной: все норовит так сделать, чтобы его обидели, даже еще и пришибли. Чудит, чужое страдание на себя выводит. Случалось, батюшка еще когда жив был, то он его при мне шлепает по спине пребольно — вид делает, будто сердится; а как отвернусь — он уже улыбается, а батюшка его гладит, гла-адит...

Вика вбирала в себя по вечерам эти диковинные рассказы впрок, а переваривала их уже ночью перед сном или ранним утром натощак на пляже, мешая пополам с чтением Лермонтова. Впрочем, с этой последней ее книжкою опять получилась история не вовсе ладная: начала она ее, в противность первым двум, с радостью и вниманием, и сразу как будто понравилось, особенно короткий очерк панорамы Москвы с вершины колокольни Ивана Великого, который он сочинил, судя по подписи, еще гусарским корнетом. Потом она приступила к знакомому со школьных лет «Герою», куда с той поры так больше и не успела заглянуть. Им она тоже сперва увлеклась, но чем далее, тем сильнее стал раздражать сам этот Аника-воин Печорин, воспоминания о котором с девичества остались самого романтически возвышенного свойства; сейчас, когда она уже стала матерью и немного-таки изведала почем на свете фунт лиха, этот пижонистый тип не только что героем не гляделся, а прямо показался ничтожным мужичишкою с превеликим понтом. Но главное, что был он вовсе не умный, а потому читать про его жалкое гоношение сделалось нестерпимо скучно. И надо же было еще так случиться, чтобы, как нарочно, другая, уже незнакомая повесть, к которой она перескочила, бросив на полдороге роман и перелистнув разом назад добрую сотню страниц, попалась все про того же бездельника и его пустопорожнее шатание в молодости по Петербургу...

— Что за притча! — воскликнула в сердцах Вика, недоумевая, чем же это во время óно прельщал души эдакий пошлый шалопай, только мешавшийся под руку дельным и положительным Максимам Максимычам. — И чему у него хорошему можно научиться?

Чтобы недалеко ходить, она заглянула в примечания и почти тотчас натолкнулась там на вполне трезвый ответ, успокоивший все ее возмущенные вопрошания. «Характер капитана, — говорилось в нем про впечатление, полученное от помещенного в начале книги описания Максима Максимыча, — набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Однако капитан появляется в сочинении как надежда, так и не осуществившаяся. Автор не захотел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить тоску, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности, — чтобы не вызывать отвращения...» Но не успела Вика выразить совершенное свое согласие с этими суровыми в нелицеприятной правдивости словами, как, увидав подпись под ними, невольно вздрогнула: оказалось, что принадлежат они не кому иному, как одному из сказочных бабкиных знакомцев, бравому герою многих ее историй.

Так попытки заняться чтением в этот отпуск и возвратились на круги своя, закольцованные мудреным плетением рассказов Марьи Сергеевны.

...Словно пожалев Викино душевное спокойствие, для передыху перед концом как на заказ выдался единственный дождливо-слякотный денек, и, сломав положенный распорядок, предполагавший послеполуденный сон на берегу, она отправилась со Стеллою по другую сторону городка на дальнюю прогулку.

Приморское местечко, где они ненадолго нашли приют, было мало́ даже по сравнению с их городком Всеволожском и достопримечательностей для поклонения иногородних имело всего-навсего три: закрытый монастырь, где располагался теперь краеведческий уголок, новооткрытую подземную пещеру и Иверскую гору над ней, наверху которой стоял некогда византийский город. Два первых из них Вика уже в прошлые годы посетила и больше ее туда что-то не тянуло, а вот на гору слазить давно томившейся сиднем сидеть на одном месте Стелле было обещано еще загодя — и теперь наступила пора данное слово сдержать.

Однако, не одолевши еще и трети положенного восхождения, Вика не раз успела пожалеть о своей легкой реши-

тельности: издали представлявшаяся не такой уж высокой и довольно пологой, Иверская, как начнешь ее мерять собственными ногами, выходила на поверку весьма-таки круговата, и подъему на нее будто конца-краю не было видно. Несколько остановок сделав, чтобы попытаться отдышаться, и вновь вскоре теряя улетавшее прочь ровное дыхание, они потом не стерпели, ринулись наперерез петлявшей ужом каменистой дороге прямиком вверх — и, конечно, когда добрались, охая, до цели, умаялись начисто.

Усевшись собирать силы не на самой макушке, а, так сказать, на шишковатом залысом лбу горы, мать с дочкою напились вкусной воды из по сей день не скудеющей цистерны, устроенной на случай осады тысячу с лишком лет назад, и невольно, даже насильно выслушали быстро протараторенный захожим экскурсоведом текст, которым он, взобравшись на накренившийся уступ генуэзской башни, поливал оттуда очередную группу беззащитных поклонников и нечаянно застигнутых этим звуковым ненастьем прохожих. Всем им была заученно-казенно растолкована вкратце история сих мест, запросто разоблачены волшебные свойства каменной емкости, у которой даже нарочно отряженные на дно водолазы окончательно тайны не выведали; затем одинокий докладчик заклеймил «средневековых итальянских хищников» вкупе с какою-то неведомой «политической проституткой князем Довмонтом», после чего пошел честить почем зря с непонятной какой-то ревностью, будто они его лично чем-то задели, вновь обживших вершину в прошлом столетии афонских иноков. Наподобие наглядного пособия к его страстным речам, по десную сторону от сгрудившейся кучки слушателей через пару сквозных арок видны были стоявшие за ними трое старух и мужик лет сорока с выгоревшими прямыми вихрами: все они пели что-то разноголосое подле престола храма с рухнувшим куполом, взамен которого его словно венчало теперь само небо.

Потом, когда все это нашествие языков схлынуло вниз и окрестность обезлюдела, Вика со Стеллой осторожной усталой стопой медленно обошли по кругу все взлобье горы, любуясь ее благословенною высотой — какой-то еще сверхчеловеческой, как необычным словом подумала о ней Вика, чтобы противопоставить высоте уже совершенно бесчеловечной, какова, например, созерцаемая с самолета. Благодаря ей да криком завывающему в порывах ветру, наотмашь хлеставшему раскрытый до предела окоем, зре-

лище могучего противостояния сошедшихся здесь врукопашную земли и воды обретало подлинное величие.

...На обратном пути они вновь пустились срезáть по валунам извивы дорожки и неожиданно за одним из поворотов попали прямиком в хвост не сразу приметившим их давешним певцам, завершавшим какой-то свой особый неторопливый разговор.

— И что дальше-то будет: как подумаешь — голова кругом идет, — разобрала заразившаяся на работе дурной болезнью подслушивать чужие толки Вика и еще более навострила ушки.

— Когда наконец про войну кончат талдычить, будь она, сатана, трижды проклята! — тихо жаловалась одна бабушка другой, а та кивала в ответ:

— И я чтой-то не разберу — с кой поры у нас те американы под боком оказались? От каких таких мест энтих соседей надуло и где ж это теперь наш рубеж с ними спорный...

— Та й чого цей Рыган дуже до нас причепывся? Ой, брат Михайло? — спросила третья с таким грудным южным выговором, будто в кадке эхо на каждое гулкое «г» отдавалось, — и тут все они, обернувшись к мужику, шедшему позади и служившему у них по-видимому верховодом, обнаружили чужих спутниц и приостановились. Но «брат Михайло», целиком окунувшись мыслями во что-то сокровенное, не заметил их немого предупреждения и внятно во весь голос брякнул:

— Да не о земле ж чужой и не о богатстве подземном здесь дело идет! Кровь, кровь наша русская, которая по жилам течет, — вот чего им покоя-то не дает, иродам, это точно!

Тут, чтобы не смущать долее их совесть, Вика вновь по почину расшалившейся дочери полезла круто вниз, боясь, как бы та не оступилась на осклизлом булыжнике и не «разбила голову», а любопытные попутчики вскоре скрылись за развалинами башни...

Вечером того же, словно вдвое длинного дня Вика, идучи после завершающего окунания «к себе», еще издалека углядела поверх перил знакомого обжитого крылечка чью-то грузную седую голову в мятой-перемятой фетровой шляпе и, даже не задаваясь гаданиями, сразу сообразила, что это, должно быть, и есть давно обещанный «председатель белого света» Петя-ходок.

Он был с доподлинным посохом и дерюжной сумою, в

полосатом изношенном пиджаке, сквозь вырез которого просовывалась вышитая украинская рубаха, и суконных портах, — вот уж точно иного имени той принадлежности его одежды не сыщешь, решила про себя Вика. Лицо защищала от непогод крепкая щетина, волосы были длинные, собравшиеся шапкой скорее как у художников, нежели у знакомых по книжным картинкам «очарованных странников», а глаза вполне здравые, только примеркшие и начинавшие светиться глубоким внутренним огнем лишь изредка. Но, несмотря даже на то, что во рту у Пети торчал бобылем один только желтый зуб снизу, выглядел он в общем гораздо моложе тех шестидесяти двух лет, какие сам за собою впоследствии сказал.

Против ожидания, он ничего особенно худого не произвел, чтобы подвигнуть на себя гнев собеседницы, а попросту поздоровался, спросил — не мешает ли своим присутствием и разве уже по получении сугубо отрицательного ответа постепенно, с раскачкой да со скрипом разговорился.

Самым неожиданным в его речи оказалось постоянное внимание к международному положению, которое он справедливо находил худым и опасным, сожалея, что не дают миру спокойствия, наиболее ему сейчас необходимого. Затем последовала более пространная, но не столь увлекательная, сколь горько-жалкая повесть о его собственных бесконечных скитаниях по больницам, каждый второй период которой неизменно завершался полувопросом: «Понимаешь, вот какая картина?!» В докончание же он извлек из сумы сложенный вдвое журнал «Химия и жизнь», сообщив, что пристально следит за печатью, и указал в нем на статью о том, что будто бы по последним вычислениям возраст нынешней нашей вселенной всего около восемнадцати миллиардов лет и образовалась она посредством толчка из одной точки. Вика и сама, как ни странно, как-то раз уже про это краем уха слыхала по телевизору, когда однажды в воскресенье неохота было вставать утром из теплой постели повернуть ручку выключателя, а он вдруг вслед за «Музыкальным киоском» разразился непрошеной научно-популярной передачей. Но Петю-президента во всем этом сильнее прочего задело нечто особое:

— Тут ведь пишут еще мимоходом, что будто и самого времени-то прежде не было, а? И все это я здесь прямо на станции в будке газетной за полтинник купил! А как все же хорошо, что все это кругом с тех пор-таки появилось, понимаешь, вся вот эта картина...

Потом они оба затихли и молчали так до заката чуть ли не час, причем Вике отчего-то было покойно и неразговорчиво на душе, и даже вертушка Стелла смирно-послушно просидела, не егозя, рядом, наблюдая за степенным погружением солнца под воду, в гости к Нептушечке.

Как только оно заботливо прибрало за собою бордовый шлейф, Петя, кряхтя, поднялся и, спросив у них прощения, побрел вдоль берега к вокзалу, не отказавшись, однако, от предложенного «на дорожку» мелкого подаяния.

Когда на следующее утро Вика поведала про это посещение старухе-хозяйке, Марья Сергеевна только руками заплескала с досады:

— Что ж это он, разбойник, надо мною удрал, а? В первый ведь раз, бабочка, об этой весне появился да, не заглянувши ко мне, дале и покатил!

...Только под конец последнего свободного дня, сидючи в остатний раз на облюбованном для вечерянья крыльце, Вика как-то вяло спохватилась, что — надо же так! — впервые для полноты южного отпускного набора развлечений оказалось напрочь забытым нечто весьма ранее в нем существенное: так за двадцать полных суток никто за ней и не приволокнулся, не состроил кур, в «растерян» не сводил и кахетинским с шашлыками не попотчевал!

Тут, словно нарочно вызванный этими пенями, как воплощенный укор совершённому упущению — которое, по совести говоря, не слишком-то Вику отяготило, лишь бы на работе не пришлось ничего посоленее изобретать, дабы отбиться от тех простодушно-срамных вопросов, какие одни женщины могут ставить в сугубо своей среде — из соседнего дома, почти неразличимый сначала в теплых сумерках, бесшумно высунулся мужчина неопределенного общевосточного облика. Все на нем было как положено теперь в полуденном краю по обиходному разряду: короткое поджарое тельце обернуто белой майкою напросвет, упрятано в униформенные джинсы и подковано спортивными тапками с косыми полосками по борту, втеревшимися нынче во всесветную моду; на шейной цепочке, будто символ веры, болталась стальная имитация безопасной бритвы. Он резко потянул могучим носом — и Вика на мгновение залюбовалась, пораженная тем, насколько он всем своим обликом ловко вписывался в этот темный приморский час, в который в былые годы добрые люди затворяли покрепче засовы, а плотоядный зверь выходил на предписанную ему от века ловитву.

Покатав забранный воздух внутри задышавшей бойко грудки, он быстро почуял, где ждет его обильная добыча, и, круто повернувшись на высоченных, нарочно прилаженных к «адидасам» каблуках, не зашагал, а поплыл, покачивая разведенными в стороны конечностями, по направлению к кафе-бару, откуда в сотый раз неслись дорогие сердцу гортанные сетования Челентано над единственной доступной его голосу октавой. «Или они вовсе не умеют ходить ровно — ишь, как чертит, моряк набережный!» — искренне пожалела Вика и, отведя свой занозистый взор от полунощного хищника, вскоре совсем о нем позабыла.

Она вновь осталась как будто одна — но суть положения заключалась именно в том, что это наглядное, по всей видимости, одиночество составляло с точки зрения истины совершенную свою противоположность. Стелла, правда, на самом деле спала уже в комнате без задних ног как убитая, наконец до пресыщения утомленная позволенным на прощание свободным купанием «до упаду», а старуха хозяйка, выпив «отвальную» стопку коньяку («Хотела 5 я в ее годы хоть воду кое-как в себя пропускать, а не сама в земле мокнуть», — спокойно рассудила про это ничуть не поставившая в укор Марье Сергеевне «клюканье» вроде бы не по возрасту молодая гостья), неожиданно решила на сон грядущий покопаться маленько в полузапущенном огороде и, отказавшись от предложенной помощи, теперь ровно сопела за Викиной спиною. Сама же Вика отставила появившуюся было мысль о последнем заплыве нагишом: к вечеру ветер надул мути, и море, сделавшееся на закате неким подобием трехцветного флага — красноватым вблизи от намытой с гор глины, затем синим в середке и уже у горизонта белесым, — около самого берега стало не в меру «медузисто».

Она просто сидела, облокотясь полной загорелой рукою о натертые до мраморной гладкости деревянные перила, и с бескорыстной завистью размышляла о нелепо-прекрасном бабкином житье тут среди другого народа на самом краю нашей земли; а потом отвлеклась и от этого, наблюдая еще одно необычайное и вместе с тем несуразное явление, на какие оказались тороваты здешние пограничные места: над затрапезно-простыми грядками картошки и помидоров, кустившихся на морской гальке, перемешанной пополам с песком, в воздухе совершалось волшебное действо — прямо поверх них затеяли безумную брачную пляску мириады ритмично мигавших через каждую секунду

во тьме светляков. Остановившись взглядом на одной избранной яркой точке, она старалась проследить путь ее во всей кипящей отсветами куче повисших над землею мерцаний.

— Ну прямо все тут кверху тормашками: животины самой не видать, а тень, пожалуйте, сияет, — подумалось Вике, покуда она постепенно приучалась различать особенные летучие повадки разных жуков, — но вот последний из ее подопечных вдруг вырвался из живой люстры и вместо кружения над прибрежными зарослями отважно устремился прямиком в сторону волн.

— Что он, с ума спятил, юродивый?! — посочувствовала безгласной твари, самоубийственно прущей к собственной погибели, Вика и тут-то, как будто ни с того ни с сего — ветром с моря навеяло, что ли? — ей вернулось на ум позабытое крепко воспоминание о том, откуда у нее когда-то завелось это обоюдоострое ласкательно-колючее прозвание бабочкой.

...Сразу после школы она сам-третий с закадычными подружками по совершенно повальной в их годы девичьей дурости отправилась в Москву поступать в Театральный институт «на киноактрису». Хорошо еще, что никому из них это не удалось — да и как оно могло сладиться у не подготовленных вовсе простушек, только что «спихнувших» последний экзамен по физике и мало что на свете толком знающих! — все они провалились, что называется, с треском. Но вот, как это ни странно, по некоему переворотному зеркальному закону, столь же необъяснимому, сколь и безусловно верному, весь тот сумасшедший месяц с не менее суматошно-беззаботным житьем-бытьем среди подобных им самим неопытных и забавно-взбалмошных сверстников по миновании первой горечи от неудач застрял внутри души как время почти что наиболее в юности счастливое.

Они подружились играючи, как только в ту пору случается, с целым выводком мальчишек, слетевшихся со всех концов света к дверям Литинститута, метя «в писатели», — и почти поголовно столь же сокрушительно безуспешно. Один из них, лукаво аттестовавший себя «единственным живым классиком» — тут же поясняя, что «в каждой шутке есть доля шутки» — даже принялся за Викой ухлестывать то ли взаправду, то ли, по его собственным словам, «для умножения опыта чувств». Как это ни удивительно, черт лица его она уже не могла вернуть из забвения, хотя

фамилия — та действительно спустя некоторый срок стала иногда попадаться в «Литературке».

Как-то раз он приволок ей две общих тетради своих сочинений. Она прочла их, но ничего ей там по душе не пришлось, кроме одной странной «сказки». Речь в ней шла о неприятном и неопрятном таком никудышном совсем человечке, скучно и нудно проволочившем жизнь свою в совершеннейшей безвестности «наподобие червяка» — так это и было черным по белому прописано, что Вику поначалу изрядно покоробило, а потом и припугнуло, когда она приложила эту историю к собственной своей будущности: а я-то стану ль чем больше?..

На похороны бедолаги едва трое человек явилось, да и пирамидку на могиле поставили самую завалящую из нижней строки «прейскуранта» за счет учреждения, где бесцельно корпел этот зануда.

А год спустя двое забулдыжных могильщиков, распивавших косушку в кусточках подле всеми позабытого холмика, вдруг были сброшены с ног долой чем-то вроде небольшого землетрясения и, попадавши кто куда, из лежачего положения, растворив рты до ушей от ужаса, наблюдали, как почва под ними, вспучась, заходила ходуном, затем кругом полетели в стороны комья, жалкий памятник развалился на куски, и из ямины, образовавшейся посреди, выступил на свет громадный блещущий радужными перепонками с траурной опушкой королевский махаон. Отряхнув остатки прилипшей к трехсаженным крыльям глины, он могуче взмахнул ими и легко поднялся в поднебесье...

Вика мало что поняла сначала в этой довольно-таки жуткой и жестокой притче, ничем не напоминавшей те сказки, к которым она привыкла с детства, — но воздыхателю своему тем не менее именно на нее указала, как на наиболее примечательную, хотя и загадочную.

Тот неожиданно обиделся: оказалось, что он ради проверки ее, так сказать, созвучия своему внутреннему «я» вместе с одною доподлинно собственной тетрадкой вторую прихватил у приятеля, и сказка эта как раз оказалась чужая. Сочинитель ее — по словам скорее не с приятностью, а с противностью отозвавшегося о нем товарища — даже пробовать поступать в Литературный отказался, заявив, что толку для него с этого нечего ждать и его дорога — это печатать непрофессионально написанное.

— И у него уже что-нибудь вышло? — спросила Вика,

неосторожно проявив при этом больше сочувствия, нежели того желалось бы ее собеседнику.

— Жди, куда там! Он, видишь ли, отговаривается тем, что — но только не знаю, поймешь ли ты это, тут есть своя тонкость...

— Я попробую.

— Ну валяй. Значит, в «Нашем современнике» его, говорит, не печатают оттого, что не понимают, а вот в «Новом мире» вполне понимают и потому-то как раз не печатают тоже. Впрочем, могу дать номерок — позвони, вдруг он найдет в тебе именно подходящую эту...

— ?

— Да ба-боч-ку!! — произнес он глумливо с расстановкою.

Телефон Вика не взяла по недосужности — или скорей застеснялась спросить, зато обиженный «письменник» ничуть не посовестился растрезвонить всем встречным и поперечным про приглянувшуюся ей на беду историю, название которой тогда к Вике на какое-то время вместо имени крепко прилипло. Потом, конечно, оно забылось еще прочней, и вот — на тебе! — старуха своими сказками невзначай его на память вернула...

Оторвавшись мыслью от воскрешенного нечаянно прошлого, она стала искать взглядом «своего» светляка — но тот, пожалуй, и вправду обезумел, ибо летел уже далеко над морем с очевидной невозможностью вернуться назад, да и не намеревался, по-видимому, возвращаться, сколь усердно бы Вика за него ни «болела»: он одиноко помигивал все реже и реже, покуда вовсе не скрылся во глубине пространства.

— Ни дать ни взять бабкина душа, — пришло на ум Вике опять как бы извне — словно теперь уже сзади, со стороны гор, чужой голос ей беззвучно вдохнул в уши странное сравнение, — а она и в самом деле не на шутку за хозяйку перепугалась, только сейчас сообразивши, что уже добрый час, как та перестала подавать признаки жизни, затихнув за ее спиной, а между тем ни калитка, ни столь же «говорящая» дверь на веранду не доложили о ее проходе: это она задним числом отметила бы непременно.

Вика тотчас ощутила срочную необходимость, просто обязанность немедленно обернуться — но тут что-то неладное до дикости стряслось внутри самого ее естества: посланный из головы в ноги приказ остался без исполнения, и они, напротив, в необъяснимом испуге стали на месте как

вкопанные. Вика чувствовала, как по всему оцепеневшему от неведомого страха телу выступил мелкий знобящий пот и хлынули мурашки, но поворотиться все никак не удавалось — она так и застыла, вцепившись затекшими добела костяшками пальцев в косяк крыльца.

Старая героиня рассказа — лицо невымышленное. Она окончила свои дни в октябре 1983 года восьмидесяти семи лет от роду у перехода через железнодорожные пути, отделяющие местное кладбище от ее дома, поставленного рядом с ним всего в полусотне шагов. По воспоминаниям случайного очевидца, она успела широко перекрестить тот самый локомотив, который и снес ей голову.

СОДЕРЖАНИЕ

Современные московские сказания

Чисто поле 4
Собеседник небес 27
Точка зрения 54
Спасская башня *(Из современных легенд Третьяковской галереи)* 83
Николо-Бестужево 114
Тайна дома с привидениями на старом Арбате *(Из недавних воспоминаний)* 130
Золотая решетка 169
Тридцать тысяч или Три тьмы 189
Болван 206
«До свадьбы заживет!» 220
Корь 235

Сказания иных краев

У сожженных 242
Бабочка 262

Петр Георгиевич
Паламарчук

ЧИСТО ПОЛЕ

Тринадцать современных сказаний

Редактор А. Фоменко
Художник А. Александрова
Художественный редактор А. Никулин
Технические редакторы В. Котова, М. Караматозян
Корректор Г. Голубкова

ИБ № 5352
Сдано в набор 15.04.87. Подписано к печати 05.11.87. А12103. Формат 84×108/32. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,12. Уч.-изд. л. 16,09.
Тираж 50 000 экз. Заказ 51. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, 152901, г. Андропов, ул. Чкалова, 8.

Паламарчук П. Г.

П14 Чисто поле: Тринадцать современных сказаний. — М.: Современник, 1987. — 284 с. — (Новинки «Современника»).

«Сказания» — это своеобразные современные сказки, где самые невероятные приключения героев, происходящие в наши дни, только сильней подчеркивают красоту подлинного бытия; а документ, извлеченный из тишины архива, порою выглядит куда волшебней иной замысловато придуманной истории. Первые сказания посвящены сердцу России, Москве, в которой на каждом шагу памятники прошлого вплетены в пути-дороги наших современников. Действие двух последних происходит в местах иных — у озера Светлояр, в котором по народным поверьям отражается град русской духовной красоты — светлый Китеж; а у самого Черного моря, куда забросила судьба простую русскую старуху, сильную своей жаждой правды.

П $\frac{4702010200-324}{М106(03)-87}$ 74—88

ББК84Р7
Р2

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62.
Издательство «Современник».